

Альфред Эдгар Коппард

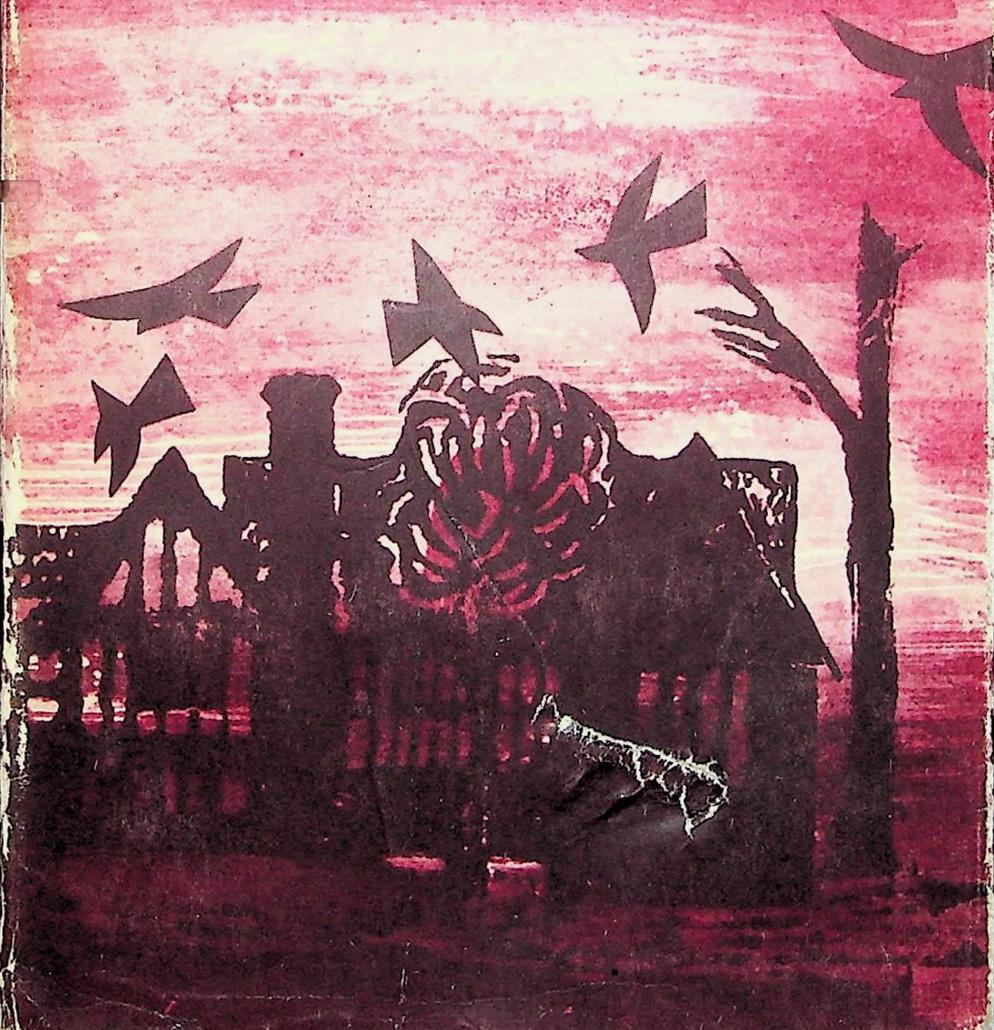
И (англ)

К 65

И Е С И Ъ

В М И Р Е

Т И И И И И Ъ





Альфред Эдгар Конпард

И Е С Н Ы

В М И Р Е

Т И Ш И Н Ы

Рассказы

Перевод с английского

67 

БИБЛИОТЕКА
ИЗБ. № 126062.

И (Англ)
К 65

A. E. COPPARD

SONG IN A QUIET WORLD
TALES

*Составление
и вступительная статья
В. Урицкой*

*Оформление художника
Г. Курочкиной*

7-34

183 - 68

АЛЬФРЕД ЭДГАР КОППАРД

В автобиографической книге Коппарда, вышедшей посмертно и носящей традиционное для этого жанра название «Это я, о господи!»¹, помещены его фотографии. Одна из них относится к 1901 году. На ней изображен темноволосый худощавый юноша в спортивном костюме, застывший в классической позе стартующего бегуна. Это отличный, очень резкий снимок. Жаркий летний день. Скошенный луг. Бегун весь в нетерпеливом порыве — сдвинуты брови, наморщил лоб, напряжены мускулы тонких первых рук, вытянутой шеи. Он младший клерк в одной из брайтонских торговых фирм, увлекается бегом на короткие дистанции, пишет стихи, которых никто не печатает, много и без всякой системы читает. Ему нравятся Мильтон, Вордсворт, Китс, Браунинг. Он благоговест перед Шекспиром и зачитывается Уитменом. Драйдена он не переносит, но «упивается радостью», смакуя поэзию Байрона и Шелли «маленькими глоточками». Он самоучка, однако круг его интересов весьма обширен — тут и музыка, и живопись, и, конечно, литература.

Позади двадцать три года, прожить трудно, но интересно. Сын портного и горничной, Альфред Эдгар Коппард родился 4 января 1878 года в Фолкстоуне, графство Кент. Отец его, Джордж Коппард, «свободомыслящий радикал», как характеризовал его впоследствии сын, умер двадцати девяти лет, оставив жену и четверых детей — после единственного сына одна за другой родились еще три дочери. Он запомнил отца на всю жизнь. Высокий, худой, бородатый, по воскресеньям портной брал с собой сына, и они отправлялись на прогулку в окрестности Брайтона — приморского городка, где прошло детство будущего писателя. Чахоточный портной, всю неделю задыхавшийся под низким потолком полутемного фабричного барака, где он строчил офицерские мундирки, любил и понимал природу. В праздники и в будни, зимой и летом отец носил все тот же короткий сюртук. Верхнего платья у него никогда не было, башмаки вечно нуждались в починке, шляпа давно потеряла форму. Болезнь и нужда не пощадили его.

¹ См. «It's me, o Lord!», London, 1957.

Шести лет Коппарда отдали в школу. Там учили чтению и письму, а также арифметику, в изучении которой он дошел до тройного правила, правда, так и не успев постичь эту премудрость: овдовев, мать принуждена была взять его из школы — не таков был ее заработок гладильщицы в прачечной, чтобы платить за обучение сына.

Трудовая жизнь началась в десять лет. У отца был брат, бывший матрос, считавшийся в семье богачом. Он жил в Лондоне и работал машинистом на железнодорожной станции Упверпуль-стрит. Он согласился помочь вдове и взял к себе племянника. У него было четверо детей, и, кроме того, он держал квартирантов. Один из них, Джек Мак-Кирли, приносил мальчику к чтению. По субботам он посылал его за еженедельными выпусками «Образцовой библиотеки Дика», по пени за выпуск, где печатались удивительные приключения знаменитых разбойников XVIII века Джоватана Уайлда и Джека Шеппарда, «Лондонская башня» Гаррисона Эйнсворта и даже романы Поль де Кока!

Лишний рот пришелся не по праву тетке, и мальчик отдали в портновскую мастерскую мистера Алебастера, где полдюжины женщин гнули спины над шпльем мужских брюк, а в обязанности ученика входила сортировка тряпья и много другой тяжелой и грязной работы. Его дразнили деревенщиной, было голодно, дважды в день приходилось пересекать огромный город, чтобы попасть на работу и потом вернуться домой. Впечатления от мастерской мистера Алебастера нашли отражение в рассказе «Гладильщик».

В тринадцать лет он возвращается к матери в Брайтон. Он многое увидел в Лондоне и кое-чему научился. Он больше не был «деревенщиной» — теперь его дразнят «кокни», то есть лондонец из низов. В Брайтоне он запоем читает, пишет стихи и даже отваживается послать в журнал некую балладу — правда, она так и не увидела света...

Всего несколько лет прошло со времени увлечения «Лондонской башней», но теперь он не прельстился бы подобным чтением. Будущий писатель усердно посещает брайтонскую библиотеку. Он увлекается Чосером и отдает должное романам Диккенса и Гарди. Вкусы его вполне самостоятельны: он наслаждается сложным, тогда еще малозвестным Генри Джеймсом и даже, «испровергая авторитеты, насмехается над великим Киплингем!» В автобиографии Коппард пишет, что у него никогда не было наставника или старшего друга, который мог бы руководить его чтением и самообразованием либо

как-то влиять на его вкусы. В те времена не существовало вечерних школ или курсов, где человек, стремящийся к знанию, мог бы получить совет и помощь. Вот почему в своем чтении юноша руководствовался лишь инстинктивной потребностью. «Такая подготовка, — пишет Коппард, — бесспорно, сделала меня противником какой бы то ни было системы, упрямым, самоуверенным и нетерпимым, но мне кажется, что она-то и раздула ту искру таланта, которая во мне была».

В последующие годы он увлекается спортом, много читает, пишет стихи, безуспешно участвует в нескольких литературных конкурсах. В то же время он работает во многих торговых фирмах и проходит путь от рассыльного до старшего клерка.

В 1907 году, получив место бухгалтера, Альфред Коппард переезжает в Оксфорд. В творческой биографии писателя годы, проведенные в этом университетском городе, имели немаловажное значение. Здесь он соприкоснулся с литературной жизнью страны, свел знакомство со многими интересными людьми, посещал лекции и литературные вечера, стал постоянным читателем университетской библиотеки. Здесь же, в Оксфорде, он начал писать рассказы. Но лишь достигнув сорокалетнего возраста, Коппард поверил в себя, понял, что писательство стало для него главным делом жизни. В 1918 году, оставив службу, он окончательно посвятил свою жизнь литературе.

Роман никогда не будил творческой фантазии Коппарда. Единственной его попыткой создать большое литературное произведение оказалась автобиографическая книга «Это я, о господи!», о которой уже говорилось выше; смерть помешала ему завершить эту работу. Стихи же он писал с самой ранней юности и до конца жизни. Неизменен был также его интерес к народному творчеству: он много занимался фольклористикой, а также составил и отредактировал сборник стихов Роберта Бернса, который вышел в свет в 1925 году.

Но главное в его творчество — это, бесспорно, рассказ. С 1921 по 1954 год Коппард выпустил в свет семнадцать сборников, причем, за исключением четырех («Платите за проезд!», 1932; «Избранные рассказы», 1946; «Сборник рассказов», 1948; «Страшные развлечения», 1951), каждый состоял из совершенно новых произведений, незначительная часть которых могла быть известна английскому читателю по «Манчестер гардиан» и другим периодическим изданиям. Кроме

того, Коппард выпустил в свет пять стихотворных сборников, повести для детей и четыре сборника статей по различным вопросам.

Альфред Коппард был своеобразным продолжателем традиций критического реализма в английской литературе, традиций, которым следовали такие замечательные писатели, как Гарди и Голсуорси, Шоу и Уэллс, Мэнсфилд и Олддингтон, Форстер и Кропс и многие другие. При всем различии творческих индивидуальностей, а подчас и убеждений, писателей этого направления объединяет стремление постичь и правдиво показать неблагополучие социального уклада своей страны — свойственные ему милитаризм и колониализм, дух стяжательства, изнанку материального процветания, бесправие высших классов.

Такая направленность творчества была близка и Коппарду; отним, пожалуй, можно объяснить его раздраженную неприязнь к модернистской литературе. Рассказывая в автобиографии об оксфордском периоде своей жизни, он вспоминает о знакомстве с Олдосом Хаксли, к тому времени уже достаточно известным писателем, прокламировавшим литературу для «высококолых». В обычной своей прозаической манере пишет Коппард о том, какое странное впечатление производил на него поэтические опыты его высокоученого приятеля — «совершенно невразумительные выражения и самые необычные эпитеты в применении к самым обычным словам». Он не запомнил никаких стихов Хаксли, во всяком случае — нигде не цитирует их, а это говорит о многом: стихотворные цитаты разбросаны по всей автобиографии, их множество, и они служат ярчайшим свидетельством поэтических вкусов автора этой книги.

Итак, рассказы Альфреда Коппарда. Чем они характерны? Какие черты отличают их от рассказов многих его талантливых современников?

Можно сказать, мимо жанра рассказа не прошел ни один крупный английский прозаик. Писали рассказы и прославленные романисты старшего поколения — Гарди, Голсуорси, Уэллс, Лоуренс. У Коппарда были серьезные соперники и из числа его современников, такие мастера рассказа, как, например, Кэтрин Мэнсфилд, Арнольд Беннет, Герберт Бейтс, Сомерсет Моэм. Все это таланты очень самобытные и очень разные. Иногда говорят о сходстве рассказов Коппарда с рассказами Мэнсфилд. Оно не столь уж велико, это сходство, а если и наличествует в какой-то мере, то, думается, потому, что у обоих был один и тот же учитель, наставник, образец — Чо-

хов, о чем они неоднократно свидетельствовали, говоря о своих взглядах на литературу и литературных пристрастиях.

Пожалуй, скорее можно говорить о различии, нежели о сходстве этих двух художников. И различие это прежде всего в отношении к изображаемому. Кэтрин Мэнсфилд подчеркнуто объективна. Она предоставляет читателю судить о происходящем, а сама тончайшими штрихами наносит фигуры героев, скупо, но выразительно намечает обстановку. Авторская речь у Мэнсфилд за немногими исключениями нейтральна, из нее не почерпнешь много сведений об отношении писательницы к ее героям и событиям.

Не таков Коппард. Он вторгается в повествование весь — насмешливый, пронырливый, не боящийся открытых характеристик своих героев, прямой, чутью даже старомодный отличитель. У него очень мало бессюжетных рассказов и почти нет того, что принято называть словом «подтекст» и что является излюбленным приемом многих больших художников. И если герои Мэнсфилд чаще всего говорят вполне литературным языком, Коппард нередко строит речевую характеристику на каком-нибудь местном диалекте, но гнушаясь просторечных оборотов лексики и синтаксиса, а также всякого рода погрешностей против языка («Никогда я не слышал, чтобы люди в жизни говорили как в книгах», — пишет он в автобиографии).

Трудно найти сходство также и между рассказами Коппарда и, скажем, Олдриджа, художника куда более тонкого, или Сомерсета Моэма, великого мастера остро сюжетной повеллы, любителя сложной, запутанной интриги, однако «несомненно оторванного от народа», как пишет о нем Джеймс Олдридж¹.

Если же говорить о влияниях, то среди современных ему английских прозаиков ближе всех, пожалуй, был Коппарду Томас Гарди. В автобиографии Коппард неоднократно восторженно отзывается о нем, особенно высоко оценивая романы «Вдали от шумной толпы» и «Джуд Незаметный», а также рассказы из цикла «Маленькие насмешки жизни». Ирония авторской речи Коппарда, строгая продуманность речевых характеристик, беспощадная правдивость, подчас даже жестокость некоторых его рассказов (например, «Джудит», «Черный пес» и др.) — все это напоминает те же качества прозы его старшего современника. Из рассказов, помещенных в настоящем сборнике, наиболее явственно традиции Гарди

¹ Джеймс Олдридж, Предисловие к кн.: Сомерсет Моэм, Дождь, рассказы, изд-во «Иностранная литература», М. 1961, стр. 11.

ощущаются в «Скупщике». Когда читаешь начало этого рассказа, невольно вспоминаются «Старинные характеры» Гарди, хотя ни в сюжете, ни в героях нельзя найти ни малейшего сходства. Общее здесь в пейзаже, в событиях и характерах, выхваченных прямо из гущи жизни, а главное — в тональности этих произведений.

Можно с уверенностью говорить о воздействии на Коппарда творчества Диккенса и Мопассана, а также русской литературы, которую он хорошо знал и любил.

«Четверо великих русских, — писал он в автобиографии, — Чехов, Тургенев, Толстой, Достоевский, столь превосходно переведенные Констанцией Гарнет, постоянно завладевали мною благодаря своему непревзойденному мастерству. В моем представлении о них Чехов всегда был во главе этого блистательного квартета, но мне трудно бывало решить, в какой последовательности распределить мое преклощение между остальными тремя. Читая Достоевского, особенно его роман «Идиот», я думал, что правильнее всего поставить его сразу же вслед за Чеховым... поклонился этому изумительному безумию. Но стоило мне обратиться к «Воскресению», и Достоевский тут же уступал свое место Толстому, которого в другое время — а это во многом зависит от настроения читателя — сразу же заменял Тургенев, особенно после того, как я прочел его потрясающий, незабываемый рассказ «Уездный лекарь» из «Записок охотника». Романы Тургенева я никогда не мог оценить столь же высоко, как романы Толстого или Достоевского; без сомнения, мое восхищение «Записками охотника» в какой-то мере может быть объяснено свойственным мне особым пристрастием к рассказу».

Коппард необычайно высоко ценил Чехова, ставя его как рассказчика даже выше Мопассана. Когда в 1923 году в Лондоне вышла монография У. Джерарди «Аптон Чехов», Коппард опубликовал большую рецензию на эту книгу, показав не только настоящее знание произведений русского писателя, но и глубокое понимание его творчества. Книга Джерарди была первым исследованием жизни и творчества русского писателя в Англии, и не кто иной, как Коппард, был первым ее рецензентом. Это лишний раз подчеркивает глубокую заинтересованность Коппарда в том, чтобы творчество Чехова получило в Англии правильное и непредубежденное истолкование¹.

¹ Подробнее об этом см. в статье Г. Пучковой «Альфред Коппард и Чехов», — Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, т. 245, М. 1966.

И все же Коппард был художником вполне самобытным и вовсе не стремился идти по стопам своих великих предшественников. Самобытность его рассказов ярко проявилась в их тематике, в поисках героя, который в своей борьбе за существование так или иначе противопоставит миру стяжательства и принуждения, и, наконец, в своеобразии художественной формы этих рассказов, окончательно утвердившейся к тридцатым годам — времени павысшего расцвета творчества писателя.

Несмотря на единство тематики, творчество Коппарда вовсе не однородно. Прежде всего, по справедливому замечанию Н. П. Михальской, он писал рассказы самых различных видов: и повеллы ситуаций, и повеллы характеров, и психологические повеллы, хотя «такое деление всегда в какой-то мере условно, и чаще всего рассказы Коппарда объединяют признаки всех этих групп»¹. Добавим, что некоторые его рассказы можно было бы снабдить подзаголовком «сценка» (например, «Две няни», «Все так глупо, глупо...»), а в первом сборнике («Адам и Ева», 1921) были помещены произведения с подзаголовком «арабеска». Если же рассматривать его рассказы в хронологической последовательности, не трудно заметить, что, совершая от сборника к сборнику свое мастерство, писатель с течением времени отказывается от арабесок, сцепок и повелл ситуаций и переходит к произведениям более сложной формы и социально обобщенного содержания.

В этом плане было бы интересно сопоставить два рассказа — «Пятьдесят фунтов» (сборник «Горчичное поле», 1922) и «Ложь, всюду ложь» (сборник «Флейта за девять пенсов», 1937), написанные на сходную тему.

В начале творческого пути, когда были написаны «Пятьдесят фунтов», писателя более всего волновали характеры, и он ставил перед собой задачу раскрытия их во всей сложности и многообразии. Конфликт таких рассказов обычно строился на столкновении носителей различных нравственных качеств, чаще всего вне деятельности героев, вне их социальной среды. В «Пятидесяти фунтах» Коппард рисует частный случай, скорее анекдотичный, нежели типический, хотя образы Филиппа Рентона и его возлюбленной, бесспорно, следует отнести к числу настоящих удач писателя. И все же в рассказе много лишнего, автору подчас изменяет чувство

¹ Н. П. Михальская, Предисловие к кн.: Alfred Coppar d, Tales, Moscow, 1961, p. 10.

меры, и он отвлекается, рисуя третьестепенных персонажей, приводя их диалоги, но только не влияющие на движение сюжета, но, напротив, даже замедляющие его.

Тема второго рассказа может показаться банальной — это пзвечный «треугольник». Но эта более или менее приевшаяся «теорема» доказывается автором далеко не просто, и доказательство ее из плана чисто личного переходит в общественно значимый, уже не только и не просто раскрывая образы двух мужчин и женщины, но выявляя черты, присущие определенному социальному слою. На первый взгляд кажется, что ситуация вполне подошла бы для писателей типа Уильяма Локка или Оливии Уэдсли. Но наступает разоблачение, и какова же изнанка? Все продается и покупается, утверждает Коппард, — любовь, страсть, брачные обязательства, служебное положение. Такой видит автор буржуазную Англию, и так он о ней пишет. В рассказе нет ничего лишнего. Зрелый художник, Коппард твердо ведет сюжетную линию, уже не соблазняясь заманчивыми на первый взгляд деталями, стиль его лаконичен и прост, мастерски созданы речевые характеристики. Злая ирония Коппарда обращена уже отнюдь не только к разоблаченным героям рассказа.

В рецензии на сборник «Люди в розовой кофточке» («Daily Worker», 1954, Dec. 23) английский критик Джек Блэйнг писал, что «героев Коппарда можно встретить в любом пригородном автобусе». Это рабочий, мелкий фермер, продавщица, служанка, батрак, а то и просто бродяга. Жизнь этих людей беспросветна, радости иллюзорны, надежды сбываются редко. Счастье — это когда есть работа, можно свести концы с концами и даже позволить себе что-либо сверх того...

Но как раз простого труженика жизнь бьет особенно больно. Не он повинен в экономических кризисах, но он развязывает войны, но и кризисы и войны прежде всего сказываются на нем. С симпатией, сочувствием и пониманием рисует Коппард этих своих героев.

Такова история Фимп Мэдиган («Суматошная жпзль», — см.: А. Коппард, Вишневое дерево, М. 1953), на первый взгляд как будто имеющая сходство с рассказом Мопассана «История служанки с фермы». И здесь служанка становится женой своего бывшего хозяина. Но какая разница во всем! Добродушно-ворчливый француз из рассказа Мопассана не падыхнется на свою молодую жену, и лишь одно отравляет ему существование — то, что брак его бездетен. Наконец жена в отчаянии признается, что у нее есть внебрачный сын, и

ждет, что муж прогонит со с позором... А он вне себя от радости и даже готов усыновить чужого ребенка.

Но жизнь на английской ферме в тридцатых годах нашего века далека от идиллии, и Коппард, взяв за основу похожий сюжет, создал применительно к своему времени и своей стране совсем иное произведение. В капиталистической Англии богатый фермер превратился в поставщика крупных оптовых фирм и, чтобы выстоять в конкуренции, выжимает все силы из работников, да и из своей собственной семьи тоже. Именно таков Глэстонберри Уитмен, хозяин Фими, бессердечно-жестокый домашний тиран, которого даже лицеприятный английский суд приговаривает к тюремному заключению за истязание батрака. Рассказ о Фими — это история растления человеческого сознания. Дело не только в том, что девушка не видит ничего в жизни, кроме беспросветного изнурительного труда, не знает никаких радостей и только ест досыта. Главное, она проникается собственнической психологией своих хозяев, и такое существование представляется ей единственно возможным и разумным. Сделавшись миссис Уитмен, она, по существу, остается все той же батрачкой, и все ее интересы по-прежнему связаны только с хозяйством; она с умножением вспоминает время, когда Глэстонберри был в тюрьме и она так разумно всем распорядилась. Лишь перед смертью, как будто внезапно прозрев, Фими начинает догадываться, что жизнь, настоящая, полная жизнь так и прошла стороной.

Таким образом, сходство с рассказом Мопассана, а также в какой-то мере с «Простой душой» Флора, оказывается иллюзорным и скорее оборачивается полемикой с этими произведениями. Коппард как будто сравнивает, и сравнение это оказывается совсем не в пользу окружающей его жизни. Беспрекословную покорность Фими писатель считает со слабостью, а человек слабый, идущий на поводу у обстоятельств, приличный либо самой судьбы, не может выстоять в борьбе за существование. Такой вывод можно сделать из ряда его рассказов. Достойн всяческого счастья Харви Уитлоу («Скупщик»), но жизнь задает ему задачу, решение которой оказывается не под силу простому парню, потому что не лежит в планах общепринятого, и вот счастье не состоялось, проиграна жизнь. Слишком слабой для жестокого мира приобретателей оказывается и Вероника Парр («Во всем виноват Толстой»).

Но Коппарду дороги люди незаурядные, люди-борцы, и большинству его героев не свойственна покорность судьбе: вступает в схватку с жизнью семидесятилетний, согнутый

годами Дик («Старик»), не желает мириться со своим убеждением Элинор Парсонс («Песнь в мире тишины»), утверждает свое женское и человеческое достоинство Лалли Барнс («Пятьдесят фунтов»), как умеет, отстаивает свое право на счастье Люси Коул — одна из обаятельнейших героинь Коппарда. И пусть даже борьба оказывается бесплодной и героиня терпит поражение — все равно, именно в неподчинении обстоятельствам видел Коппард венец и смысл человеческого существования.

Есть у Коппарда и рассказы о детях. Некоторые из них автобиографичны («Вишневое дерево», «Флейта за девять пенсов», «Гладильщик», «Дитя Помоны»): прообразом их героя, Джоэни Флинна, явился сам автор, хотя это не значит, что все они точно передают эпизоды его жизни. Это не кусочки автобиографии, а именно рассказы, не свободные от вымысла. В них отразились впечатления его нищенского детства, раннего сиротства, воспоминания о жизни в Лопдоне, о тревогах и опасностях, подстерегающих подростка.

В рассказе «Дитя Помоны» читатель встретится с Джоэни, которому впервые предстоит выступить в роли «единственного мужчины» в семье, защитника и покровителя попавшей в беду младшей сестры. Писатель очень тонко характеризует своего героя, в сознании которого чувство ответственности переплетается с нелепыми мальчишескими представлениями о мести за поруганную честь, почерпнутыми из бульварной и детективной литературы.

«Перо сильнее меча». Эту старинную поговорку Коппард привел в своем ответе на анкету, предложенную «Литературной газетой» иностранным писателям во время Второго Всесоюзного съезда писателей в декабре 1954 года¹.

Вопросы анкеты, касавшиеся проблем мирного сосуществования народов и задач литературы, были заданы Коппарду не случайно: убежденным, последовательным борцом за мир он стал еще в годы первой империалистической войны, свидетельством чего служит его яркий антивоенный памфлет «Дань и воздаяние». Во время испанских событий Коппард был среди тех, кто, находясь в Англии, активно боролся против фашизма. Но в те времена писатель был еще далек от трез-

¹ См. «Литературная газета», 1954, 16 декабря. Ответ Коппарда озаглавлен: «Приветствую съезд».

вого понимания реальной опасности, которую нес фашизм народам мира. Вот что он писал об этом: «...В нашей борьбе против всякой другой агрессии мы возлагаем наибольшие надежды на Лигу наций... Лига наций должна быть преобразована таким образом, чтобы ее окончательные решения в обязательном порядке выполнялись всеми»¹. Развязанная вскоре германским фашизмом вторая мировая война, налеты немецкой авиации на Лондон доказали писателю правоту его упований; его борьба с фашизмом, ставшая наиболее активной в военные годы, впоследствии закономерно привела его в лагерь борцов за мир, свободу, демократию. «Но в мире демократии... — писал Конпард, — есть, мне кажется, немало дворцов, на которых демонстративно вывешены флаги свободы, но которые в то же время являются тем спасительным местом, куда бросаются правительства, когда хотят отречься от демократии, или совершить зло, или ограничиться бездействием»².

Понимая подлинную сущность западной демократии, Конпард до конца жизни (он умер 13 января 1957 года) призывал всех объединить усилия против военной опасности. Он был также одним из инициаторов сплочения писательских сил Англии в защиту мира. В 1952 году он в составе делегации прогрессивных английских писателей посетил Советский Союз и по возвращении на родину сделал многое для налаживания и укрепления культурных связей между нашей страной и Великобританией. «Вот уже сорок лет рассказы и пьесы Чехова оказывают влияние на английский роман и повелю, глубоко воздействуют на английский театр, — пишет он в приветствии съезду писателей. — Мы знаем, что в вашей стране нашего Шекспира ценят столь же высоко, как и у нас. Сколь же нелепо отрывать в настоящее время друг от друга англичан и русских, чувствующих взаимную симпатию»³.

Творческая жизнь Конпарда длилась около четырех десятилетий, а в двадцатом веке это немалый срок для развития литературы любой страны. Моды, вкусы, симпатии за это время неоднократно менялись. Менялось и творчество Альфреда Конпарда, усложняясь, лишаясь иллюстративности, «заданности» его ранних вещей. Но, углубляясь во внутренний

¹ Журн. «Интернациональная литература», 1938, № 12, стр. 162. Ответ на анкету журнала.

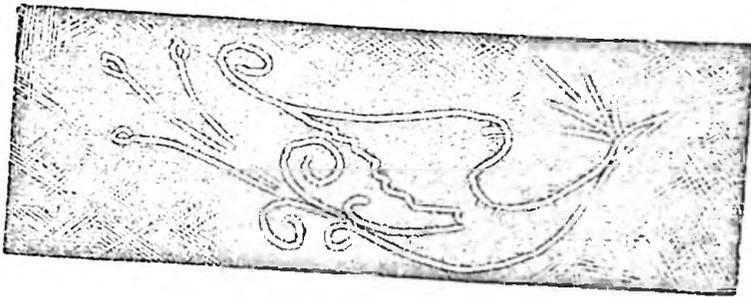
² «Литературная газета», 1954, 16 декабря.

³ Там же.

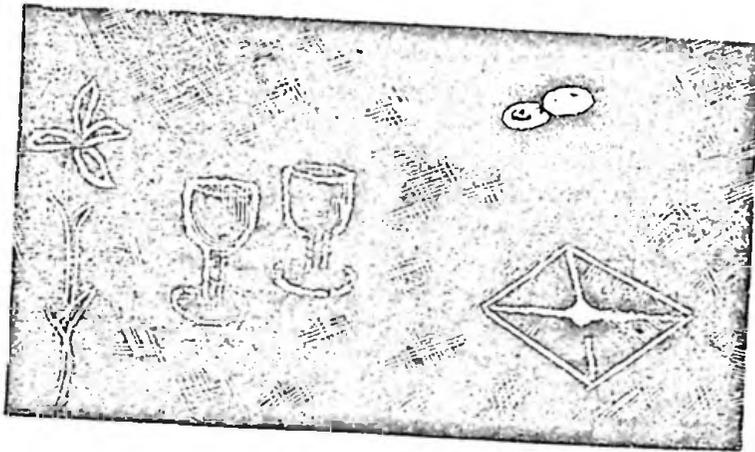
мир своих героев, совершенствуя их образы, расширяя круг тем, Коппард никогда не сходил со своих твердых и ясных позиций. Он не пережил увлечения фрейдизмом, его не занимали различные виды и формы абстрактной литературы; он много писал о любви, но всегда обходился без обаятельной эротики, оставаясь целомудренно-сдержанным. Быть может, эти его свойства кое-кому и казались старомодными, жизнь какого-нибудь бедняка Боллингтона — пресной, а радости и горести Фими Мэдиган или Дэпа Пейви чересчур незначительными. Возможно, в этом и следует искать причину того, что у себя на родине Коппард так и не был удостоен серьезного критического исследования.

Альфред Коппард никогда не следовал моде, не был певцом английской аристократии; он всегда оставался самим собой в стремлении говорить правду о своей стране и своем народе, в неустанной борьбе против фашизма, за мир, за человечность.

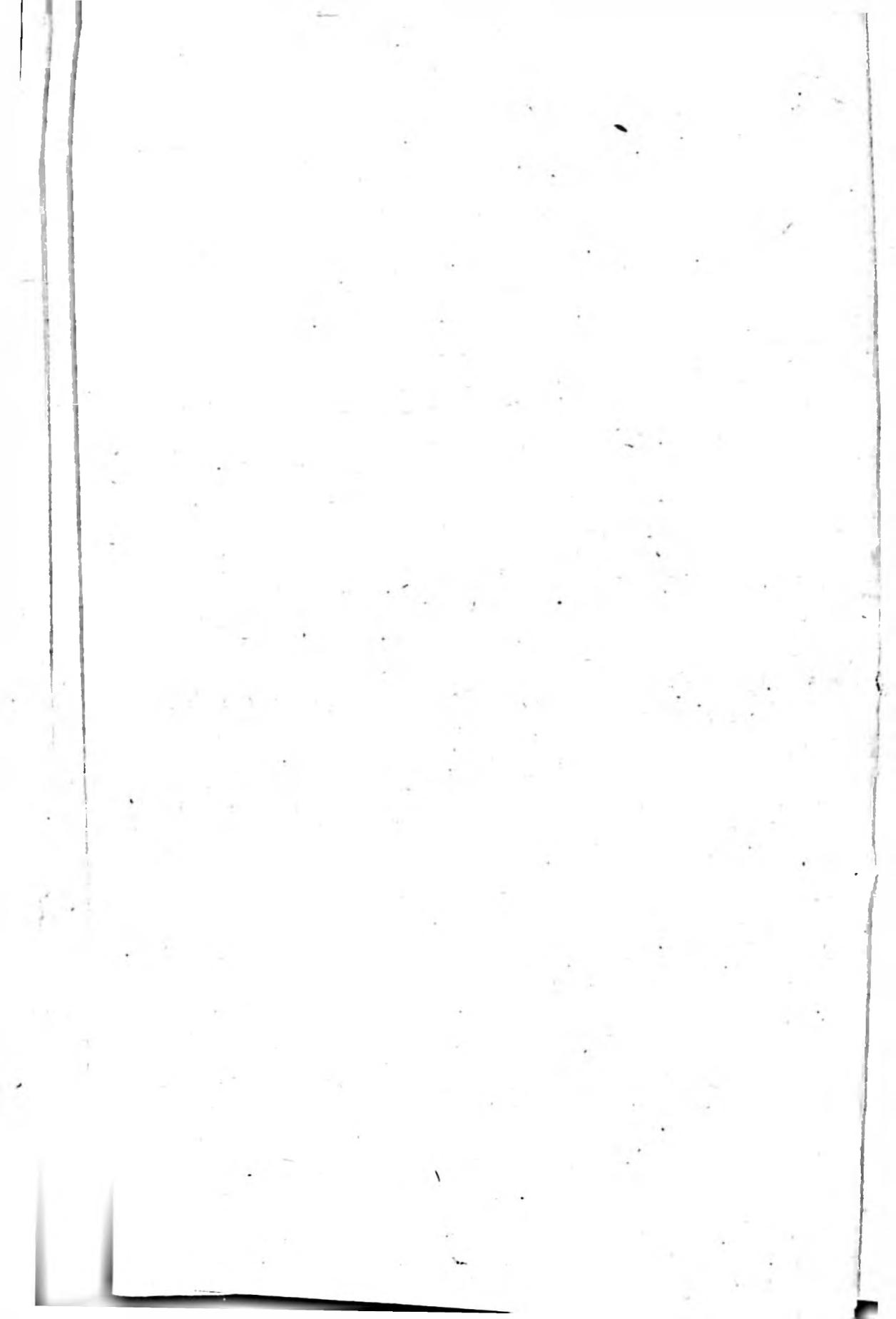
Э. Урицкая

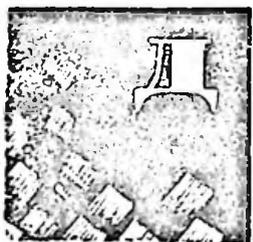


РАССКАЗЫ



БИБЛИОТЕКА ИГПИ
Инв. №126062





Джонни Флинну только что исполнилось семнадцать лет. Теперь его пельзя было бы назвать мальчиком, не рискуя рассердить его, или молодым человеком, не желая вогнать его в краску; но румяная, шумливая и подчас надоедливая матушка Флинн с удовольствием употребляла оба этих об-

ращения — ведь ее отирыск был такой бледный и слабешкий, но в то же время он уже посвящал свои думы и чаяния многим проблемам, вполне достойным мужчины. Например, брак был одной из таких проблем. Этим общественным установлением он восхищался, хотя радости брака, если таковые имелись в наличии, он пока что не слишком стремился проверить на собственном опыте; что же до трудностей и бедствий брачной жизни, то они, как отмечала вдова Флинн, являлись предметом его упорного скептицизма — скепсис был вообще наиболее зримой чертой характера Джонни Флинна.

Что касается его сестры Помоны, то она, конечно, еще не была замужем: ей минуло всего шестнадцать — возраст чересчур ранний для подобного блаженства; и тем не менее она готовилась произвести на свет ребеночка! Джонни бранился с матерью по различным поводам, она обожала эти ссоры, они ее забавляли; но на этот раз, кажется, она разозлилась по-настоящему, а может быть и притворялась рассерженной — это было плохо, куда хуже, чем если бы она действительно вышла из себя.

Флинны были бедны, очень бедны, жили они в двух комнатках на верхнем этаже дома, принадлежавшего сапожнику, человеку тоже весьма небогатому; ежевечерне стучал он молотком, подбивая подметки, и этот стук создавал постоянные поводы для неудовольствия Джонни. Вообще-то говоря, сапожник ему даже нравился, это был добряк лет под пятьдесят, очень высокого роста и толстый; куда менее симпатична Джонни

была сапожникова жена, такая же огромная и толстая, однако начисто лишенная добрых чувств не только к мужу, но и ко всем остальным, за исключением самого Джонни. Не нравились ему также и другие квартиранты, их было несколько, и для всех них богатство находилось далеко за пределами досягаемости. Апартаменты Флиннов давали возможность выделить спальню для миссис Джонни вторгнуться туда, что мешало тому, какое заброшенную и это себя, — потому что по все раздража-

и Помоны — комнату, куда редко и всегда с ощущением тупо, ощущением, подобным входя иной раз в пустую, он в другой комнате, вообще легко выходил из нее мог он улечься в постель к себе мать и сестра; вставать раньше ее и поэтому тоже

Однажды вечером, только он, совершенно счастливый, скользнул в постель и принялся за книгу под названием «Расселас»¹, которую рекомендовал ему прочесть джентльмен с разноцветными глазами в публичной библиотеке, как его мать вернулась в комнату, предварительно постучав в дверь, потому что Джонни, она знала это, стыдливая; об этом ей говорили не только ее инстинкт и личные наблюдения, но также и протесты ее возмущенного мальчугана, время от времени адресованные ей.

В тот вечер она вошла полуодетая, в нижней юбке, чулках и с обнаженными руками. Это были могучие руки, да такими им и следовало быть, потому что их обладательница работала гладильщицей постельного белья в прачечной; тем не менее смотреть на эти руки было приятно, и Джонни иногда нравилось бросить на них взгляд, хотя чаще всего ему бывало совершенно безразлично, в каком виде мать бежит мимо него взад-вперед.

¹ Роман английского писателя и лексикографа Сэмюэла Джонсона (1709—1784) «История Расселаса, принца абиссинского», утомительно-длинное, архаически сложное произведение. Эти его качества и «обыгрывает» Коппард, характеризуя литературный вкус своего юного героя. (Здесь и далее примечания принадлежат переводчикам.)

Миссис Флинн уселась в ногах кушетки и пристально посмотрела на своего сына.

— Джонни, — начала она твердо, но тут же сделала паузу, дабы потереть лоб своими красивыми белыми, лоснящимися пальцами. — Не знаю, право, как и сказать тебе... Да и что ты ответишь...

Джонни с демонстративным нетерпением потряс «Расселасом» и издал протестующий вздох.

— Не могу и подумать, — продолжала его мать, — нет, я и подумать не могу, что это папа Помона; но ведь это она и есть... И этого не миновать — я обязана сказать тебе; ведь ты единственный мужчина в нашей семье, справедливость требует, чтобы ты все узнал: она собирается родить, папа Помона.

Мальчик повернулся лицом к стене, хотя мать на него и не смотрела — ее взгляд был прикован к ковру у каминной решетки, он был дырявый...

Наконец Джонни отозвался: «Гм, ну?», и, так как мать ничего не ответила, добавил:

— Ну и что же? Я ничего не имею против.

Миссис Флинн была прямо-таки шокирована его безразличьем, а может, только притворялась шокированной. Джонни никогда не знал, притворяется она или говорит искренне. Не годилось сыну так думать о матери, но он думал о ней именно так, да такова и была миссис Флинн.

Она воскликнула:

— Как это ты не имеешь ничего против! Ты обязан... Не могу же я все взваливать на свои собственные плечи. Теперь ты единственный мужчина в нашей семье — ты должен, Джонни. Что нам делать?

Он свирепо уставился на обои, находившиеся примерно на расстоянии фута от его лица. На них был невыразимо безобразный узор из цветов, когда-то синих, а теперь приобретших совершенно неопишуемый оттенок. Он намеревался когда-нибудь заменить эти обои другими — с иным рисунком.

— Ну? — спросила мать резко, постукивая кулаком по его постели.

— Что ж, ничего не поделаешь... теперь... — Он страшно покраснел. — Как это случилось?.. Когда она ожидает?

— Это знакомый ее... Прибрал оп ее к рукам. Стрингер его фамилия. Еще около двух месяцев осталось... А ты что ж, так ничего и не заметил? Уже все знают. Ты странный мальчик, Джонни, не понимаю я тебя; нет, не могу я тебя раскусить. Стрингер его фамилия, и поплатится он за хорошие эти дела; вот я и хотела все тебе рассказать. Он, ясное дело, ото всего отпирается, да они всегда так.

При воспоминании об отвратительном вероломстве Стрингера миссис Флинн испустила тяжкий вздох, однако ей стало легче, когда Джонни поддержал разговор. Но она говорила так длинно, и Джонни так хотелось спать, что он обрадовался, когда мать наконец-то ушла к себе. В глубине души миссис Флинн была довольна, но одновременно испытывала какое-то разочарование — не чересчур ли легко сын воспринял ужасное известие; опасаясь яростной вспышки его гнева, она достаточно долго таила от него то, что ей стало известно. Хотелось бы ей избежать объяснения, это правда, но еще больше жаждала она взрыва негодования, возмущения этим неизвестным ей Стрингером. Скотница этакая! Миссис Флинн могла бы поручиться, что призовет его к ответу, но она чувствовала себя такой старой и одинокой, а Джонни был непохож на других сыновей и вообще не вполне еще возмужал. Мать донимала Помону всевозможными жуткими пророчествами на тему о том, что предпримет Джонни, когда все узнает, о том, что он, без всякого сомнения, сделает: так, не исключено, что он просто-напросто убьет Стрингера, а Помону вышвырнет на панель. И вот, он все узнал, но почему-то вполне спокоен, как будто все это ему даже нравится. Ну что ж, она все ему выложила, сил у нее больше нет, и пусть он поступает, как сочтет нужным.

Наутро Джонни приветствовал сестру с нежным вниманием, а вечером, отправив Помону спать, мать и сын завершили свое обсуждение.

— Ты знаешь, мама, — сказал он, — а ведь она очень хорошенькая, наша Помона. Почему-то раньше я не замечал этого.

Миссис Флинн окинула его беззащитным взглядом и тут же сообщила, что сестрица его — безобразная,

отвратительная маленькая перьяха, которую следовало бы высечь.

— Нет, нет, мама, ты ошибаешься, и это нехорошо; но вообще все в порядке.

— Уж не думаешь ли ты, что знаешь об этих вещах больше, чем твоя мать, которая тебя родила! — Миссис Флини пренебрежительно фыркнула и устоялась на него со свирепым видом.

Джонни отозвался вежливым «да».

Миссис Флини достала пакет бумаги и конвертов — «Самый большой почтовый набор на пенни», снабженный пачкой розового кляксапапира, а также ручку без пера — эту необходимую письменную принадлежность она приобрела сегодня вечером по пути домой у мелочного торговца вместе с пачкой саго и небольшим количеством помады для волос, предназначенной Джонни, чьи жесткие, буйные вихры, по ее словам, надоели ей до смерти и вызывали у нее припадки дикой ярости. На столе, за которым они ужинали, лежала дощечка с хлебом, стояла миска горчичного соуса, а также тарелка с круглыми палочками сыра, похожими на маленькие свечи.

— Будь оно проклято все! — ворчала миссис Флини, доставая из буфетного шкафчика бутылку мрачного вида с надписью на этикетке «Жидкие чернила» и старое, расщепленное перо; затем она потребовала, чтобы Джонни сейчас же, немедленно сел и сочинил письмо Стрингеру — будь оно проклято все! — и напомнил об его обязательствах по отношению к ее дочери, Помоне Флини, а также о том, что, к его сведению, она, миссис Флини, уже советовалась со своими поверенными, да и с начальником полиции тоже, и ставит его в известность, что если к послезавтрашнему дню она не услышит от него обещания покрыть грех браком, дело будет передано в руки закона¹.

— Нет, так нехорошо, — промолвил ее сын и задумался.

Миссис Флини, сидя напротив, с некоторой робостью дожидалась конца его размышлений. Джонни был не слишком-то крепкий паренек, но с тех пор, как стал

¹ В Англии существует древний закон, предусматривающий наказание за нарушение обещания жениться.

заниматься бегом, он начал как-то очень быстро расти; видеть, он стал уж очень легок на погу, миссис Флинн понимала это, потому что выиграл на состязании посеребряный кувшин для горячей воды, который она приспособила под молоко. И все же ее мальчик был тощий и не очень высокого роста, его темные волосы рассыпались, а бледное лицо так красиво, думала миссис Флинн, очень красиво, хотя обычно он и выглядит как-то странно, но это из-за того, что плохо одет. Тут она ничем помочь не в силах — фантазии у него поистине дикие: на всей их улице, пожалуй, не встретишь парня в таких мешковатых брюках, да и цвета они бессмысленного. Правда, его воротнички всегда сверкают белизпой — она сама их крахмалит и гладит — и красиво охватывают шею.

— Все, что мы должны сделать, — прервал ее размышления Джонни, — это просто сообщить ему.

— Сообщить ему?

— Да, просто сообщить, хоть это и очень неприятно, и попросить — пусть придет повидаться с тобой. Хотя, я думаю, — он помолчал немного, — не пожелает он явиться сюда, да и жепиться не захочет.

— Ему следовало бы это сделать, будь он проклят! — воскликнула миссис Флинн. — Вот только одно — напугана она очень, до смерти его боится. Да и вообще не хотим мы его здесь видеть: она говорит — он мерзкий, гнусный тип.

Несколько мгновений Джонни сидел молча. Помона работала ученицей официантки в ресторане, а Стрингер — клерком у аукциониста. Мысленно Джонни уже видел, как его бледная маленькая сестренка дрожит в страхе перед негодяем (которого он представлял себе этаким жирным верзилой с рыжей бородищей); это ужаснуло его, причинив острую боль.

— Кроме того, — продолжала миссис Флинн, — он вот-вот женится на одной особе — этакая шлюха, помоги ей боже, и даже не исключено, что он уже и сочтася с ней. Да нет, давно я выбросила из головы эту мысль, будто он женится на пашой Помоне, еще до того, как рассказала тебе, — давным-давно.

— Но ведь мы можем только сообщить ему о Помоне, ну, и спросить, что он намерен делать.

— Что он намерен делать — вот уж действительно! — вознегодовала вдова.

— И если он человек приличный, — продолжал Джонни спокойно, — все будет хорошо, обойдется без хлопот. Если же нет — ну что ж, тогда мы можем предпринять что-нибудь еще.

Мать не вполне согласилась с ним, но Джонни был уверен в своей правоте. Он сидел, поставив локти на стол, подперев голову руками, и никак не мог придумать, что же следует написать Стрингеру. Он поднимал глаза и пристально оглядывал комнату, как некое совершенно незнакомое ему место, хотя ничего незнакомого там быть не могло, поскольку он прожил в ней уже много лет. Там было не так уж много мебели, хотя бы потому, что и места было маловато. Большой стол покрывала клеенчатая скатерть, залоснившаяся и вся в пятнах. Два-три стула, старомодных и неудобных, стояли на ковре, довольно дырявом и не слишком-то чистом. Были там и шкафчики в нишах, и гравюра в рамке кленового дерева, изображающая сцену «мышеловки» из «Гамлета», и рядом с ней на стене висел рашпер, чьи зубчики были перевиты по окружности цветной шерстью; кроме того, он был украшен пышными шелковыми бантами. Но подлинную страсть миссис Флинн питала к вазам, и два этих пестро расписанных предмета роскоши, приобретенных на ярмарке, прекрасно гармонировали с часами, чей белоснежный циферблат давным-давно пожелтел от масла, которое, как утверждала миссис Флинн, «заставляло их правильно тикать».

Нет, никак не мог он придумать, что написать в этом письме; мать сидела напротив, глядя на него так пастойчиво, что ему пришлось попросить ее уйти в другую комнату и подождать там. Потом он уселся, прихихиваясь и фыркая, как если бы обдумывал это письмо при помощи носа, в то время как в комнате запахло копотью от лампы. Джонни вспомнил, что очень давно, когда они были еще совсем ребятами, он увидел Помопу в почной рубашонке и, рассердившись из-за какого-то пустяка, ударил ее кулаком в бок. Краска сбегала с ее лица, она не могла говорить, не могла дышать. На мгновение он преисполнился гордости — ему ни разу не удавалось так здорово стукнуть другого

мальчишку. Но Помона упала на стул, лицо ее псказилось от ужаса, глаза напoлнились слезами, которые почему-то никак не могли пролиться. Вот тогда-то и овладел им страх, ужасный, пронзительный, безумный; она умирает, она умрет — он не в силах помочь ей! В порыве страстного раскаяния и жалости он бросился перед ней на пол и покрывал поцелуями ее ножки, — они были крошечные и прелестной формы, хотя и не совсем чистые, — пока не почувствовал, что руки сестренки ласково обвились вокруг его шеи, и не услышал ее голосок, звучащий любовно и всепрощающе...

Прошло немало времени, прежде чем миссис Флини решилась вернуться в комнату.

— Ну, так что нам с ней делать, по-твоему? — спросила она. — Помона должна будет уйти.

— Уйти? Ты хочешь сказать — в родильный приют? Ну нет, псзачем ей туда идти. Я ничуть не стыжусь, что она ждет ребенка, да и чего тут стыдиться?

— А кто, черт побери, будет о ней заботиться? Ты говоришь как дурак, да ты таков и есть, — заявила миссис Флини раздраженным тоном. — Меня всю неделю нет дома от зари до зари. Нельзя ее оставлять одну, а па соседей снизу плоха надежда. Так что придется ей отправляться в родильный приют — и дело с концом.

Джонни был поражен, возмущен и по-настоящему рассержен. Никогда, никогда не согласится он на такой позор! Помона! В родильном приюте для бедных! Не пойдет она туда, останется здесь, дома, как жила до сих пор; они пригласят сиделку.

— Болван! — сказала миссис Флини с уничтожающим презрением. — На докторов да сиделок деньги надобны. Нет у меня ни пенни на такие дела.

— Я раздобуду денег! — горячо заверил ее Джонни.

— Где?

— Что-нибудь продам.

— Как же, найдешь ты что продать!

— Тогда накоплю.

— Каким образом?

— Ну, займу где-нибудь.

— Заткнись, не то я тебе голову оторву! — вышла из себя мать. — Только болтаешь попусту — совсем рехнулся!

— Ни в какой родильный приют она не пойдет!

— Болван! — повторила миссис Флини, выразив этим словом свое возмущение столь безнадёжной тупостью сына.

— Говорю тебе, она не пойдёт туда! — заорал Джонни; пренебрежительный топ матери вызвал в нём влюбное возмущение.

— Пойдёт, придется пойти.

— А я говорю — нет!

— Ну, не будь же ты таким проклятым подотом! — закричала женщина, вконец обезумев, и встала со стула.

Джонни вскочил. Он был вне себя.

— Сама идиотка проклятая, сама, сама!

Миссис Флини схватила столовый нож и плашмя ударила им по лицу сына. Он отскочил в панике; его испуганный вид, горящий взгляд и напряжённая поза так поразили мать, что она выронила нож и, упав на стул, разразилась истерическим смехом. Овладев собой, Джонни быстро подошёл к хохочущей женщине. Раздражающие взрывы смеха продолжались, усиливались, потрясая его и вновь лишая присутствия духа; она умирает, она умрет! Материнский смех, всегда грубоватый, обычно казался ему нежным — он был так заразителен; но теперь ее хохот звучал демонически, ужасно.

— О, не надо, мама, прошу тебя! — вскричал он, лаская ее и прижимая искажённое криком лицо к своей груди. Но она гневно оттолкнула его, и ужасающий хохот продолжал опалать его душу, так что он не смог больше выдержать. Он ударил ее по плечам стиснутыми кулаками и принялся трясти ее неистово, безумно, крича:

— Перестань, прекрати это, о, перестань! Она с ума сойдет! Перестань, перестань, слышишь?

Он уже совсем выдохся, когда внезапно в комнату вбежала Помона. Она была в ночной рубашке, босая; ее длинные черные волосы беспорядочно обрамляли бледное личико и красивыми локонами ниспадали на плечи.

— О Джонни, что ты делаешь? — прошептала его маленькая бледная сестренка, которая, казалось, превратилась в женщину так неожиданно и невероятно. — Оставь ее в покое.

Она оттащила его от матери и ласкала и успокаивала ее до тех пор, пока миссис Флинн не начала приходить в себя.

— А теперь в постель, ну-ка пошли! — скомандовала Помона, и миссис Флинн, отрывисто хихикая, последовала за дочерью.

Оставшись один и все еще дрожа, Джоинн прикрутил фитиль в лампе, пламя которой наполняло комнату копотью. Взгляд его упал на столовый нож; теперь в комнате было тихо и тягостно. Он посмотрел на сцену из «Гамлета», потом на часы с пожелтевшим от масла циферблатом, наконец ему попался на глаза лист бумаги, белевший на клеенке стола. И вдруг все эти вещи превратились в свои дрожавшие, колеблющиеся подобия; он заплакал.

2

Письмо, написанное примерно так, как он и намеревался, Джоинн отправил на следующее утро, по пути на службу. Он работал на продуктовом складе, принадлежавшем оптовому торговцу, и проводил целые дни в подвальных кладовых, где пол был покрыт опилками, как ковром, подсчитывая сотни мешков сахара и крупы, бочки масла, лярда и патоки, ящики чая; подобно правильно упорядоченным матеркам, там громоздились сыры, коробки со свечами, мармеладом, крахмалом и порошком для чистки ножей; многие из них были снабжены клеймом — «Фабричный комплект». Ему были неприятны эти слова, они звучали уродливо, и смысл их был неясен. Иногда он утаскивал со стола старшего рабочего инструмент для пробы сыра и, когда никого не бывало поблизости, вопзал его в превосходный чеддер или стилтон и вытаскивал небольшой цилиндрок сыра, пасаженный на изогнутое острие и похожий на крошечную свечку. Потом он откусывал от него корочку, плотно вкладывал ее на прежнее место и опускал в карман еще одну сырную палочку. По временам его карманы были так набиты сыром, что он не рисковал приближаться к старшему рабочему, опасаясь, как бы тот не почувствовал запаха. Он прямо-таки обожал сыр. Все Флинны любили его,

Они поджидали известий от Стрингера, но ничего не было: он и не думал удаивать их ответом. В конце недели Джонни отправил соблазнителю своей сестры еще одно письмо. Надо сказать, что теперь, уверенная в надежном покровительстве брата, Помона махнула рукой на ресторан, в котором работала. Как только мог, Джонни приберегал свои деньги, ничего не тратил на себя и ежедневно припросил домой то апельсин, то яйцо для сестренки. Он написал и третье письмо этому ужасному Стрингеру, отнюдь не угрожающее, но полное убежденности и желания поладить. И все ждал, но ждал напрасно. И вот в своем подземном туннеле из сыра, где он трудился день за днем, Джонни припаялся замышлять все время меняющиеся планы действий, и по мере того, как шлп дни, не принося ничего нового, его замысел начал выкристаллизовываться и принимать определенные формы. Оставалось только одно — убить этого человека: обдумав все как следует, он прикончит его; план можно будет привести в исполнение. Как-нибудь непроглядно темной ночью он подкараулит Стрингера где-то поблизости от его логова и выбьет ему мозги дубинкой. Однако необходимо заастись алиби. В течение нескольких дней Джонни с таким злорадством вынашивал детали своего воздаяния, что начисто забыл об алиби. Все это время он накапливал полученные от матери сведения о внешности Стрингера, необходимые для того, чтобы узнать его среди тысячной толпы; он не мог задавать вопросы о виновнике ее несчастья самой Помоне. Оказалось, что Стрингер был вовсе не жирный верзила с рыжей бородицей, как ему представлялось, а, напротив, заморыш в очках, этакий слизняк, да еще слегка прихрамывающий; в определенные дни недели и в твердо установленные часы он обязательно посещал некий клуб, секретарем которого являлся. По мнению Джонни, алиби было не только чем-то важным, но и романтической необходимостью. Все было так просто — достаточно Джонни появиться в библиотеке, где его превосходно знали. И библиотека и квартира Стрингера расположены поблизости друг от друга, причем, к счастью, на узенькой темной улочке. В справочном отделе Джонни возьмет книгу у джентльмена с разноцветными глазами, уйдет с ней в один из внутренних кабинетов для занятий

и в половине восьмого незаметно выскользнет из библиотеки, прихватив с собой толстую дубинку. Он прокрадется к Стрипгерову логову по узенькой темной улочке, там будет тихо и сумрачно... Подждать его в темноте, прокрасться как можно тише и незаметнее — и ждать. Но для того чтобы заpastись совершенно надежным алиби, следует привести в библиотеку друга, дабы тот мог подтвердить, что Джонни никуда не отлучался, потому что джентльмен с разноцветными глазами, вполне возможно, не будет готов засвидетельствовать это — видит он неважно, да и вообще трудно ручаться, когда имеешь дело с людьми такого сорта.

Джонни Флпни не поведал никому из своих друзей о беде, в какую попала его сестренка. Со временем они сами обо всем услышат. Он отказался от намерения привлечь к делу кого-нибудь из самых близких своих приятелей, тех, кто был ему особенно дорог, и избрал для этой цели придурковатого неуклюжего парня, вздоровенного и носатого, по имени Доналд. Неловкий и чрезмерно тучный, он тем не менее посещал тот же, что и Джонни, клуб любителей бега. Джонни трепировал его для первой дистанции. Он донимал Доналда изнурительными упражнениями вроде прыжков со скакалкой, разнообразной гимнастикой и утомительными прогулками, в результате чего несчастный терял в весе, но вместе с весом куда-то девалась и его сила; к великому негодованию Джонни, он совершенно ослаб и на беговой дорожке потерпел постыднейшее поражение. С этого дня Доналд мудро отвергал все предложения помощи и стал придерживаться собственной системы тренировок. Целыми неделями он бродил по пересеченной, холмистой местности в самых тяжелых своих ботиночках, к которым еще прибил толстые пластины свинца. Когда на следующем состязании он надел легонькие тапочки бегуна, то проявил такое проворство, гибкость и легкость, что не только одержал победу, но и вызвал всеобщее восхищение и лютую зависть соперников. Таков был туповатый, неуклюжий Доналд, которого Джонни наметил себе в помощники. Он парень неумный, и ничего страшного, если и попадет в беду. Даже если это случится, Джонни выручит его, призвавшись во всем полицию; так что все было продумано как нельзя лучше. Он предложил Доналду прогу-

ляться с ним в библиотеку как-нибудь вечером, чтобы почитать книгу под названием «Расселас», — это гениальная книга, очень захватывающая, и Доналд сказал, что пойдет с удовольствием. Джонни вовсе не собирался посвящать Доналда в свое человекоубийственное намерение; он просто-напросто усадит его за чтением «Расселаса», в то время как сам устроится за другим столом позади него — да, непременно позади: даже если Доналд заметит, как он крадется из комнаты, можно будет сказать, что он идет к стойке за другой книгой. Все это и просто и безопасно. Выскользнуть из библиотеки, прокрасться до темной улочки и помчаться по ней... Да не забыть бы попросить у Доналда пластину свинца — насадить ее вокруг утолщения дубинки. И вот через десять или двадцать минут он вернется в библиотеку как ни в чем не бывало и возьмет другую книгу или усядется рядом с Доналдом, словно он и не уходил никуда, как будто ничего с ним не случилось, ровно ничего.

Несколько последующих дней ушло на доскональное продумывание плана. Каждый вечер казался наиболее благоприятным из возможных, каждый час, прожитый Стрингером, представлялся Джонни часом, несущим бедствия для всего мира. Это были тяжелые часы для самого Джонни, и текли они страшно медленно; но наконец день пробудился и прошел, спустилась тьма, и час его настал.

Захватив дубинку, он отправился к Доналду.

— Не могу никуда идти! — сообщил Доналд, приковылявший к двери, когда Джонни постучал. — Я, понимаешь ли, погу зашиб.

На мгновение Джонни исполнился каким-то молчаливым богохульством, сверкнувшим из внезапно возникшей ненависти, но он спросил совершенно спокойно:

— И все же... Но нет, ты не можешь, конечно... Как же ты зашиб ее?

Доналд не был в состоянии ответить исчерпывающим образом. Игнорируя вопрос, он сказал:

— Коленная чашечка! Голень! О, ты только войди и посмотри. Мы чинили трубу... Там была старикова тачка... Говорил я ему...

— О, так ты ему говорил?

Джонни без особого интереса выслушал повествование своего приятеля и наконец отправился в библиотеку один. Первое, что он ощутил, было охватившее его облегчение. Без Доналда он не мог заpastись алиби, во всяком случае таким, которое обеспечивало полную уверенность в результате; следовательно, в этот вечер он ничего не может сделать. Он чувствовал себя освобожденным от тяжелого груза, он шел и насвистывал, он снова был счастлив... Тем не менее он отправился в библиотеку с намерением отретировать алиби, это было как нельзя лучше придумано — отретировать алиби, напрактиковаться в нем; а завершено все будет на следующей неделе, когда Доналд выздоровеет. Так он и сделал. Джонни получил книгу у джентльмена с разноцветными глазами, который был совершенно поглощен своим делом и, казалось, не узнал его. Это привело Джонни в замешательство — ему было необходимо, чтобы его заметили. Весьма обеспокоенный, он поплелся в кабинет для записок. Десятью минутами позже, никем не замеченный, он выскользнул оттуда, захватив свою дубинку, — он так и забыл попросить у Доналда пластику свинца, — и вскоре уже притаился во мраке темной узенькой улочки.

Место было самое подходящее, лучше трудно было бы выбрать даже и в центре города. Перед домом был дворик, куда вели железные ворота; в конце вымощенной кирпичом дорожки, которая пролежала над угольным погребом, пять-шесть крутых каменных ступеней вели к узкой входной двери с медным почтовым ящиком, таким же дверным молотком и стеклянной фрамугой, на которой был начертан номер двадцать девять. Окна также были какие-то вытянутые, и все здание имело такой вид, словно его сдавили и выжали. Церковные часы пробили восемь. Джонни начал мучиться сомнениями — что ему делать дальше и что произойдет, если Стрингер и впрямь возьмет да и выйдет из этих ворот... Совершит ли Джонни задуманное... сможет ли он... захочет ли... И вдруг дверь, к которой вели ступени, широко распахнулась, и в освещенном проеме юный Флиш увидел силуэт своей собственной матери.

В одиночестве спустилась она со ступеней, и он последовал за ней маленькими торопливыми шажками, оставаясь незамеченным до тех пор, пока она не вышла

в хорошо освещенную часть города; здесь он присоединился к ней. Она объяснила ему с видом пренебрежительного превосходства, что все очень просто: она бывала с визитом у мистера Стрингера — только и всего; ожидание ответа от этого лгуна и обманщика вывело ее из терпения. Уж не думает ли он, что она стапет пресмыкаться по прахе у его ног и вымалпывать монетку в четыре пенса, когда ей ровно ничего не стоит упрятать его за решетку, раз уж все равно все открылось... Конечно, она так и сделает, вот только забота о судьбе ее деток, бедных сирот, которые растут без отца... Но нет, будь он хоть сто раз боксер в среднем весе, а по его не выйдем! И вот она ушла с работы пораньше, и отправилась прямо к нему, и поймала его в этих мебелирашках, и приперла его к стенке. Он все отрицал, этот наглец, и это так оскорбило ее, что она схватила настольные часы и швырнула их прямо в его мерзкую рожу. Да, его собственные часы!

— Он напугался ужасно и помчался вверх по лестнице — а из-за чего напугался-то, из-за какого-то будильника! А тут и хозяйка его появилась. Ну, я ей все как есть выложила, да, все как есть, и эта история так ее взбесила, что она сказала мне имя и адрес этой его суженой — уж и церковное оглашение было! Ну, и, значит, хозяйка велела ему спуститься ко мне; а морда у него была белая-пребелая, Джонни, словно только что выпавший снег. Он пообещал признать, что ребенок его. Хозяйка ему и говорит: «Так что же вы собираетесь делать, мистер Стрингер? — говорит она ему. — Не могу поверить, а ведь я знаю вас вот уже десять лет... Вы, говорит, должно быть, совершенно забылись». О, это женщина с настоящим попятнем! — заявила миссис Флипп в заключение. — Его поверенные напишут нам и все приведут в порядок. Их звать Дакл и Хул.

И снова великое облегчение забplo ключом в груди мальчпка, как будто, затапнутый в ужасный водоворот, он оказался чудесным образом вынесенным на поверхность.

Последующие дни были блаженно-спокойными, хотя Джонни частенько охватывал благоговейный ужас при мысли о том, что он чуть было не совершил. Этот болван Доналд однажды вечером потребовал, чтобы Джонни сопровождал его в библиотеку, и пришлось

потратить час-другой на то, чтобы растолковать бедняге поставившие его в тупик страницы «Расселаса».

Стряпчие Дакл и Хул вызвали в душе миссис Флинн смятение и ненависть. Они свели к минимуму ее безрассудные притязания, они выказывали такое неуважение к ее семейству и одновременно проявляли такой джентльменский такт и великодушную снисходительность к деяниям своего клиента, мистера Стригера, что она вопреки стала немой и безгласной. Когда ей сообщили, что данный джентльмен не желает входить в какие бы то ни было сношения с кем бы то ни было из семейства Флиннов, равно как и с будущим отпрыском этого семейства, она буквально потеряла дар речи. Короче говоря, мистеры Дакл и Хул предложили на ее рассмотрение проект соглашения, выражавшего интересы их клиента, в обеспечение коих был внесен пункт, гласящий, что, буде названные выше Флинны нарушат предлагаемое соглашение, начав судебное преследование названного выше Стригера, они должны будут вследствие того, *ipso facto*¹, волей-неволей или как бы то ни было уплатить названному выше Стригеру сто фунтов стерлингов (£ 100), не в порядке штрафа, но в качестве компенсации за причиненное бесчестие. После этого миссис Флинн вновь обрела дар речи и даже позволила себе чуточку легкой проны, дабы спасти положение.

Сапожник, чье мнение по поводу данного соглашения было запрошено, усмотрел в нем множество неясностей как со стороны фразеологии, так и со стороны смысла и условий.

— Этому молодчику следовало бы хорошенько дать по мозгам, — заявил он Джонни с важностью. И при помощи тонких намеков сапожник поведал мальчику, какой линии поведения он придерживался бы сам, будь он на месте Джонни.

— Как-нибудь темпою почкой, — прорычал он со свирепым огоньком в глазах, — прихватив хар-рошую дубинку потяжелее, уж я бы...

Кроме того, Флинны воспользовались консультацией кабмена, квартировавшего в том же доме. Его юридическая компетенция явствовала на того факта, что в бы-

¹ Тем самым (лат.).

лые времена он правил собственным выездом генерал-майора, чей сын, в настоящее время выращивающий фрукты в Британской Колумбии, был когда-то занесен в список на получение права адвокатской практики. Кэбмен был человек весьма самоуверенный и осведомленный.

— Внимай и учись, — призывал он собеседника, — внимай и учись. — И принимался потчевать Джонни, равно как и любую другую жертву своего ораторского искусства, речами, которым можно было внимать как угодно долго, но благодаря которым при всем желании нельзя было ничему научиться. Это был рослый спяч с толстой красной шеей и лошадиными скулами. Изучив проект соглашения как нельзя более внимательно одним косящим глазом, в то время как другой был прикрыт нависшим веком, украшенным пылающим родимым пятном, он аккуратно сложил листы и вернул их Джонни.

— Такой документ мог бы опротестовать любой судья, если, конечно, он мастер своего дела.

— Как это — опротестовать?

— Они и сами могли бы опротестовать его, — повторил кэбмен, криво усмехаясь.

— Но что такое «опротестовать»? Как это?

— Говорю тебе, он вполне может быть опротестован, этот документ, — со всей категоричностью заверил его кэбмен. Снова взяв бумаги из рук Джонни, он развернул их, поразмыслил еще немного и молча вернул владельцу. Невзирая на град вопросов, оракул так и остался неприступным и полным таинственности.

Мальчик продолжал откладывать свои карманные деньги. Его матушка и на работе сохраняла свирепый вид: она возвратила адвокатам проект соглашения, скрепя сердце приняв все его неудобоваримые пункты.

Как-то апрельским вечером, вернувшись домой, Джонни застал пустые комнаты. Помоны нигде не было. Он приготовил себе чай и уселся читать «Рассказы моего деда»¹. Это была всем книгам книга, каждый бы хотел ее заполучить! Когда совсем стемнело, он

¹ «Рассказы моего деда» — сборник рассказов и повестей Вальтера Скотта, посвященный историческому прошлому Шотландии.

спустился вниз, чтобы узнать у жены сапожника, куда девалась Помона; он был встревожен. Но жена сапожника также отсутствовала, и был уже совсем поздний час, когда она возвратилась домой вместе с миссис Флинн.

Час Помоны настал! Они отвезли ее в родильный приют — только-только успели — малютка сын — они оба в полном порядке — Диконни уже дядя!

То, что мать поступила по-своему, действовало на мальчика ошеломляюще, он почувствовал себя пристыженным, глубоко посрамленным; но вслед за тем уже знакомое ему чувство облегчения веколыхнулось в его груди и наполнило его глубоким покоем. В конце концов, разве так уж важно, где рождается человеческое существо — или даже где оно кончает свои дни, — если у него есть возможность вполне благополучно вырасти и даже, при особом везении, стать хорошим человеком? Но этот ребенок с самого рождения несет бремя отцовской подлости; он должен будет вести себя как подобает, а то как бы не пришлось ему уплатить родителям сто фунтов компенсации за причиненное бесчестие. Впрочем, как звать, не здесь ли заключен смысл туманного изречения поэта: «Ребенок — взрослого отец»? ¹

Миссис Флинн клялась и божилась, что в родильном приюте все было к ним очень добро, и там такая чистота и порядок, и все лучшее и самое дорогое; у нее самой, когда она родила Диконни и Помону, и в помине не было ничего подобного.

— Даже если мне еще когда придет охота родить, — заметила она с глубочайшей убежденностью, — я пойду только туда, и никуда больше!

Диконни отдал матери полпакета мятных ленешек, купленных для Помоны. Часть своих сбережений он потратил на бутылку крепкого портера для самой миссис Флинн — она выглядела усталой и грустной, а крепкий портер всегда был ей по вкусу. Остаток денег он также отдал матери, чтобы она купила что-нибудь Помоне, когда пойдет ее проведать. Сам он не собирался к ней, нет, ни за что! Долгие вечера проводил он

¹ Строка из стихотворения английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта «Ликует сердце...».

в библиотеке — джентльмен с разноцветными глазами дал ему почитать изумительную книгу про птиц. Джонни изучил ее. Вот придет весна, и по воскресеньям он будет ставить силки на птиц где-нибудь за городом, а также стрелять в них из рогатки. Кукушка — совершенно необычайное существо. Да и шеврица луговая не менее интересна. Доналд Гауэр в прошлом году даже отыскал гнездо козодоя!

И вот наступил день, когда всю дорогу с работы Джонни мчался во весь дух, потому что знал — наконец-то Помона вернулась. Стараясь овладеть собой, он у самого дома замедлил шаг. Поднимаясь по лестнице, он изо всех сил старался казаться равнодушным, но почему-то постучал в двери их комнаты — он сам не знал, зачем это сделал. Сестра позвала его. Помона, ставшая еще более тоненькой и бледной, стояла у каминя, баюкая узел белых одежек, среди которых виднелся толстый розовый младенец.

— О господи! — возопил ее восторженный брат. — Какой он красивый! Как мы будем любить его!

Он схватил Помону в объятия, чуть не раздавив наследного принца, лежавшего у ее груди. Но она не возражала, даже не упрекнула его за это, а просто позволила ему миловать своего драгоценного малыша.

— Послушай, Помона, как мы его назовем? Знаешь что, давай назовем его Расселас.

Помона взглянула на него с некоторым сомнением.

— А как тебе понравится Упльям Уоллес или, может быть, Роберт Брюс?¹

— Я назову его Джонни, — промолвила Помона.

— Ну нет, это глупо! — возразил ее братец.

Однако Помона твердо стояла на своем. Ему показалось, что на глазах ее он увидел слезы, — у нее вообще было чересчур нежное сердце.

— Я назову его Джонни, — повторила она, — Джонни Флиппи!

¹ Упльям Уоллес (ок. 1270—1305) и Роберт Брюс (1274—1329) — национальные герои Шотландии, борцы за ее независимость, о которых пишет Вальтер Скотт в «Рассказах моего деда».

ГОРЧИЧНОЕ ПОЛЕ



Ветреным ноябрьским днем три немолдые замуженные женщины из Поллокс Кросс — Дина Локк, Эми Хардвик и Роза Олливер — собирали хворост в Блэквудском лесу. На миссис Локк было темно-синее платье и короткая жакетка, подчеркивающая ее пышные формы, на Розе и Эми — длинные серые пальто свободного покроя. Все три — лет около сорока. Все без шляп; ветер и ветки деревьев растрепали им волосы, и они висели отдельными прядями. Женщины не уходили далеко от опушки, — лес впереди сумрачно чернел и круто взбирался на гору. Позади стройные стволы буков в хаосе оголенных серебристых ветвей с уцелевшим лишь кое-где листком, и зеленый, трепещущий на ветру шиповник, ограждали палисадом широкий простор серого неба и желтого горчичного поля. Задрав головы, женщины высматривали на деревьях сухие сучья и, когда находили их, Дина Локк, грудастая, бокастая, жгвая, с залихватным смехом, закидывала на дерево веревку, к одному концу которой был привязан железный болт. Веревка обвивалась вокруг сука, женщины тянули за нее изо всех сил и вот, с громким треском, ветка рушилась, а чашечка и сами они валялись наземь рядом со своей добычей. Вскоре им встретился старик с большим, низко перепоясанным животом и тощими ногами, в подвязанных у колен штанах; они спросили у него время, и он вытащил старинные, луковичей, часы, которыми женщины, посмеиваясь, стали громко восхищаться.

— На рождество куплю себе такие часы, — объявила миссис Локк.

Старик трясущейся рукой засунул в карман свой хронометр и удивленно посмотрел на нее.

— Ей-ей куплю, — продолжала она, — коли господь будет ко мне милостив и мой боровок не подохнет.

— Чего городит и сама не знает, — проворчал он. — Такие часы! Это моего дяди покойного часы.

— А кто он был? Они мне нравятся.
— Кто? Сержант. Улан. Сражался под командой сэра Гарпета Уолсли. Получил эти часы в награду.

— За что?

— За то, что выполнял свой долг, — отрезал старик.

— И только-то? — вскричала Дина Локк. — Почему за это мне никто часов не дарит? А знаете, что я видела, когда в Лондоне была? Часы в вазе с водой — ваза-то стеклянная — и вокруг них рыбка плавала.

— Рассказывай сказки!

— А вот плавала!

— Сказки; говорю тебе, сказки!

— И стрелка вертелась, как Клакфордская мельница. Вот какие я куплю себе часы! На что мне сдались эти — от всяких там сэров Гарпетов Уолсли.

— Сэр Гарпет был настоящий христианин.

— Ну, еще бы; спал в одной кровати с самим Иисусом Христом, — сказала, зевая, Дина.

— Этого я не говорил. — От негодования старик брызгал слюной. — Да что это с тобой? Какая муха тебя укусила? — Дина заливалась смехом. — Тьфу! — плюнул старик и зашагал прочь. — Экая бочка. Поперек себя шпире.

Пройдя шагов пятьдесят, он обернулся и выкрикнул какую-то непостоянную, по женщины не обратил на него внимания — они принялись делать вязанки из собранного хвороста; старик показал им нос и заковылял дальше, к дороге.

Скоро Роза и Дина управились с вязанками, но Эми Хардвик, маленькая, медлительная, молчаливая женщина, все еще копалась.

— Живей, Эми! — подгоняла ее Роза.

— Пошли, — сказала Дина.

— Сейчас, погодите, — вяло отозвалась она.

— Господи, тебя только за смертью посылать! — вскричала Дина Локк и, взвалив на плечи большую вязанку, двинулась вперед; за ней — Роза с такой же ношей на спине. Через несколько минут они уже вышли из лесу, пересекли дорогу и вступили на тропинку, которая, извиваясь, брела наискосок через все горчичное поле в дальний его угол, туда, где на насыпи виделась живая изгородь. Они шли молча и, подойдя

к изгороди, сбросили на землю вязанки и сели на них подождать Эми Хардвик.

Перед ними лежало поле, которое они только что пересекли; от желтых цветов, колышущихся на ветру, тянуло кисловатым духом. День был хмурый, воздух холодный, место самое уединенное. За горчичным полем глаз не встречал ничего, кроме деревьев. Огромным полукругом разлеглись холмы, и лес, взметнувшись к самому небу, был словно темный погребальный покров на бездыханном теле. Необъятный и мрачный, этот багряный лес окутал все вокруг. Внизу белым ожерельем изгибалась дорога; десятка два телеграфных столбов, увенчанных фарфоровыми соцветиями, казались под этой громадой не выше гиацинтов. Но не грандиозность картины, а разлитая в ней грусть вдруг пронизала Дину Локк. Упершись локтями в толстые колени, положив подбородок на руки, она сидела, вдыхая сумрачный воздух и глядя на растилазвшийся перед ними вид.

— О господи! От колыбелки до могилы одно и то же! — проговорила она.

— Куда это Эми запропастилась? — спросила Роза.

— Никкак не могу с ней подружиться, — заметила Дина.

— И я. Нелюдимая она какая-то, и копуша к тому же.

— Нрав больно у нее хмурый. Что и говорить, Роза, нам всегда хочется, чтобы друзья были малость не такими, как они есть. Иногда они лучше, чаще — хуже, чем бы нам хотелось. А все равно, считай — тебе повезло, раз у тебя есть друг. Ты мне по сердцу, Роза. Жаль, что ты не мужчина.

— Да что толку, что я женщина? — откликнулась Роза.

— Ну, ну, не так уж оно и худо; была бы у тебя куча детей, как у меня, не чаяла бы, как от них избавиться.

— А не будь их у тебя, небось только и ждала бы, чтоб завелась.

— Верно, Роза, так уж мир устроен. Слово в насмешку над нами. Бог всемогущий тут не при чем, Роза, это работа нечистого... Ой, милая, мозоль держит — мочи нет! К чему бы оно?

— Верно, к дождю, — сказала Роза. Это была высокая темповолосая женщина, все еще красивая, не-

смотря на обветренную кожу и худобу. — Хоть бы скорее прошли эти месяцы. Так время тянется.

— Да, нам или не хватает времени, или оно у нас лишнее, или его как раз сколько надо, да сам ты уже стар. От колыбели до могилы одно и то же, вот моя участь... Вот и этот меня старой бочкой обозвал.

Капитановы волосы Дины разметались по ее миловидному лицу, взгляд был печален, но трагический тон мало вязался с ее полной фигурой.

— Летом я худею — целый божий день на ногах, да и пот с меня льет, словно с невестинной подружки в день свадьбы, а вот зимой разносит, как свинью.

— Так чего ты тогда ворчишь? — спросила Роза; она соскользнула с вязанки на землю и, лежа на животе, смотрела на подругу.

— Сердце у меня молодое, Роза.

— У тебя есть муж.

— Какой он муж с тех пор, как заболел! А уж он давненько хворает. Как начнет каплять, кажется, вывернет его наизнанку. А плюнет — словно кофейной гущей. Ты можешь это понять — кофейной гущей! Я старею, а сердце у меня молодое.

— И со мной так, но у тебя хоть дети есть, целых четверо, и маленькие и большие. — Роза отломила веточку горчицы и то захватывала цветок губами, то отпускала. — А у меня нет и никогда не будет.

Внезапно она села и, порывшись в кармане, вытащила кошелек. Сняла резинку, стягивающую его. Кошелек раскрылся. Внутри лежало несколько монет и сложенный листок бумаги. Дина не спускала с нее любопытных глаз. Роза вынула бумажку и тщательно разгладила ее. — На днях я нашла дома одну штуку и вырезала это оттуда. — Тихим голосом она начала читать:

— «День был пустой, тоскливый, время как будто остановилось. К вечеру стал моросить дождь. Я сидел у каминя, перелистывая книгу, и на душе у меня было грустно, пока мне не попалась на глаза небольшая старинная гравюра. На ней был изображен сад и процессия ангелочков — безмятежно голых пухлых младенцев с крылышками, как у птиц. У одного в руках был лук, у других — рог изобилия, или корзина с фруктами, или свирель. Их украшали цветочные гирлянды, и лица их были полны торжественной радости.

И когда я увидел их, душу мою затопило неведомое раньше блаженство, и я подумал, что весь мир — один огромный сад, хотя озаряющий его свет и скрыт от наших глаз и дети эти еще не родились».

Роза скомкала бумажку и снова легла на землю.

— Ха, говорю тебе, Роза, дети — это наказание. Я никогда не хотела иметь детей. Видит бог, Роза, я бы жизни для них не пожалела, я бы дала разрезать себя на кусочки, только бы они не попали в беду, ежели бы один из них умер, я бы и в могиле не перестала плакать о нем. А только никогда я не хотела их, ни к чему они мне были, и не по моей воле они на свет родились. Одурачили меня. И как посмотришь, наша сестра в конце концов всегда остается в накладе. Оно верно, мы немало со стариком позабавились, а все же не след мне было замуж выходить. Ах, пачать бы все сначала! Да, кабы не дети, только бы вы меня здесь и видели. Это уж как бог свят, Роза. Правда, что стало бы со мной — не знаю.

По желтому полю волной прокатился ветер, и в лицо загрустившим женщинам пахнуло цветущей горчицей. Вот ветер яростно обрушился на лес, и меж клающихся вершин пронеслось и угасло степание, словно зов волны, потерявшей берег. Хворост колот Дини ноги, и, соскользнув с вязанки на землю, она улеглась рядом с Розой Олливер.

— А как же твой старик? — спросила та.

Несколько секунд длилось молчание. Сорвав веточку горчицы, Дини тоже припнулась ласкать ее губами.

— Он больше не мужичка, Роза. Болезнь доконала его, с него теперь никакого проку. Не мужичка уже два года, и голова голая, что твоё колено. А я люблю волосатых мужички, как... Ты помнишь Руффуса Блэксорна, который служил здесь лесничим?

Роза перестала играть цветком.

— Да, я помню Руффуса Блэксорна.

— Вот это был мужичка! Красивый, смелый! Другого такого в наших краях не сыщешь, да и во всей Англии, да, пожалуй, и на всем белом свете... Хотя всякое рассказывают про этих иностранцев — в Китае там да в Австралии.

— Ну так что? — спросила Роза.

— Вот был дьявол. — Дини Локк перешла на

шепот. — Сущий дьявол. Хотела бы я что другое о нем сказать, да не могу.

— Полно, — запротестовала Роза. — Такой добрый человек! Видеть не мог, чтобы кто в чем терпел нужду.

— Ну да, — в голосе Дины звучала ласковая насмешка. — Вот он сразу и закрывал глаза.

— Только не перед женщиной.

— Да, тут ничего не скажешь... с женщинами он был хорош.

— Я бы могла рассказать тебе кое-что, ушам своим не поверишь, — еле слышно сказала Роза.

— Ты? Но... да нет. Вот я бы могла рассказать тебе такое, что тебе и во сне не снилось. Мы с Руфусом! Мы... ах, боже мой... ну...

— Красивый он был.

— Картинка, — горячо поддержала Дина. — Черный как смоль и храбрый — прямо лев. Я была замужем без малого десять лет, когда он впервые появился в наших краях. У меня уже трое детей было. Всякий раз, стоило нам с ним встретиться, он отпускал какое-нибудь словцо, знал, что он мне нравится. Как-то на тропцу была я дома одна; дети ушли гулять, а Том где-то накачпвался. Я сажала цветы в саду. Очень я любила цветы... И теперь люблю, всю бы землю садом сделала, да Том, что ни посади, вырывает. Выдернет с корнем, и все. Ты не поверишь, у меня раз даже крокус был... Вот, значит, сажаю я цветы в саду и вижу, идет кто-то мимо изгороди, торопится. Посмотрела я, а это Руфус, да такой нарядный — разделся в пух и прах! И что меня дернуло, а только я возьми да и окликни его: «Куда это ты бежишь, словно на пожар?» — «На свадьбу тороплюсь», — отвечает. — «А меня возьмешь?!» — спрашиваю. — «С превеликой радостью, говорит, только побыстрее, ждешь мне тебя недосуг». Ну, я скорей в дом, напялила кое-как платье, и пошли мы с ним через лес на мельницу в Клакфорд, к Джиму Пикернгу на свадьбу. Когда Джим привез из церкви молодую жену, Руфус взял ружье и выстрелил в каминную трубу. Всю комнату сажей засыпало! А колпак с трубы разлетелся на куски, да как загрохочет по черепице, да прямо в коляску. Ну и шуму было! А только никто на него не сердился... Вина напасли вволю, и мы весь день плясали. А потом мы

с Руфусом снова пошли лесом домой. «Господи, — сказала я себе, — никогда больше мне не быть с ним вдвоем», и я повторила это вслух, слово в слово. Но вышло по-другому. Я проспнулась среди ночи; во всю ночь светила луна, мне даже страшно стало — уж не горит ли дом? Но пет — Том спокойно храпел со мной рядом. Я лежала и все думала, как мы с Руфусом шли по лесу, все думала и думала — и была готова выпрыгнуть из окна в лунный свет и полететь к нему над печными трубами. Так я и не заснула в ту ночь. А на следующую ночь я пошла к Руфусу, и в ночь после того, и еще много-много ночей. Всякий раз, как я хотела уйти, я оставляла Тому полный буфет снэди, а больше ему ничего и не надо было. Я просто с ума сходила по Руфусу и, пока это наваждение не прошло, не могла любить своего мужа. Ну, никак.

— И как же ты? — спросила Роза.

— Притворилась будто больна, и взяла к себе в постель Кейти, младшенькую, а Тому отдала ее кровать. Он вроде бы и не имел ничего против, да только скоро я узнала, что он бегаёт за женщинами. Ну ясно, я этому мигом положила конец. А потом... что ты думаешь? Разрази меня господь, коли и Руфус не взялся за те же штучки. Что там у него было на душе — поди разбери! Изменял мне, понимаешь, зато какой смелый он был!

Роза лежала молча, выдергивая из земли травки; по лицу ее блуждала кривая усмешка.

— Он рассказывал тебе об утопленичке? — спросила она наконец. Дина покачала головой. — Перед тем как прехать сюда, он был лесничим в Оксфордшире, там, где река течет лесом, и жил в плавучем домике, который стоял на якоре у берега. И вот какой-то важный господин утоп там неподалеку — несчастный случай, — и тела его никак не могли пайти. Наконец родственники предложили тому, кто его найдет, награду — десять фунтов.

— Десять фунтов?!

— Да. Ну, все лодочки сказали, что тело не всплывет раньше, чем через неделю.

— Верно. Бывает и дольше.

— Так и вышло. И вот как-то раз, ночью, еще луна светила всю, подплыли к его домику какие-то люди на лодке и стали шарить вокруг, и он слышит, как

они говорят: «Кроме как здесь, ему быть нигде». А Руфус возьми и крикни в ответ: «Где же еще, как не здесь. Лежит вместе со мной в постели».

Дина рассмеялась.

— Да. А на следующий день он получил-таки эти десять фунтов, потому что он и вправду нашел тело и до поры до времени его спрятал.

— Ничегошеньки не боялся, — сказала Дина. — Самому черту дороги бы не уступил. А какой он был искусник, все умел делать, даже шить. Я ему, бывало, говорю: «Дай я залатаю тебе куртку», или что там было надо, так он ни за что не даст, все сам, своими руками. «Разве можно доверять женщинам свои вещи, — говорит, — они шьют так, что игла докрасна раскаляется, а от иттики дым идет». А какие он туфли из камыша плел!

— Да, — отозвалась Роза. — Он как-то силел мне пару.

— Тебе? — вскричала Дина. — Да разве ты... ты была..?

Роза отвернулась.

— Все мы гроша ломаного не стоили для него, — тихо сказала она. — Что мы ему? Так, мякина, высевки.

Дина Локк лежала недвижно в глубоком раздумье; что ее томило — старое горе или свежая обида, Роза не знала и не стала выяснять. Обе затихли, ушли в себя, обе вспоминали сумасбродства прежних дней. Они дрожали от холода, но не вставали с земли. Ветер в лесу усилился, над желтым полем его хриплое дыхание переходило в протяжный стон, тяжелые клубящиеся тучи быстро неслись по бескрайнему свинцовому небу.

— Эй! — послышался голос, и рядом возникла Эми с огромной вязанкой хвороста, чуть не придавившей ее к земле.

— Не могу останавливаться, второй раз мне эту вязанку так не уместить. Я нашла в лесу шиллинг, — ликующим пронзительным голосом продолжала она. — Приходите ко мне вечером, разошьем кварту портера.

— Шиллинг, Эми? — воскликнула Роза.

— Ага, — отозвалась миссис Хардвик, не замедляя шага. — Искала ему пару, да больше не посчастливилось. Приходите, обмоем его вечером.

— Идем, Роза, — сказала Дина.

Они осторожно взгромоздили на спины вязанки и, пошатываясь под тяжестью, пошли следом за Эми, но

та уже свернула на дорожку между живыми изгородями, идущую к Поллакс Кросс, и скрылась из виду.

— Детки твои, верно, уже дома, — сказала Роза. —

Небось ждут не дождутся, когда ты придешь.

— Еще бы! Кто же им животы набьет?

— А как приятно зимними вечерами сидеть с ними у камна, расчесывать им волосы да рассказывать сказки.

— Будто у тебя в доме камна нет, — проворчала Дина.

— Есть, ясное дело.

— Кто ж тебе мешает перед ним сидеть?

Вязанка Дины зацепилась за ветки шиповника, нависавшие над тропинкой, и, чуть не упав, она негромко выругалась. С хрипыми криками во все стороны порскнули куропатки, жпрующие в траве. Одна с перепугу ударилась о телеграфные провода и замертво упала на землю.

— Они славные детки, Дина, право же славные. И они, верно, пишут тебе стишки в Валентинов день и дарят на рождение ленты.

— Они возьтятся и кричат от первых петухов до той поры, пока не захрапнт мой старик... А тогда мне еще хуже.

— Они же дети, Дина.

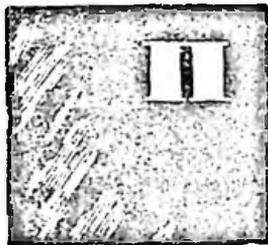
— У тебя... у тебя тихо и прибрано в доме, и не надо заботиться ни о ком, кроме мужа, а он хороший, добрый человек, и вы сидите с ним по вечерам, играете в домино, в шашки, и он нет-нет да и взглянет на тебя да погладит тебе руку.

Они шли, спотыкаясь под своей ношей, и, когда ветер подтолкнул женщину поближе, Дина Локк протянула руку и коснулась плеча подруги.

— Ты мне по сердцу, Роза. Жаль, что ты не мужчина.

Роза не ответила. Снова обе затихли, углубились в себя и так, в свете умирающего дня, подошли каждая к своему дому. Но каким ветреным, бездомным, опустошенным был мир, погружающийся во мрак. По небу, обгоняя друг друга, неспоро неслись тучи, словно обращенное в бегство войско; казалось, прекрасная земля вздыхает, скорбя о певедомом людям бедствии.

ПЯТЬДЕСЯТ ФУНТОВ



осле чая Филип Рептон и Юлейли Барнс обсуждали свое безрадостное положение. Рептон — один из тех лондонских журналистов, что не имеют постоянной работы, был темноволосый рассудительный человек, худой и понурый, всем своим видом являвший пример благовоспитанного неудачника. Он писал статьи на такие темы, как «Единый земельный налог, дпета и благоразумие», «Тщетность того, другого или третьего» или «Значение того, другого или третьего», отделявал их с дотошным усердием и подписывал «Ф. Стик Рептон». У Юлейли были каштановые волосы, она была решительной, безрассудной и импульсивной. Она успела поработать и модисткой, и секретаршей, и прислугой, и кем-то в столовой. Ф. Стик Рептон, как теперь говорят, подцепил ее, когда она скиталась по Лондону не то чтобы без гроша в кошельке, но даже и без кошелька, и пока не стремился, чтобы она от него отцепилась.

— Не понимаю! Это мерзко, чудовищно! — Лалли неловко возплась со спичками перед газовым каминном, который зажпгался, когда в счетчик опускали пенни; наступил сентябрь, и к вечеру у них на самом верху всегда делалось холодно. Их квартира находилась на пятом этаже, куда вело — о боже! — пятнадцать тысяч ступенек. Из их окна за печной трубой была видна спяущая цепь огней на Хай Холборн, откуда доносилась гудки и шум автобусов. От этого становилось уютно.

— Приверни газ, слышишь! — закричал Филип. Газ неожиданно гулко вспыхнул, стоявшая на коленях Лалли отдернула руки, выронила коробок и сказала «Черт!» таким тоном, каким говорят молочнику: «С добрым утром!».

— Ты же знаешь, что так нельзя! — ворчал Рептон. — Когда-нибудь ты взорвешь нас к дьяволу.

Как это похоже на Лалли, вечно она так, и этот газ, и горы сахара в его стакане с чаем, и то, как она... и... о господи!

В первые дни их совместной жизни, которая так внезапно и без всяких формальностей началась шесть месяцев назад, ее бесхитростные, скрытые от глаз достоинства приводили его в восторг самой своей неожиданностью; они проглядывали вдруг и загорались ярким светом, потом тускнели, потом снова вспыхивали, она была не просто единственной звездой на его небосклоне, а целым мерцающим созвездием.

Их гостиная была невзрачной комнатой, очень маленькой, но с очень высоким потолком. Голенастая газовая труба устремлялась с середины потолка вниз, к середине стола, словно сгорала от желания узнать, какого цвета скатерть — розовая, желтая или коричневая, а решить это и в самом деле было трудно, но, убедившись, что скатерть, какого бы оттенка она ни была, вся испещрена пятнами от чашек и завалена большими конвертами, труба в приливе разочарования резко изгибалась, принимала горизонтальное положение и высовывала синый язык пламени у репродукции Моны Лизы, висевшей над каминном.

Эти конверты были для Лалли вещей ниткой, они-то и представляли собой чудовищное и мерзкое явление, которого она не могла понять. Они постоянно валялись на столе или где-нибудь еще в комнате, распухшие от рукописей, которые никто из редакторов не желал принимать, хотя сами небось даже по удосуживались их прочесть, — и вот наступил тот критический момент, когда, как заявила Лалли, необходимо было что-то сделать. Рептон уже и так делал все, что мог, — неустанно писал дни и ночи напролет, но все его проекты оказывались несостоятельными и увядали на корню, так что утром, в полдень и вечером он получал свои рукописи обратно, никому не нужные, как прошлогодний снег. Он был подавлен, он выдохся, зашел в тупик. А больше он просто ничего не умел, решительно ничего. Он обладал только своим изумительным даром, в остальном, Лалли это знала, он был ни к чему не приспособлен, и эти издатели с тупым упорством убивали его. Уже несколько недель, как они с Филом не обедали по-настоящему. Теперь, если им

перепало что-нибудь вкусное и сытное, они садились за стол молча, сосредоточенно и упичтожали все подчистую. Насколько Лалли могла судить, никаких видов на регулярные обеды ни сейчас, ни в будущем у них не имелось, но хуже всего то, что Филип был слишком горд: он был такой гордый, что не мог просить о помощи! Правда, это не помешало бы ему принять ее, если бы ему ее предложили, нет, нет, если бы помощь пришла, он был бы счастлив. А так его уязвимая, пугливая гордость словно скручивала его в узел, и он не мог просить, он походил на раненого зверя, который прячет свою боль от всего света. Только Лалли знала, как ему плохо; но почему этого не видели другие, эти негодяи издатели? Ему самому так мало было нужно, и он был такой великодушный!

— Фил, — сказала Лалли, присев к столу. Рептон развалился в плетеном кресле перед каминном. — Я не в силах больше ждать. Я должна пойти себе работу. Мы делаемся все беднее и беднее. Дальше так нельзя, это бессмысленно. Я больше не могу этого выносить.

— Нет, нет, милая, этого я не допущу.

— Но я должна! — воскликнула она. — Ну, почему ты такой гордый?

— Гордый, гордый! — Он, не отрываясь, глядел на огонь, и его усталые руки безвольно свешивались с подлокотников. — Ты не понимаешь. Есть вещи, с которыми плоть должна смиряться, и дух человека тоже призван смиряться с ними...

Лалли нравилось слушать, когда он так говорил, и слава богу: ведь Рептон был весьма склонен к подобным рассуждениям. В глубине души Лалли была убеждена, что Рептону вполне доступна великая, почти непостижимая мудрость.

— Дело не в гордости, дело в том, что жизнь, во всяком случае — моя жизнь, подчинена определенным правилам, и допустить этого я не могу. Я бы этого не вынес, я бы покоя не знал. Не могу тебе этого объяснить, Лалли, ты просто должна мне поверить. — Хоть в голове его и было пусто, но было гордо поднято чело. Он говорил быстро и закончил почти со злостью: — Если б у меня были деньги! Не для себя. Я-то могу выпестить все, все, что угодно. Так уже бывало раньше, и я

выдержу это еще не раз, я уверен. Но я обязан подумать о тебе.

Это было совершенно невыносимо. Лалли вскочила, подошла к Рептону и остановилась перед ним.

— Ну, почему ты такой глупый? Я сама могу подумать о себе, и сама о себе позабочусь. Я тебе не жена. Ты гордый, но не могу же я из-за этого умирать с голоду. Я тоже гордая. Я тебе в тягость. Раз ты не даешь мне работать, пока мы живем вместе, то я уйду от тебя и буду зарабатывать сама.

— Уйдешь! Бросишь меня в такой момент, когда все так скверно? — На его бледном лице промелькнуло смятение. — Ну и прекрасно, уходи, уходи, пожалуйста! — Но тут же, растроганный и опечаленный, он взял ее руки в свои и принялся ласкать их. — Не глупи, Лалли, это временные осложнения. Я знавал худшие времена, и они никогда не продолжались долго, всегда что-нибудь да подворачивалось, всегда. Во всем есть доброе и злое начало, но добро всегда побеждает, вот увидишь.

— А я не хочу ждать, когда оно победит. Я в него не верю, никогда его не видела, никогда не чувствовала, мне от него нет никакого проку. Я могла бы пойти и украсть, могла бы пойти на панель, сделать любую гадость — мне все равно. Но что хорошего в добре, если от него нет никакого толка?

— Постой, постой, — задохнулся Рептон. — А какой толк в зле, если от него не делается лучше?

— Я в том смысле... — начала Лалли.

— В том, что ты говоришь, нет никакого смысла.

— Я в том смысле, что, когда нет выбора, нечего тратить время на разговоры о морали и о гордости, это глупо. Ах, милый! — Она опустилась на пол и прижалась к его груди. — Я не о тебе, ты для меня все. Поэтому-то меня и злит, что с тобой так обращаются, злит, что ты получаешь удар за ударом, что нет никаких улучшений. И так будет всегда. Теперь я понимаю, что ничего не изменится, и это ужасает меня.

— Ну, ну, — он поцеловал ее и стал успокаивать: она была его возлюбленная. — Когда нам плохо, наше воображение окрашивается в цвет наших злоключений, несчастий и неудач. На меня иногда находит странное предчувствие, что когда-нибудь меня повесят. Да, да,

не знаю, за что, ну в самом деле, за что меня могли бы повесить? А в другие дни что-то подсказывает мне, что я стану, знаешь, кем? Премьер-министром! Да, это все — явления необъяснимые. Я даже знаю, что должен буду делать, у меня свои планы, я даже составил список министров своего кабинета. Вот как бывает!

Но Лалли твердо решила уехать от него, она оставит его на время и заработает себе на жизнь. А когда дела пойдут на лад, она вернется. Так она ему и сказала. У нее есть друзья, которые обещали подыскать ей какую-нибудь работу.

— Но что ты собираешься делать, Лалли? Я...

— Уеду в Глазго, — ответила она.

«В Глазго? — Он кое-что слышал об этом Глазго! — Боже милостивый!»

— У меня там есть знакомые, — спокойно продолжала девушка. Она поднялась и присела на ручку кресла. — На прошлой неделе я им написала. Они придут мне работу в любую минуту, и я смогу поселиться у них. Они меня зовут, даже прислали денег на дорогу. Мне кажется, я должна ехать.

— Значит, ты меня не любишь, — сказал он.

Лалли поцеловала его.

— Нет, ты любишь? Скажи!

— Ну да, милый, — сказала Лалли, — конечно.

Ему стало не по себе; он обиженно отстранил ее. Куда же умчалась их бурная, страстная любовь? Она внимательно вглядывалась в него, потом ласково пропознала:

— Любимый, не грусти, не принимай это так близко к сердцу. Да я для тебя луну с неба достану.

— Нет, нет, не надо! — пелело воскликнул он.

В ответ на ее снисходительную улыбку он мрачно засмеялся и откинулся в кресле. Девушка встала и начала бродить по комнате, машинально поправляя какие-то мелочи, но тут он снова заговорил:

— Значит, я тебе надоел?

Лалли решительно подошла и опустилась возле него на колени.

— Если бы ты мне надоел, Фил, я бы себя убила.

Он обиженно пропустил ее слова мимо ушей.

— Пожалуй, этим и должно было кончиться. Но я так безумно любил тебя.

Тут уж Лалли заплакала, припав к его плечу, а он рассеянно перебирал пальцами пряди ее густых каштановых волос, словно это были брелочки на цепочке от часов.

— А я-то думал, что как только наши дела поправятся, мы сможем пожениться.

— Я вернусь, Фил, — она нежно обняла его. — Я вернусь, как только ты этого захочешь.

— Значит, ты все-таки решила уйти?

— Да, — сказала Лалли.

— Ты не должна уходить!

— Я бы и не ушла, если бы... если бы хоть что-нибудь, если бы тебе хоть как-то повезло. Но раз все так сложилось, я должна уйти, чтобы дать тебе хоть какую-то возможность; ты же понимаешь, мплый?

— Ты не должна уходить, я протестую, Лалли. Я ведь люблю тебя, и, конечно, мне хочется, чтобы ты осталась со мной, вот и все.

— А как мы будем жить?

— Я... я не знаю. Что-нибудь откуда-нибудь да свалится, но мы должны быть вместе. Ты не должна уходить.

Лалли вздохнула: какой он глупый. А Рептона начала точить обида на то, что она все сделала по секрету, ничего ему не сказала перед тем, как написать в Глазго. И вот, пожалуйста, — у нее уже и деньги на билет и можно считать, что она уехала. Да, все кончено.

— Когда ты собираешься ехать?

— Еще не так скоро, почти через две недели.

— Великий боже! — простонал он. Ну ясно, все кончено. Ему и в голову никогда не приходило, что конец может быть таким, что она первая порвет с ним. Мысленно он всегда рисовал себе трогательную сцену, как он с достоинством и мягкой иронией сообщает ей, что, мол... Он, правда, не очень представлял себе, какие скажет слова, но считал, что случится это именно так. И вдруг, пате вам, у нее уже билет в Глазго, можно считать, что ее уже здесь нет. Никакой трогательной сцены, никакой мягкой иронии — на самом-то деле он был взбешен, взбешен, хоть и не выказывал этого, в нем все так и кипело. Но он сказал спокойно и грустно:

— Что ж, я перенес столько невзгод, перепесу, наверно, и это. — Вид у него был мрачный и трагический.

— Фил, милый, ведь я делаю это ради тебя.

Рептон презрительно хмыкнул.

— Нам свойственно заблуждаться насчет причин, толкающих нас на самые обычные поступки. Природа лукавит со всеми нами. Ты устала от меня, что ж, я не вправе тебя винить.

Юлейли была так взволнована, что снова не смогла удержаться от слез. Но все-таки она написала своим знакомым в Глазго, обещая приехать в условленный срок.

На другой день к вечеру, когда она была одна, пришло письмо на ее имя. Оно было из юридической конторы в Корихилле, куда ее просили зайти. В душе Лалли вспыхнула надежда — а вдруг ей предложат работу и в конце концов она сможет остаться в Лондоне! Если так, она тут же, на месте, даст согласие, придется только уговорить Фила, что это самое разумное. Однако в конторе в Корихилле ее ждала еще более поразительная новость. Придя туда, она показала письмо мальчишке-рассыльному с очень маленьким носом и почти полным отсутствием ногтей, и он провел ее к пожилому человеку, у которого, наоборот, и нос и ногти отличались завидной длиной. Любезно улыбаясь, длинноносый проводил ее наверх, в унылую каморку, где сидел джентльмен, голова которого была скудно украшена седыми волосками, а кожа на лице была желтоватая и бугристая. Задав ей несколько вопросов, касающихся истории ее семьи, и, по-видимому, удовлетворившись ее ответами, которые его, впрочем, ничуть не удивили, джентльмен сообщил Лалли ошеломляющую новость, что ей в соответствии с завещанием забытой и недавно скончавшейся тетки надлежит получить наследство в восемьдесят фунтов стерлингов. Он обещал, что после всяких формальностей, установления личности и прочего, на что уйдет около недели, Лалли сможет получить деньги.

Как она спустилась вниз, как оказалась на шумной улице, как шла обратно в Холборн, Лалли не заметила: она находилась в состоянии блаженства, в упоении, когда жизнь кажется в тысячу раз необъятней, каждый шаг доставляет радость, каждая мысль приводит

в восторг. Все деньги она отдаст Филипу, и, если уж он так сильно этого хочет, теперь она даже может выйти за него замуж. Хотя, пожалуй, десять фунтов она прибережет для себя. А семидесяти остальных им хватит... даже представить невозможно, как надолго их хватит. Они могут дать себе небольшой отдых и на некоторое время уехать за город, Филип так устал и измучился. А может быть, лучше не говорить Филипу, пока эти чудесные деньги не окажутся у нее в руках. В жизни нет ничего надежного, особенно когда дело касается денег; вдруг в самый последний момент случится что-нибудь ужасное и деньги уплывут у нее из-под носа. Ох, тогда она с ума сойдет. Итак, несколько дней она скрывала от него свои удивительные новости.

Надвигающаяся разлука вселяла в Рептона нежную грусть, и это было очень трогательно.

— Юлейли, — говорил он (почему-то он вдруг усвоил себе привычку называть ее полным именем), — Юлейли, мы провели вместе чудесные дни, великолепные, такого у нас в жизни больше никогда не будет.

Она часто пролиwała при этом слезы, но ни одним словом не выдавала своей великой тайны. А между тем ей стало казаться все более вероятным, что его несчастная гордость не позволит ему и сейчас принять у нее эти деньги. Глупый, глупый Филип! Конечно, будь они женаты, все было бы иначе, тогда бы он, разумеется, взял их: ведь, по существу, они принадлежали бы ему. Придется ей придумать какую-нибудь уловку, чтобы обмануть его щепетильность. Просто беда, что он такой щепетильный, но все-таки это очень благородно с его стороны — мало кто из мужчин постесняется взять деньги от женщины, с которой живет.

И вот через неделю ее снова вызвали в контору в Корнхилле, и седой джентльмен вручил ей чек на восемьдесят фунтов стерлингов, которые мисс Юлейли Барнс подлежало получить в Английском банке. Мисс Барнс выразила желание сделать это немедленно, и по сему пожилому длинноносому клерку поручили проводить ее в Английский банк, который был совсем рядом, и помочь получить по чеку.

— Чрезвычайно приятное поручение! — воскликнул этот джентльмен, когда они, пройдя мимо Королевской биржи, свернули на Треднидл-стрит. Мисс Барнс

с благодарностью улыбнулась, и он принялся рассказывать ей о других подарках судьбы, прошедших через его руки — колоссальные суммы, очень важные особы, — так что в конце концов Лалли стало казаться, будто Блэкбин, Карп и Рэнсом только тем и занимались, что раздавали состояния всем и каждому.

— Да, но сам я, — сказал после затяжного приступа кашля клерк, который, по-видимому, был подвержен простудам, — сам я никогда ничего не получал и никогда не получу. А если бы мне повезло, знаете, что бы я сделал?

Однако тут они вступили под своды банка, и, увлеченная сложной процедурой, мисс Барнс забыла спросить клерка, как бы он распорядился наследством, и, кто знает, может быть, таким образом она лишилась крайне ценных сведений. Спрятав в сумочку одну бумажку в пятьдесят фунтов и шесть пятифунтовых, она распрощалась с длиннопосым клерком, который пылко потряс ей руку и заверил, что фирма Блэкбин, Карп и Рэнсом всегда к ее услугам. Затем, ликующая, как птица, она устремилась на улицу и замедлила шаг только, когда у нее от быстрого бега перехватило дыхание. Тут она поравнялась с витриной машинописного бюро. Весело вприхнув в приемную, она положила листок бумаги перед прекрасной Гебой, спдевшей за машинкой.

— Я бы хотела напечатать это, если можно, — сказала Лалли.

Красавица машинистка прочла текст и уставилась на наследницу.

— Адреса никакого не нужно, — сказала Лалли, — возьмите, пожалуйста, обычный чистый лист.

Через несколько минут она получила аккуратно напечатанный текст в конверте и, расплатившись, поспешила в районное рассылное бюро. Там она измененным почерком написала на конверте «Ф. Стирку Рептону, эсквайру» и их адрес в Холборне. И еще раз прочла напечатанное письмо:

«Уважаемый сэр,

Как и многие другие, я искренне восхищаюсь Вашим литературным даром и потому прошу приять это

материальное выражение признательности от постоянного читателя Ваших статей, который по чисто личным причинам предпочитает остаться неизвестным.

Искренне Ваш

Благожелатель».

Приложив к письму пятьдесят фунтов, Лалли тщательно сложила обе бумажки и заклеила конверт. Потом служащий передал его мальчику в форме, и тот ушел, беззаботно насвистывая, что несколько беспокоило Лалли — уж больно он казался маленьким и легкомысленным, чтобы доверять ему такие деньги. Потом Лалли вышла из рассыльного бюро, разменяла одну из пятифунтовых бумажек и позавтракала за полкроны — целых полкроны, но завтрак стоил того. Ах, как чудесен, как заманчив Лондон! А ведь еще два дня, и она бы уехала, но теперь ей нужно сразу написать знакомым в Глазго, что она передумала и устроилась в Лондоне. Ах, как чудесно, как изумительно! Вечером он поведет ее обедать в какой-нибудь дорогой ресторан, а потом они пойдут в театр. Она не очень-то стремилась выходить замуж за Фила, им было хорошо и без этого, но уж если ему так хочется, что ж, она не будет особенно возражать. Они уедут за город на целую неделю. Чего не делают деньги! Удивительно! И, оглядевшись, она ощутила уверенность в том, что ни у одной из спящих в ресторане женщин, как бы хорошо они ни были одеты, не найдется в сумочке тридцати фунтов.

По дороге домой она поняла, что ее сияющий вид выдаст ее с головой; ей надо быть очень серьезной, сосредоточенной и держаться как обычно, иначе он обо всем догадается. И хотя по длинной лестнице Лалли поднималась пританцовывая, в комнату она вошла очень спокойно, но когда увидела, что Рептон стоит, глядя в окно, понурившись, как усталая лошадь, она не выдержала и с криком «милый!» бросилась обнимать его.

— Ну, здравствуй, здравствуй! — улыбнулся он.

— Фил, милый, как я люблю тебя!

— А сама меня покидаешь.

— Нет! — лукаво воскликнула она. — Я тебя не покину.

— Прекрасно, — пожал плечами Рептон, но, кажется, повеселел. Правда он ни словом не обмолвился про пятьдесят фунтов; может быть, их еще не доставили, а может быть, он хотел сделать ей сюрприз.

— Пойдем погуляем, сегодня такой чудный день, — предложила Лалли.

— Да нет, — он зевнул и потянулся. — Ведь, пожалуй, уже и чай пить пора, правда?

— А разве... — Лалли чуть не предложила пойти куда-нибудь в ресторан, но вовремя спохватилась. — Да, пожалуй. Да, да, пора.

И они остались пить чай дома. А едва успели встать из-за стола, как Рептон заявил, что ему надо уйти по делу. И ушел, оставив Лалли в тревоге и беспокойстве. Почему он молчит про пятьдесят фунтов? Не может же быть, чтобы их куда-нибудь занесли по ошибке? Это подозрение, закравшись ей в душу, быстро превратилось в уверенность, и Лалли преисполнилась трагической убежденности, что это она сама перепутала адрес. Она уже несколько не сомневалась, что написала не дом номер семнадцать, а дом семьдесят один, ей казалось даже, что вместо Лондона она поставила Глазго. И, хотя это было дико и невозможно, но — какой ужас! — их пятьдесят фунтов достались кому-то другому. Лалли тут же вечером сбегала в рассылное бюро, но страха ее все равно не рассеялись, поскольку выяснилось, что шустрый постреленок, которому доверили письмо, уже ушел домой и до завтра узнать ничего нельзя. Теперь она была убеждена, что это он все напутал. Ведь он так легкомысленно отнесся к ее важному письму! Лалли и раньше никогда не доверяла, а впредь и подавно не станет доверять мальчишкам, которые так лихо сдвигают шанку набекрень, злоупотребляют помадой для волос и так пазойливо свистят, чтоб только досадить вам. У нее чесался язык спросить, где живет посыльный, но, несмотря на отчаянное желание узнать это, она не посмела наводить справки. Она боялась, что это поставит ее в такое положение... В какое — она не могла бы сказать, но смутно чувствовала что-то нехорошее; нет, нельзя терять голову, надо сдерживать себя, не поддаваться даже любопытству.

Поспешно вернувшись домой, хотя спешить было не в ее привычках, да и не было причины, она написала

знакомым в Глазго, по потом ей пришло в голову, что не стоит отправлять письмо сегодня: лучше дождаться утра и узнать, что этот маленький пегодьяй сделал с ее деньгамп. Она чувствовала, что постель вряд ли спасет ее от тяжелых мыслей, но все же решила лечь, а когда Фил вернулся домой, она еще не спала. Раздеваясь, он рассказал, что был на какой-то лекции об уменьшении населения в аграрных районах, однако, даже вытянувшись рядом с ней, он не заговорил о пятидесяти фунтах. Но надо было сдерживаться, нельзя поддаваться даже любопытству, и она взяла себя в руки и в конце концов заснула беспокойным сном.

Утром за завтраком он спросил, что она собирается делать днем.

— Знаешь, — ответила Лалли, не задумываясь, — у меня пропасть дел, придется побегать. Прости меня, Фил, что овсяпка сегодня такая ужасная.

— Ужасная? — переспросил он ее. — Да она вкуснее, чем всегда! А куда ты собиращься? Я думал — сегодня наш последний день, ты ведь помпшь? Мы могли бы пойти куда-нибудь вместе.

— Фил, милый, — она ласково протянула ему руку через стол, и он погладил ее, — по у меня столько дел. Зато я вернусь пораньше, ладно? — Она быстро обошла стол и обняла его.

— Ну хорошо, — сказал он. — Не задерживайся.

И Лалли, счастливая, как птичка, отправилась в рассылное бюро, по чем ближе подходила она к нему, тем сильнее одолевали ее вчерашние страхи. Там уже сидел тот самый нахальный парнишка, он коротко и независимо приветствовал ее: «Здрате!». Лалли сразу принялась допрашивать его, и, когда он с торжеством вытащил книгу доставки, у нее руки и ноги отнялись от страха, который она всячески старалась подавить, от страха, который заслонил собой все. С минуты она не решалась заглянуть в книгу — судьба ее висела на волоске, и пока еще можно было уверять себя, что это неправда, что это ложь. Но вот на странице черным по белому значится письмо, которое надлежало доставить, и рядом хорошо знакомая подпись «Ф. Стиг Рептон». Сомнений не осталось, она чувствовала только сверлящую мучительную боль, словно ее пронзили кинжалом, холодным как лед.

— Ах так, спасибо, — спокойно сказала Лалли. — Ты сам вручил ему письмо?

— Да, мадам, — ответил мальчишка и описал наружность Филлипа.

— Он вскрыл его?

— Да, мадам.

— И не велел ждать ответа?

— Нет, мадам.

— Хорошо. — И добавила, порывшись в сумочке: — По-моему, ты заслужил шесть пенсов.

Снова выйдя на улицу, она судорожно усмехнулась: «Так вот он, значит, какой! Жестокый и подлый!» Решил дожидаться, чтобы она уехала, а деньги потихоньку оставить себе. Какая низость! «Жестокый и подлый! Жестокый и подлый! — твердила она про себя. — Жестокый и подлый! — это облегчало боль в груди. — Жестокый и подлый!» И сидит сейчас дома, поджидает ее с улыбочкой, чтобы вместе провести их последний день. И этот день действительно станет последним. Она разорвала письмо в Глазго, теперь уж она просто должна поехать туда. Такой жестокий и подлый! Ну и пусть себе ждет. Рядом с ней остановился автобус, она вошла в него, поднялась наверх и уселась, подставив ветру разгоряченное лицо. Автобус шел в Плейстоу, путь был дальний. Она не знала, что это за Плейстоу, и знать не хотела, но ей было все равно, куда ехать, лишь бы подальше, куда-нибудь подальше от Холборна и от Филлипа, и лишь бы не дать волю слезам, которые уже застлали ей глаза.

От Плейстоу она повернула назад и дошла пешком до Майл-энд-роуд. Всюду, где бы она ни проходила, навстречу ей попадались священники, целые группы священников. Видно, какая-то конференция, что-нибудь благотворительное, подумала Лалли. Она смотрела на них с неосознанным желанием поделиться своим горем, ей стало бы легче. Но некому было поведать беду, и разочарованная Лалли, поравнявшись с опрятным ресторанчиком, вошла внутрь и заказала себе рыбу. За соседним столиком завтракали три елейных священника, лысых и розовых; они были лысые, любезные, предупредительные и очень походили друг на друга.

— Вчера я встретил Картера, — донеслось до нее.

Лалли любила прислушиваться к разговорам незнакомых людей, и ее давно интересовало, о чем могут говорить между собой священники.

— Да что вы! Картера? Славный он малый. Ну, как его дела?

— Представьте, Картер обожает проповедь! — воскликнул третий.

— Это да, проповедовать он любит.

— Да, да, ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!

— И, между прочим, отлично это делает.

— Да, отлично.

— И отлично поет куплеты к тому же.

— Да?

— Да!

Перед каждым стакан с водой, отламывают хлеб, наступает молчание — вероятно, читают молитву.

— Давно он женат?

— Двенадцать лет, — ответил тот, что встретил Картера.

— Ах, двенадцать?

— Да ведь и я женат всего двенадцать лет, — заметил старший из них.

— Вот как?

— Да, я долго мешкал.

— Ха-ха-ха! Верно, долго.

— Ха-ха-ха, гм...

— Скажите, гм... а у вас семья есть?

— Нет.

Очень они были аккуратны и щепетильны со своей едой, очень щепетильны!

— Я расположился в превосходном старинном доме, — продолжал тот, что был недолго женат. — Первоначально построен в тысяча семисотом году. Потом сгорел. Вновь выстроен в тысяча семьсот восемьдесят четвертом.

— Подумайте!

— Да!

— Семнадцать спален, и два великолепных тепписных корта.

— Неплохо! — воскликнули остальные и со сдержанным удовольствием припились уничтожать бледное бламанже.

Выйдя из ресторана, девушка побрела по улице, очутилась возле кино, и там, в зыбкой темноте, устроившись в удобном кресле, Лалли пригрелась, и мучившая ее боль немного притупилась.

Повинуясь велению своих напряженных нервов, она почти весь вечер пробродила в этой части города. Она знала, что, если уйдет отсюда, ей надо будет вернуться домой, а домой ей не хотелось. Керосиновые лампы на прилавках ларьков Майл-энда ярко горели и отвлекали от мыслей, а вечерняя суета в торговых кварталах была приятна, если не обращать внимания на запахи. Какой-то человек лепил конфеты из мягких жгутов горячей патоки, сражаясь с ними, как борец с удавом. Рядом теснились лотки со скобяным товаром, с фруктами и рыбой, с горшками и кастрюлями, с кожей, веревками, гвоздями. Тут же так и сыпал анекдотами матрос, продавая грозди зеленого винограда; он доставал их из бочек с пробковой крошкой и клялся, что ставил их у королевы Гонолumu. Стоявшие вокруг шумно приветствовали и виноград и анекдоты.

Здесь можно было купить номера старых иллюстрированных газет и журналов — четыре номера на пенни, а немного прищлатив, рулоны линолеума, и использовать одно вместо другого.

— Три пенса за фут, мадам! — выкрикивал разносчик, обливаясь потом и входя в раж. — Кому циновки? Пряли и ткали из афдалузского джута тройной прочности, дважды пропитаны каучуком с острова Пагама, разрисованы художником, отравившим кухарку своего дедушки. Да такую циновку, мадам, сам господь бог, попадись она ему под руку, не побрезговал бы постелить у себя в передней. Всего три пенса фут, за такую-то вещь! Мадам, я сроду не был нахалом.

Лалли наблюдала, смотрела во все глаза и слушала, а временами смотрела и не видела, слушала и не слышала. Ее постигло не просто разочарование в любви, не только это одно причиняло ей боль; крушение идеала, ставшего предметом ее любви, вот что было мучительнее всего, предательство жестокое и подлое. Ночное небо, такое спокойное, усеянное звездами, казалось ей сквозь слезы, дрожавшие в глазах, мрачным и нахмуренным; печаль ее, словно грозовая туча, заслонила свет луны.

Одпоко и бесцельно проблуждала она по улицам весь день, их последний день, а возвращаясь поздно вечером в Холборн, вдруг заторопилась — в ее отчаянии внезапно забрезжила надежда. А что, если, верный своим прищудам, он просто решил приберечь «признание» на последний день или даже на последний час (ведь он считает, что ей ничего не известно!), и вот, когда все ее надежды рухнут, когда они поцелуют друг друга на прощание, он обнимет ее, со смехом развост ее горести и в доказательство взмахнет, как победным флагом, маленькой пятидесятифунтовой бумажкой. Ведь, может быть, именно потому он и звал ее сегодня пойти куда-нибудь, ну конечно же, так оно и есть. Ах, какая она глупая, слепая и подозрительная! И, не помня себя от обаявшей ее радости, она бросилась домой, чтобы он скорее мог преподнести ей свой сюрприз.

Снизу, с улицы, она увидела, что их окно освещено. С трудом двигая отяжелевшими ногами, она поднялась по лестнице и открыла дверь. Фил встал и как-то странно посмотрел на нее. Она заулыбалась беспомощно и чуть ли не виновато. Ни слова не говоря, он подошел к ней и сжал ее в объятиях, ее пылкий, скрытный возлюбленный, он любил ее, и его любовь передавалась ей. Она прижалась к его груди в тесном объятии, и несчастье, обрушившееся на них, отступило, ее сомнения улетучились, смертельная обида исчезла и была похоронена на дне затопившего ее блаженства. Она ощущала только умпротворяющую радость от того, что она снова с ним, от его страстных поцелуев, щекочущих нежный пушок над ее верхней губой, который ее сердил, а его умилял. В ушах ее звучали нежные, бессвязные любовные слова, которые она так любила слышать от него, а потом он вдруг подхватил ее, поднял, выключил свет и понес на кровать.

Жизнь, родившаяся от любви, живет любовью; если отнять у нас этот хлеб насущный, чем утолим мы свой голод? Может померкнуть Млечный Путь, могут капнуть вниз, в бездонную блуждающую пустоту, звезды, их не удержать руками, не сохранить их в душе.

Как это Фил назвал ее однажды? Недотепа! Ведь в конце концов пятьдесят фунтов — это его деньги, она сама отдала их ему, и он волен поступать с ними, как

он считает пужным. Подарок есть подарок, и нехорошо посылать кому-нибудь деньги, втайне надеясь, что они снова к тебе вернутся. Завтра она уедет, это решено.

На следующее утро он рано разбудил ее и поцеловал.

— Когда уходит твой поезд?

— Ах, да поезд! — Лалли высвободилась из его рук и соскользнула с кровати.

Чудесный день, спяющий день! Какой бодрящий прозрачный воздух! Она быстро оделась и вышла в другую комнату приготовить завтрак. Вскоре и он пришел к ней, и они послали молча; правда, всякий раз, когда она приближалась к нему, он нежно касался ее. Потом она вернулась в спальню и упаковала чемодан; больше ждать было нечего, Филип был безнадежен. Ни одна женщина не станет дожидаться, когда ее принесут в жертву, тем более женщина, которая сознательно и смело жертвует собой сама. Собравшись, она внесла чемодан в гостиную; он потянулся за шляпой и пальто.

— Нет, — тихо проговорила Лалли, — ты со мной не пойдешь.

— Глупости, дорогая, — возразил он.

— Я не хочу, чтобы ты провожал меня! — крикнула Лалли так резко, что это произвело на него впечатление.

— Но не можешь же ты сама тащить этот чемодан на вокзал.

— Я возьму такси. — Она застегнула перчатки.

— Детка! — Его снисходительные увещевания выводили ее из себя.

— Ну ладно! — Уже в перчатках, она обняла его и холодно поцеловала. — До свидания! Пппи почаще. Ведь я должна знать, как ты преуспеваешь, правда, Фил? И... — голос ее дрогнул, — люби меня всегда.

Почему-то она не могла оторвать взгляда от ямочек на его щеках; в каждой из них гнездились волоски, до которых никак не удавалось добраться бритвой.

— Лалли, дорогая моя, любимая! Я никогда не любил тебя сильнее, чем сейчас, чем в эту минуту. Сейчас ты мне дорога, как никогда.

Вот тут-то — она понимала это — наступила подходящая минута признаться во всем и с горькой прощайней

Одипоко и бесцельно проблуждала она по улицам весь день, их последний день, а возвращаясь поздно вечером в Холборн, вдруг заторопилась — в ее отчаянии внезапно забрезжила надежда. А что, если, верный своим прищудам, он просто решил приберечь «признание» на последний день или даже на последний час (ведь он считает, что ей ничего не известно!), и вот, когда все ее надежды рухнут, когда они поцелуют друг друга на прощание, он обвинит ее, со смехом разведет ее горести и в доказательство взмахнет, как победным флагом, маленькой пятидесятифунтовой бумажкой. Ведь, может быть, именно потому он и звал ее сегодня пойти куда-нибудь, ну конечно же, так оно и есть. Ах, какая она глупая, слепая и подозрительная! И, не помня себя от обуявшей ее радости, она бросилась домой, чтобы он скорее мог преподнести ей свой сюрприз.

Снизу, с улицы, она увидела, что их окно освещено. С трудом двигая отяжелевшими ногами, она поднялась по лестнице и открыла дверь. Фил встал и как-то странно посмотрел на нее. Она заулыбалась беспомощно и чуть ли не виновато. Ни слова не говоря, он подошел к ней и сжал ее в объятиях, ее пылкий, скрытый возлюбленный, он любил ее, и его любовь передавалась ей. Она прижалась к его груди в тесном объятии, и несчастье, обрушившееся на них, отступило, ее сомнения улетучились, смертельная обида исчезла и была похоронена на дне затопившего ее блаженства. Она ощущала только умпротворяющую радость от того, что она снова с ним, от его страстных поцелуев, щекочущих нежный пушок над ее верхней губой, который ее сердил, а его умилял. В ушах ее звучали нежные, бессвязные любовные слова, которые она так любила слышать от него, а потом он вдруг подхватил ее, поднял, выключил свет и пошел на кровать.

Жизнь, родившаяся от любви, живет любовью; если отнять у нас этот хлеб насущный, чем утолим мы свой голод? Может померкнуть Млечный Путь, могут капнуть вниз, в бездонную блуждающую пустоту, звезды, их не удержать руками, не сохранить их в душе.

Как это Фил назвал ее однажды? Недотепа! Ведь в конце концов пятьдесят фунтов — это его деньги, она сама отдала их ему, и он волен поступать с ними, как

он считает пужным. Подарок есть подарок, и нехорошо посылать кому-нибудь деньги, втайне надеясь, что они снова к тебе вернутся. Завтра она уедет, это решено.

На следующее утро он рано разбудил ее и поцеловал.

— Когда уходит твой поезд?

— Ах, да поезд! — Лалли высвободилась из его рук и соскользнула с кровати.

Чудесный день, спящий день! Какой бодрящий прозрачный воздух! Она быстро оделась и вышла в другую комнату приготовить завтрак. Вскоре и он пришел к ней, и они послали молча; правда, всякий раз, когда она приближалась к нему, он нежно касался ее. Потом она вернулась в спальню и упаковала чемодан; больше ждать было нечего, Флинн был безнадежен. Ни одна женщина не станет дожидаться, когда ее принесут в жертву, тем более женщина, которая сознательно и смело жертвует собой сама. Собравшись, она внесла чемодан в гостиную; он потянулся за шляпой и пальто.

— Нет, — тихо проговорила Лалли, — ты со мной не пойдешь.

— Глупости, дорогая, — возразил он.

— Я не хочу, чтобы ты провожал меня! — крикнула Лалли так резко, что это произвело на него впечатленье.

— Но не можешь же ты сама тащить этот чемодан на вокзал.

— Я возьму такси. — Она застегнула перчатки.

— Детка! — Его снисходительные увещевания выводили ее из себя.

— Ну ладно! — Уже в перчатках, она обняла его и холодно поцеловала. — До свидания! Пппи почаще. Ведь я должна знать, как ты преуспеваешь, правда, Фил? И... — голос ее дрогнул, — люби меня всегда.

Почему-то она не могла оторвать взгляда от ямочек на его щеках; в каждой из них гнездились волоски, до которых никак не удавалось добраться бритвой.

— Лалли, дорогая моя, любимая! Я никогда не любил тебя сильнее, чем сейчас, чем в эту минуту. Сейчас ты мне дорога, как никогда.

Вот тут-то — она поняла это — наступила подходящая минута признаться во всем и с горькой провней

изобличить его, но у нее не хватило духу, и момент был упущен. Она не могла так жестоко унижить его, рассказав, что знает о его вероломстве. Боги снисходительно улыбаются нашим маленьким грешкам. Она знала о его предательстве, но, разоблачив его, она унижила бы собственную гордость. Нет уж, пусть так до конца и сохраняет свой благопристойно-скорбный вид, хотя все это одно притворство. Лучше расстаться с ним сейчас, лучше оставить его таким, а не жалким, раздавленным ничтожеством, хотя, по сути дела, он такой и есть. И на какую-то долю секунды в голове ее промелькнуло странное сравнение: она вспомнила словцов, которых как-то видела, — они раскачивались величественно, словно волны прилива, а сами шарили хоботом в поисках земляных орехов.

Лалли одна сбежала по лестнице. В конце улицы она обернулась в последний раз. Высоко наверху у открытого окна стоял Фил и махал ей рукой на прощание. И она помахала ему в ответ,

УВЫ, БЕДНЯГА БОЛЛИНГТОН!



выбежал из гостиницы в чем был и оставил там жену. Я не вернулся. Никогда я не предполагал, что смогу осуществить свое намерение не раздумывая, так бесповоротно и так трусливо; нет, никогда и не думал я, что это возможно, но уж так случилось. Я бросил ее, бросил свою жену, и сделал это с заранее обдуманном намерением. Это было бессердечно, это было низко; а ведь была она милой женщиной, очаровательной женщиной, значительно моложе меня, блестящей женщиной, и действительно, она была красива; как бы то ни было, но я от нее сбежал. Можете вы объяснить это, Тернер?

Бедняга Боллингтон уставился на Тернера, а тот уставился на свой стакан виски, для него поистине неотразимый, и отпил немного. Боллингтон медленно цедил молоко из своего стакана.

Нередко я ловил себя на том, что, глядя на Боллингтона, видел всего-навсего такого маленького старичка. И большинство членов нашего клуба, по-видимому, воспринимало его так же; на самом же деле ему не было и пятидесяти, но, не обладая тем, что теперь принято называть пробивной сплой, не бросаясь в глаза ни внешностью, ни ростом, ни даже шевелюрой, достойной упоминания (а если бы она имелась в наличии, то, без сомнения, оказалась бы рыжей), такой кроткий и скромный, он не выделялся решительно ничем — просто мужчина в очках, которые как будто были ему велики. Тернер отличался от него и ростом и дородностью, хотя был столь же плешив; даже его лепсне, казалось, превосходило размерами вдвое очки Боллингтона. Приятели не виделись добрый десяток лет.

— Н-да-а, — протянул Тернер, — серьезная штука!

— Еще бы, — отозвался его собеседник. — Но я и понять не мог, как гнусно ее оскорбил. По крайней мере в то время. А ведь она и умереть могла, бедная девочка, и ее поверенным пришлось бы разыскивать меня

при помощи объявлений в газетах. У нее было состояние, знаете ли, родители ее держали трактир, люди не бедные... Ужасно!

Боллингтон так долго размышлял о своем прегрешении, что Тернер наконец цзрек:

— Что поделаешь, старина!

— Но вы и представить себе не можете, как она завладела мною — совершенно, всецело! — заявил Боллингтон. — Ей было двадцать пять, а мне уже сорок, когда мы поженились. Я был от нее прямо-таки без ума! Всю свою жизнь прожила она в отвратительной дыре — в Балеме, можно только удивляться тому, в какой строгости люди такого рода воспитывают своих детей; родители ее содержали трактир — говорил я вам? Ну так вот, значит, было мне сорок, а ей двадцать пять; целый год мы только и делали, что переезжали из одного отеля в другой — объездили все Британские острова; она страстно любила путешествовать... Скажите, Тернер, а вы женаты?

Нет, Тернер не женат, никогда и не думал жениться.

— А следовало бы! — воскликнул коротышка Боллингтон. — Ведь самое необычайное, самое удивительное и стоящее дело в мире — это брак, именно брак. Я был безумно счастлив; она изучала языки — французский и шведский, в этих странах мы собирались побывать позднее. Она была очаровательная маленькая женщина, белокурая, с голубыми глазами; звали ее Фибл.

Тернер задумчиво почесал свою лысину, потом скрестил руки на груди.

— Нет, в самом деле, вам следовало бы жениться, в самом деле... — повторил Боллингтон и продолжал: — Помню, приехали мы из Килларни в Белфаст; тут-то и произошла эта ужасная история. Не знаю почему, возможно, все это в ней накапливалось постепенно, но тут она стала прямо-таки дожимать меня: у нее появилась странная фантазия, будто я изменяю ей. Сама она пользовалась успехом всюду, где бы ни появлялась, — веселая, всегда оживленная маленькая женщина. Право, можно было подумать, что это была не просто женщина, за которой увивались мужчины, а какой-то магнит. И мужчины притягивались к ней, словно гвозди, булавки и канцелярские скрепки. Я но возражал, напротив. «Развлекайся, — говорил я ей, —

мне вовсе не хочется, чтобы ты вечно цеплялась за такого старого чудака, как твой супруг». Конечно, в глубине души я вовсе не считал себя чудачком, тем более старым, но выражение это в применении к себе самому я тогда и употребил — это была линия поведения, которую я избрал по отношению к ней, молодой и прекрасной — такой она и бывала, пока не находил на ее дурной стих. И, поверьте мне, именно это и вызывало у нее бешеный гнев. Нет, нет, не слово «чудак», а мысль, что я никогда не возражал против того, чтобы она флиртowała. Роковым образом это проливало свет на ее подозрения, Тернер, ужасающие подозрения! А я-то был певунец, как агнец. А уж язычок был у нее — не приведи бог! Если вы отваживались не соглашаться с ней, а подчас согласиться было никак пельзя, она прямо-таки лупила вас дубинкой — и делать печегю, приходилось оставаться битым. Притом у нее была настоящая страсть оправдывать меня в своих собственных глазах, а я при этом всегда чувствовал себя глубоко виноватым. Она не успокаивалась до тех пор, пока не доказывала свое, и это было так чудовищно — сознавать, что ты не такой, как другие, а потому просто-напросто наглый шут... Наконец до меня дошло, что в браке, взамен всех его радостей, мне достаются одни сныжки да шишки. И вот тут-то, в Белфасте, мы встретили даму, которой я и в самом деле стал оказывать кое-какие знаки внимания.

— О, великий боже! — тяжело вздохнул Тернер.

— Нет, вы только послушайте, — попросил Боллингтон. — Это была вполне невинная дружба, ничего больше я и не имел в виду, и особа эта весьма напоминала мою жену, очень напоминала, что бросалось в глаза всем и каждому; об этом поговаривали, то есть я хочу сказать — об их сходстве. То была некая миссис Макартн, прелестная женщина, однако Фиби просто не переносила ее. Признаюсь, обвинения моей жены были так преднамеренны и так упорны, что под конец у меня уже не было сил опровергать их и по временам хотелось, чтобы в этих обвинениях была хоть крупинка истины. Ведь любовь — это нечто вроде идолопоклонства, но постоянным жертвоприношением она все же быть не может: ведь птицы феникса на самом деле нет — а, Тернер?

— Что, что?

— Я говорю, что нет птицы феникса, но существует ее.

— Верно, чего нет, того нет.

— И наконец я дошел до того, что совершенно серьезно стал задавать себе вопрос: уж не стою ли я и на самом деле на грани этой измены? Глупость, конечно, но уверяю вас, именно так повлияла на меня вся эта история. У меня появились сомнения в себе самом — ужасающие сомнения. И как-то раз, когда мы были у себя в комнате, случилось то, что должно было случиться рано или поздно: мы совсем рассорились. О боже мой, что это была за ссора! Она говорила, что я лукавый, двуличный, неверный негодяй, и тому подобное. Крайне несправедливо с начала и до конца. Она обвиняла меня в разных мерзостях, которые я будто бы совершал вкупе с этой самой миссис Макарти, и вопила: «Надеюсь, ты будешь лучше обращаться с ней, чем со мной!». Как вы думаете, Тернер, что она имела в виду?

Боллингтон уставился на своего приятеля с таким видом, будто ждал от него по меньшей мере пророчества, но только Тернер собрался ответить, как Боллингтон продолжал:

— Я никогда не смог это выяснить, никогда не пришлось мне ничего узнать, потому что тут произошло нечто страшное. «Я выйду, — сказал я, — думаю, так будет лучше». Только это, ничего более. Я надел шляпу и уже взялся за дверную ручку, когда она завопила в полном неистовстве: «Убирайся вон со своей Макарти, не желаю больше видеть твою мерзкую рожу — никогда, слышишь?». Это было уж чересчур, знаете ли, Тернер. Ну так вот, я ушел, и не буду отрицать — я был в ужасающей ярости. Лил дождь, но мне было все равно, и я бродил по улицам. Позже я укрылся под навесом книжного магазина, прямо напротив лавочки, где продавались теннисные ракетки и табак; рядом уютлась еще одна — в витрине были выставлены алые гвоздики и персики в гнездышках из шерстяной ваты разных цветов. Дождь хлынул с такой силой, что улицы почти опустели и прохожие казались злобеще-молчаливыми под своими зонтиками; их башмаки тупо шлепали по лужам, и, скажу вам, я был бесконечно

печален, Тернер. Я уж подумывал перейти улицу, купить несколько гвоздик и персиков и отнести их Фибби. Но я не сделал этого, Тернер, я так и не вернулся к ней, нет, не вернулся.

— Но как же так, Боллингтон!.. Вы поступили как сущий мерзавец, Боллингтон!

— О да, скандал, да и только, — подтвердил «сущий мерзавец».

— Ну ладно, оставим это. Но что было потом с этой миссис Макарти?

— С миссис Макарти? Но, Тернер, я ни разу не видел ее с тех пор, ни разу, я... я забыл о ней... Да, так вот, я бродил по улицам, пока не обнаружил, что нахожусь в районе доков и что внезапно совсем стемнело; не знаю, право, это был еще не вечер, но и не сумерки — день как будто замер на время, да так и не обрел себя. Там, на дороге, сотни механических катков скользили, пытели и выпускали пары — да что там, казалось, их было тысячи; в гавани мерцали фонари, вагонетки и кэбы громыхали вокруг катков, уныло сеялся дождь, и все куда-то спешило. В доке я увидел пароход, стоявший под погрузкой; он носил имя «Забавный», и знаете, какой забавный груз опускали в трюм? Целые тошпы чудовищно толстых цепей со звеньями не меньше глубокой тарелки, а также дватри мебельных фургона. Но уж во всяком случае, для меня ничего забавного тут не было, я испытывал отчаяние, тревогу и сам господь ведает, что еще. Я не знал, что бы мне хотелось сделать, у меня не было никаких намерений, и вдруг я каким-то непостижимым образом оказался у кассы и купил билет до Ливерпуля на это самое судно; короче говоря, я сел на пароход. Я был столь же несчастен, сколь исполнен решимости. На борту царил мерзость запустения, и когда наконец мы отчалили, пена за кормой вздулась такими отвратительными пузырями, как будто этот пакостный пароходик вытошнило и он старается убежать как можно дальше от своего столь неприглядного шлейфа. Ранним утром прибыл я в Ливерпуль, но там не осталось — это такой шумный город, кругом трамваи, троллейбусы и чайные лавчонки. Я просидел на вокзале битый час — несчастный, одинокий, самый несчастный человек на свете. Мне хотелось отдохнуть хоть немного,

хотелось мира, душевного покоя, но вокруг стоял нескончаемый скрежет и грохот сцепляемых товарных платформ, и этот грохот довел меня до того, что я чуть было не заорал на носильщика. На некоторых платформах было написано слово «Крифф» — я помню это, и все вокруг, казалось, твердило: крифф, крифф, крифф. Я и по сей день не знаю, что означает это слово, было ли то название станции, или торговой компании, или фабрики, но я запомнил его на всю жизнь. Ну вот, я устремился в Лондон и привел в порядок свои дела. Днем или двумя позже я отправился в Саутгемптон, где вступил на борт уже другого судна, которое вышло в море, а вернее, было выведено из дока маленьким, как крыса, буксиром, как будто состоявшим лишь из трубы да гудка. Так я оказался в Америке, где прожил почти четыре года.

Тернер вздохнул. Офицант принес ему очередной стакан виски.

— А вот я так считаю, Боллингтон, — сказал он. — Все, что вы натворили, было просто-напросто вызвано вспышкой раздражения и крайней мнительностью. Я вам, конечно, не судья, но и на самом деле, вы были чересчур обидчивы. И что же сказала по этому поводу ваша жена?

— Но ведь я не поддерживал с ней связи и никогда ничего о ней не слышал — я просто исчез. А все моя «мерзкая рожа», знаете ли, Фиби не желала меня больше видеть.

— Ну и ну, Боллингтон! А эта дама, миссис Маккарти? Что же она?

— Миссис Маккарти! Но я никогда в жизни больше не виделся с нею, да и не слышал о ней ровно ничего. Ведь я говорил вам.

— О да, как же, как же. Итак, значит, вы улизнули в Америку.

— Ах, как я был несчастен все эти долгие годы! В самом деле, подумать только — я бесконечно любил Фиби и страдал от нашей разлуки, я... О, это описать невозможно! Но что было хуже всего, так это позисть моего поведения; ничего героического в нем не было, и вскоре я увидел совершенно ясно, что мое бегство было всего лишь гнусной уловкой, которая могла бы вызвать негодование у каждого; ведь я сбегал и

покинул жену на милость... на чью бы то ни было милость — неважно. Это воздвигло между нами непреодолимую преграду, и теперь я не смог бы предложить ей простить и забыть; вы и представить себе не можете, как это все меня мучило. Я был настоящим мерзавцем, сущим негодяем. Преграда была лишь во мне самом. Со мной было хуже всего... Мне казалось, я смог бы прийти в себя и вновь наслаждаться жизнью, по временам я думал о Фиби как об этакой копейке, милом маленьком котепочке... Ездил я повсюду, делал любую работу. Но Америка — страна огромная, и отношения с людьми у меня там как-то не складывались; я был одинок, о великий боже, как одинок! — и хотя прошло уже два года, я все еще тосковал по Фиби. Что бы я ни делал, за что бы ни брался — все с одной мыслью: только бы Фиби была здесь, рядом со мной. И тут скончался мой двоюродный брат, который жил в Англии, мой единственный родственник. Вряд ли я виделся с ним хотя бы раз в жизни, по все же это был мой ближайший родич. Вы и представить себе не можете, Тернер, что значит потерпеть настоящую тяжелую утрату. Ни единая душа в мире не станет теперь интересоваться моей жизнью, моим благополучием. О Тернер, говорю вам, это было ужасно, ужасно, когда умер мой кузен. Мое одиночество в мире стало полным. Я остался совсем один, человек, так страшно напугавший в своей жизни. Я чувствовал глубокую печаль и раскаяние и, право же, мог бы отдать богу душу — не от болезни, а из отвращения к самому себе.

— Ну и простофиля же вы! — воскликнул его приятель. — Какого же дьявола, в самом деле, вы не поспешили вернуться и заявить жене: «Кто старое помянет, тому глаз вон», — и все тут; но что за идиот, господи спаси мою душу, вот простофиля-то!

— Да, Тернер, вы правы. Но хотя совесть — добрый слуга, хозяйин она плохой: всегда брала надо мной верх, стыдила меня, и я держался за эту Америку еще целый год. Положение мое было невыносимым, я был связан моим несчастьем, как собака цепью, я был как рыба, лишенная воды — даже мутной воды. И у меня не было веры ни в себя, ни в слепой случай; я знал, что виноват, что был виноват всегда, — Фиби давно утердила меня в этой мысли. Не было у меня никакой

веры, а как бы я хотел хоть во что-то верить. Вера сдвигает горы — так говорят, хоть я никогда не слышал, чтобы это когда-нибудь произошло в действительности.

— Нет, история такого не знает, — сообщил Тернер.

— Что вы хотите этим сказать?

— О, всего только то, что время — это ничто: оно ничего не значит, оно приходит, и оно уходит. Задумывались ли вы когда-нибудь, Боллингтон, над тем, что пройдет пять тысяч лет, и ни один человек в мире не будет говорить по-английски и даже само существование наше будет поставлено под сомнение, словно мы какие-то антропофаги. О великий боже! Да, так оно и будет.

И тут еще стакан виски.

— Ну, Боллингтон, знаете, ведь нельзя же быть таким ослом. Во всей этой истории вы вели себя как один из тех недоделанных государственных чиновников, которые питаются в молочной закусочной, довольствуясь чашкой чая да трубочкой с кремом на обед. Вам бы и самому надо побольше мяса да имбирного пива... Но вы вернулись, вы должны были вернуться, раз уж вы здесь в настоящий момент.

— Да, Тернер, вы правы, я вернулся почти через четыре года. Все стало другим, все изменилось, все так неузнаваемо! Я не мог сразу отыскать Фибби — люди исчезают прямо-таки роковым образом. Я наводил справки, но это было все равно, что искать потерянный зонтик, — совершенно бесполезно! Времени-то сколько прошло!

— Ну хорошо, а что же было с этой миссис Маркати?

Мистер Боллингтон ответил медленно и с расстановкой:

— Я никогда больше не встречался с миссис Маркати.

— Ах да, ну конечно же, вы никогда больше не виделись с ней, никогда!

— Никогда. Я боялся, что Фибби уехала за границу, но наконец отыскал ее в Лондоне.

— О господи! — заорал Тернер. — Какого же дьявола вы не сказали этого сразу? С меня, право, семь потов сошло от сочувствия к вам. Ну, скажу я вам, Боллингтон...

— Послушайте, дорогой мой Тернер. Вы знаете, она обрадовалась, увидев меня, даже поцеловала сразу же, и мы пошли обедать, закатили пир горой и великолепно провели время. Она была прелестнее чем когда-либо, и мне казалось, что ее прежнее чувство ко мне вот-вот вернется, она была так... Ну ладно, бывают вещи, о которых не говорят, Тернер, но в ней не чувствовалось ни враждебности, ни обиды, и у нас все началось бы сызнова в тот же самый вечер. О милая, милая... Но потом! Я готов был броситься к ее ногам, но этого не сделаешь в кафе, где полно народу; я только мог, что дотрагиваться до ее рук, прекрасных рук, покоящихся на белой скатерти. Я все время спрашивал: «Ты прощаешь меня?», а она отвечала: «Мне нечего тебе прощать, дорогой, совершенно нечего». Какой возвышенный отзвук вызывали эти слова в моей душе, охватившей искренним раскаянием, — я был готов умереть.

«Но ты все еще не спросил меня, где я была, — воскликнула она весело, — чем занималась, ты, нелюбезный старый Питер! А ведь я побывала во Франции и в Швеции тоже, вот!»

Я был счастлив услышать это — она казалась такой отважной!

«Когда же?» — спросил я.

«Сразу же после того, как ушла от тебя», — ответила она.

«Ты хочешь сказать — когда я ушел?»

«А разве ушел ты?.. Ну да, конечно, так ты и должен был подумать... Ах, бедный Питер, какие грустные дни пришлось тебе пережить!»

Признаюсь, я был немного сбит с толку, но все еще пребывал в восторженных чувствах: посудите сами, Тернер, она опять безнадежно вскружила мне голову; я хотел исповедаться до конца во всех своих мерзостных поступках, исповедаться, чтобы получить отпущение. Я начал так:

«Разве ты не так уж была рада избавиться от меня?».

«Ну, — сказала она, — на первых порах я больше всего боялась, как бы ты не нашел меня и не стал добиваться примирения. Я не хотела этого, или мне казалось, что я не хотела».

«Именно это я и чувствовал! — воскликнул я — Но как бы я тебя нашел?»

«Ну, ты мог бы наводить справки и повсюду ездить за мной по пятам. Но теперь я обещаю — никогда больше я тебя не покину, Питер, дорогой, никогда, никогда!»

Мой бедный разум, Тернер, заметался во все стороны, как подстреленная птица.

«Ты говоришь, Фибби, это ты меня бросила?»

«А разве не так?»

«Но ведь это я ушел от тебя, — сказал я, — ушел из гостиницы; это было в тот ужасный день, когда мы так поссорились, и я не вернулся. Уехал в Америку. Я жил в Америке почти четыре года».

«Значит, ты говоришь, это ты меня бросил?» — вскричала Фибби.

«Конечно, — ответил я, — а разве не так?»

«Но ведь это именно то, что сделала я! Это я выбежала из гостиницы сразу же вслед за тобой и не вернулась туда, это я повсюду ездила с мыслью о том, как гнусно с тобой поступила, и стараясь представить, что ты думаешь обо всем этом и где находишься».

Я только и мог сказать:

«Великий боже, Фибби, я прожил четыре ужасных года — это были годы угрызений совести, печали, годы, полные тщетных усилий, ошибок, совершенно бесплодно прожитые, потерянные».

Она ответила:

«А для меня в конечном счете это были четыре года счастья, которое оказалось призрачным... Как же ты посмел сбежать от меня?! Это возмутительно!».

И в тот же миг, Тернер, она вновь превратилась в разъяренную фурию, и последние слова, которые я от нее услышал, были:

«Не смейте больше показываться мне на глаза, слышите? Никогда, никогда... Это все, конец!».

И вот как теперь обстоят дела. Грустно, не правда ли?

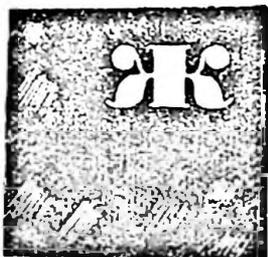
— Грустно! Ну что за болван! Когда это было?

— О, давным-давно, должно быть, около трех лет уже прошло с тех пор.

— Три года! Как это так! Вы должны повидаться с ней!

— Фу! Нет, нет, нет, Тернер. Боже меня упаси, нет, нет, ни в коем случае! — сказал старый коротышка Боллингтон.

ДАТЬ И ВОЗДАНИЕ



или в Брэддле два славных парня; оба работали на прядильной фабрике в Брэддле, ухаживали за одной и той же девушкой — тоже из Брэддла. Девушку звали Пэйшенс¹, была она бедная и хорошенькая. Один из них, Натан Риджент, носил суконные гетры поверх добротных башмаков, парень он был степенный и молчаливый, держался всегда с достоинством. Другой же, Тони Вассалл, был малый веселый и беспечный, по он-то и снискал расположение Пэйшенс и скоро уже носил его в своем сердце, на красном своем лице и даже в жилетном кармане на копчике никелевой цепочки от часов, словом — всюду, где носит знак разделенной любви счастливый избранник. Оценить такую добродетель, как степенность, можно, как известно, только с годами, Тони же сумел тотчас разжечь настоящее нетерпение в нежном сердце Пэйшенс: конечно, может, молчанье и золото, но это такая валюта, на которую в царство ухаживания многого не купишь. Достоинство — не вера, оно не способно сдвинуть с места даже одну гору и трогает сердца разве что управляющих банками да епископов.

Короче говоря, Пэйшенс вышла замуж за Тони Вассалла, и Натан переключил внимание на иные предметы, в том числе на девушку, у которой было хоть и скромное, но кругленькое состояньице, и вскоре женился на нем.

Брэддл — это большой, вытянутый в длину холм, усеянный пылыми приземистыми домишками. На одном из его склонов берет начало речка, которая питает огромную и благодетельную для города фабрику. Не будь фабрики — это знает в Брэддле каждый, потому что каждый житель Брэддла на ней работает, — сердце Брэддла перестало бы биться. Тони по-прежнему работал на фабрике. То же, по-своему, делал и Натан, но

¹ Пэйшенс — по-английски «терпение».

у него была ловкая и честолюбивая жена, и вскоре с помощью ее денег и связей он сделался начальником одного из цехов. А Топп по-прежнему работал на фабрике. Еще через несколько лет степеньность Натана так укрепила его положение, что он стал управляющим всего предприятия. А затем коллега его умер, и он был назначен единоличным директором. Состояние его так выросло, что со временем они с женой приобрели и все дело. А Топп по-прежнему работал на фабрике. У него было теперь двое сыновей и дочь, Нэнси, не говоря уже о жене Пэйшенс, так что и его владения, можно сказать расширились, хотя положение его осталось таким же, как и двадцать лет назад.

У Риджентов, которые жили теперь уже не в самом Брэдли, а за городом, был всего один ребенок — дочь Оливия, ровесница Нэнси. Она была очень красива и к восемнадцати годам уже кончила школу, куда ездила на велосипеде.

А тем временем, как вы знаете, страна вступила в эту злосчастную кампанию, в войну столь изнурительную, что от Брэдли потребовались всевозможные жертвы. Фабрика в Брэдли работала изо всех сил, не останавливаясь ни днем, ни ночью, чтобы дать стране то, что называется двигательной силой войны — деньги. Из-за постоянного переутомления почти все в Брэдли побледнело и исхудало, стали какими-то угрюмыми. Впрочем, не все: что до Риджентов, то их состояние так выросло, что глаза их прямо-таки излучали сияние, они просто не знали, что им делать со своими деньгами, и лица у них не были не бледными, ни угрюмыми.

— В такое время, как теперь, — объявила жена Натана, — мы должны помочь родине всем, чем можем, да, да, всем, чем можем. Дадим родине займы наши деньги.

— Верно, — сказал Натан.

И они отдали родине свои деньги. А родина не оставила эту дань без воздаяния. Состояние их продолжало расти, и они помогали родине все больше и больше, вернули ей и то, что получили от нее в воздаяние, и за это последовало воздаяние еще более щедрое.

— В такое время, как теперь, — сказала родина, — нам пужно больше солдат, еще больше солдат нам пужно.

И Натан стал заседать в рекрутском присутствии — ведь всем было ясно: остановись его фабрика, остановится сердце и самого Брэддла.

— Чем мы можем помочь родине? — спросил Тони Вассалл своего хозяина. — Денег, чтобы дать ей взаймы, у нас нету.

— Нету? — послышалось в ответ. — Зато вы можете отдать своего сына Дэна, он же такой здоровяк.

И Тони отдал родине своего сына Дэна.

— Прощай, сынок, — сказал ему отец. Брат и сестра Нэнси тоже сказали «прощай», а мать поцеловала его.

Дэн был убит в бою; место его на фабрике заняла сестра Нэнси.

А вскоре соседи стали говорить Тони Вассаллу:

— Какой славный да крепкий младший-то сын у вас — Альберт Эдвард.

И Тони отдал родине своего второго сына, Альберта Эдварда.

— Прощай, сынок, — сказал ему отец, сестра поцеловала, а мать разрыдалась у него на груди.

Альберт Эдвард был убит в бою, и место его на фабрике заняла мать.

А войне не было конца; и хотя и та и другая сторона истекали кровью, она, казалось, была сильна, как сама вечность. Пришло время, и Тони Вассалл тоже пошел на фронт и тоже был убит. Родина дала Пэйшенс вдовью пенсию и утешительную возможность выйти замуж вповь, а она умерла с горя. Много народу умираю в ту пору, и смерть ее никого не удивила. Натан же и его супруга так разбогатели, что умерли после войны от ожорства; их дочь Оливия получила огромное наследство и стала во главе правления.

От имени правления она продолжала ссужать родине деньги Брэддла, а родина продолжала выплачивать Оливии крупные суммы в виде процентов (это была дань, которую воздавала ей страна за незабытые и вснстину незабвенные заслуги ее родителей), в то время как Брэддл продолжал трудиться, чтобы представить стране эту возможность. Дело в том, что, когда

война подошла к концу, родина сказала Брэддлу, что все, кто не отдал свои жизни, должны теперь отдать все свои силы и работать по-настоящему, напряженнее, чем до войны, гораздо, гораздо напряженнее, иначе дань не будет выплачена, а значит, и сердце Брэддла перестанет биться. Люди в Брэддле поняли, что это верно, пожалуй даже слишком верно, и они выполнили свой долг.

Дочка Вассаллов Нэнси вышла замуж за человека, который храбро сражался на войне. Он работал на фабрике, как и ее отец; у них было двое сыновей: Дэниел и Альберт Эдвард. Оливия вышла замуж за человека важного, хотя, сказать по правде, с виду в нем ничего особенного не было. У него был маленький острый носик, но он, в сущности, мало что значил для его лица, потому что, когда вы смотрели на него в профиль, пухлые красные щеки совершенно скрывали этот крохотный острый носик, скрывали начисто, как два холма скрывают какой-нибудь приютившийся в долине сарайчик. Оливия жила в обширном особняке с многочисленной прислугой, которая помогала ей в заботах о семье, а и был-то у нее всего один ребенок, девочка по имени Мэрсин, у которой тоже был маленький острый носик и пухлые красные щечки.

Каждый год с тех пор, как уцелевшие вернулись с войны, Оливия давала ужин для своих рабочих и их семей. На такой ужин приглашались сотни людей и часов шесть продолжался пир, игры, музыка и танцы. И каждый год Оливия произносила маленькую речь, напоминая всем об их долге перед Брэддлем и о долге Брэддла перед родиной, хотя, разумеется, и не упоминала о воздаянии, которое получала от родины сама. Впрочем, это было бы, пожалуй, просто неуместно — нескромно и даже неприлично.

— Родина наша переживает тяжелые времена, — провозглашала она из года в год, — ответственность ее огромна, и мы должны трудиться не покладая рук на общее благо.

И каждый год кто-нибудь из рабочих произносил маленькую речь в ответ — благодарил Оливию за ее заботы о том, чтобы сердце Брэддла не перестало биться,

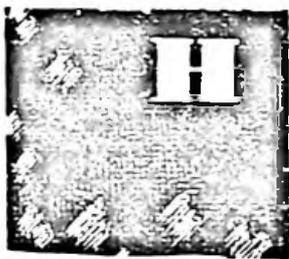
и призывал священное благословение небес и золотое благоволение мира сего на золотую голову Оливии. Как-то раз честь произнести ответное слово выпала мужу Нэнси, и его речь, пожалуй, была более красноречива, чем у других, — еще бы, ведь в этот день двое сыновей впервые стали к прядильным машинам на ее фабрике. И никто не аплодировал громче, чем маленький Дэн и Альберт Эдвард, если не считать, конечно, саму Нэнси. Всегда Оливия чувствовала себя очень растроганной в таких случаях. Ей казалось, что она по-настоящему не знает этих людей да никогда и не узнает их до конца; ей хотелось смотреть и смотреть на них, она готова была делить с ними их повседневную трудовую жизнь. Но так и не сделала этого.

— Как это все прекрасно! — восклицала она, обращаясь к своей дочери Мэрсси, которая обычно сопровождала ее. — Я так счастлива! Все эти милые люди отданы на попечение нам, только нам. Таков промысел господень, понимаешь — самого всевышнего, а мы — его посредники и всегда должны помнить об этом. Так оно и идет из года в год, из года в год. И, разумеется, так оно и будет идти во веки веков; и никогда не перестанет биться сердце Брэддла. Старые умирают, молодые старятся, дети вырастают, женятся и не дают фабрике остановиться. Когда я умру...

— Мама, мама!..

— Ну, это, конечно, когда-нибудь случится! И тогда тебе придется взять на себя все эти заботы, Мэрсси, и ты будешь говорить с ними, как делаю это теперь я. Да, быть владельцем предприятия — дело тяжелое и трудное, и только те, у кого оно есть, знают, как это тяжело и трудно. Оно требует от человека редкостных качеств. Но какое это святое призвание, какая благородная ответственность! И я думаю, мои люди понимают это и любят меня по-настоящему.

ЧЕРТ НА КЛАДБИЩЕ



еспосный был старпкашка этот Генри Тэрли, денег у этаких больше, чем понятия, что с ними делать. Мы прозвали его Кочергой. Ну и чудила же был! Всю жизнь ради денег трудился, да еще как трудился, а старость пришла, так просто трясся над ними, и полшиллинг-то никогда не потратит в свое удовольствие. Ну и чудила!

Кровельщику, который рассказывал все это в трактире «У черного кота», что в Старпкомбе, про Генри Тэрли (давно уже умершего к тому времени), и самому было, пожалуй, за пятьдесят. И годы ли тут сказались, выпито ли было немало или просто уж такая была у него повадка, только был он прям и груб, и притом ядрен, как морепный дуб. Его отличала та грубоватость манер, которая может обидеть разве что глупца, а глупцов среди слушателей его не бывало.

Кочерга — так уж все мы звали его — здорово в скоте понимал, настоящий был дока. Корову свою драил так, как другой и зубы не чистит, и еще не бывало, чтоб та не дала доброго удоя, ежели допть принимался Генри. А когда хорошили его, так в гробу вместе с ним и все его денежки зарыли — так он их в руках и держал, я думаю. Родственников у него была куча — вы их, поди, всех и не знаете, ведь то, про что я рассказываю, случилось лет тридцать назад. Но все было прописано черным по белому, и оттого никто из родни этих денежек и в глаза не увидел. А ведь уйма народу в округе имела право хоть на малую их толлку. Взять хоть Джима Скаррота, да и Иссн Хокера тоже. Или опять же эту горемыку миссис Килсон, а уж про родного брата его, Марка Тэрли, и говорить нечего. По духовной Генри завещал, чтоб все его достояние зарыли в могилу вместе с ним. Бессовестно, скажете? Но так уж есть, так и будет: приведись таким людям хоть шиллинг отдать кому, они скорее псу под

хвост его супут. Эдакая блажь! Шестьдесят фунтов было в жестянке, так он и держал их в руках.

— Ни одному слову я тут не поверю, — сказал человек с одутловатым лицом, сидевший в углу. — Ничего такого Генри Тэрли сделать не мог.

— Что?! — прорычал кровельщик с необычной яростью.

— Конечно, оспаривать ваших слов я не стапу, по сроду он ничего такого не делал.

— Выходит, по-твоему, я брехуп?

— Ну, что вы! О пет, только поймите меня правильно. Ничего подобного Генри Тэрли не делал. Но могу я такому про него поверить.

— Гм! Да я же вам быль рассказываю, а быль, как ни крути, ни верти, она быль и есть. А ты вот перечить мне вздумал, подавай тебе чистую правду — небыль, мол, тебе ни к чему.

— Ладно уж, — сказал человек с одутловатым лицом, пододвигая свою кружку навстречу рассказчику. — К завтраму, может, я и поверю, ну а нынче, сей-час вот, это малость на выдумку смахивает.

— Ну что ж, тогда ладно, — кровельщик совсем успокоился. — Так вот, хуже всего вышло с братом его, Марком. Обошелся он с ним уж и вовсе бессовестно, словно с собачонкой паршивой. (Ваше здоровье!) Да, ровпо с собачонкой. Марк — тот постарше брата, было ему уже под семьдесят, а жил он один в домшке, что за Большим Прыщом. Лачугу эту и домом-то не назовешь — прутья, да глина, да крыша соломенная, а срок пайму кончался (ну, да это дело житейское). Вот и надобно было Марку либо выкупить домшко за пятьдесят фунтов, либо выметаться из него подобру-поздорову. Но шутка ли пятьдесят фунтов, где их взять? Старика ревматизма, можно сказать, загрызла, работой в лесу он еще кое-как перебивался, но спрашивать у Марка этакие деньжищи было все одно, что просить у него короны королевской.

Ну вот, и пошел старик к своему хозяину: ссуди, мол, пятьдесят фунтов.

«Нет, не могу», — говорит тот.

«Можно б из жалованья их вычесть», — говорит Марк.

«И этого не могу, — говорит хозяин. — Да ведь

у тебя же брат есть — Генри. Денег у него куры не клюют. Попроси у него».

Ну вот, и попросил Марк у брата займа пятьдесят фунтов, чтобы домишко тот выкупить.

«Нет, — говорит Генри, — не могу».

Так и не дал ему денег. Тут, значит, старый Марк и скажи ему: «Не хочу, говорит, зла тебе, Генри, только думаю — помереть тебе в канаве». (Ваше здоровье!) И что вы скажете! Впрямь ведь помер оп вскорости, братец-то его родной. Хватило солнцем, и помер, не где-нибудь, а в канаве. Ну, а как помер Генри, стали его хоронить и зарыли вместе с ним в могилу и жестянку с деньгами. В руках он ее держал, надо думать. И ведь прорву добра в могилу унес! И месяца не прошло, как похоронили его, а два молодчика отыскались и свое удумали. Один — Леви Картер, попомарь, человек полоумный — я завсегда говорил. Ум-то вроде и был при нем, да куда как не часто налицо оказывался, а так, хоронился где-то. Другого парня звали Импи, жил он у сапожника Слэка, а дом у того стоял, ежели помните, за садом старого путешественника. Импи-то был совсем другое дело. На поле подсоблял, а случалось — и пастухом подрабатывал. Вот и столковались эти двое выкопать ночью гроб Генри Тэрли, выудить оттуда денжки и поделить их промеж себя. А чем это пахнет, самц, небось, знаете — тюрьма до самой смерти. Но Импи этот — человек был отпетый, свинья свиньей, тьфу, погань! Оп-то, видать, и подбил старика Леви на это дело. А уж обирать трупы — последнее дело!

Вот, значит, собрались они в темную ночь, а в ноябре ночи долгие. Тут и днем-то сквозь кладбищенскую ограду ничего не углядишь, сами знаете, а уж про темную ночку и говорить нечего. Да все это вы не хуже меня знаете, верно я говорю? — переспросил кровельщик, который, по-видимому, придавал особое значение этому пункту своего рассказа. Слова эти были встречены гулом одобрения — голоса не подал только одутловатый мужчина, — и кровельщик продолжал: — Было часов девять уже, когда раскопали они могилу. Работа была не ахти какая тяжелая, потому как Генри чуток только и землей-то присыпали. Похоронили его поверх старухи, а под той еще две дочки ихних. Ну, значит, откопали они гроб, и тут Импи возиться даль-

ше что-то неохота стало, замутило его малость. Отдал он молоток и стамеску Леви и спрашивает:

«Леви, сумеешь ты, говорит, справиться тут чин по чинну?».

«А чего ж не сумеешь?» — говорит Леви.

«Ну, вот и ладно, — говорит Импи. — Бери-ка мой фартук, а я покамест проберусь в загон к старику Уэйнкеру и приволоку овечку пожирней».

«Только не бросай меня, — говорит Картер, — что я тут один делать буду?»

«А ты как справишься — тебе и дел-то осталось всего ничего, — говорит Импи, — забирай деньги, скидай всю землю обратно и дожидайся тут, на кладбище, покуда я вернусь, а не то гляди у меня!»

«Ну нет, — говорит Картер, — уж лучше не делай ты этого».

«А вот и сделаю, — отвечает Импи. — Знаешь, какие у пего овцы — жирные, как улитки».

«Нет, — говорит Картер, — сюда я вступать не желаю. Это не дело».

«Брось дурить, — говорит Импи. — А уж овечку-то я раздобуду. Держи фартук. Жди меня мннут через десять. Барашка все одно я приволоку, даже если придется отхватить старику Уэйнкеру его проклятую голову».

И сгинул, прежде чем Леви смог его удержать. Ну что ж, натянул на себя Леви фартук и закончил один эту работу. Достал деньги, покидал землю обратно на бедного Генри, могилу повыворочил, а потом отправился к церкви, присел на ступеньку и стал дожидаться Импи. А тут через калитку идет какой-то старик. Шел, должно быть, сюда пропустить стаканчик и вдруг видит в темноте что-то белое, а это, значит, Леви сидит на паперти. Страх разобрал старика, он тут же дал деру, аж пятки засверкали, и прямо сюда, где мы сейчас вот сидим, — только было это тридцать лет назад.

«Боже ты мой, да что же с тобой такое? — обступили его со всех сторон, потому как лица на нем нет — белое как мел, а губы синие, будто точило. — Уж не привидение ли повстречал?»

«Да, говорит, привидение! Вот только что».

«Привидение? — спрашивают. — Какое там еще привидение? Да врешь ты, не видал ты никакого привидения!»

«Да видел я, сам видел!»

«Где же ты его видел-то?»

Ну, тут он и рассказал, что сидело оно на паперти.

«Да ни в жисть не поверю», — говорит Марк Тэрли. Он тоже случился тут об ту пору.

«А я говорю вам — было», — твердит старик.

«Да уж страшнее меня ничего там быть не могло», — говорит Марк.

«Я говорю все как есть, — сказал старик с обидой. — Поди и погляди сам, коли не веришь».

«Да я бы, само собой, пошел, и делу конец, — сказал Марк, — ежели бы только мог дойти-то. Да вот ведь привязалась ревматизма, не отпускает. Привидение! Еще ни одна живая душа его не видывала. Я-то готов, кабы только ноги меня держали».

Долго еще тут судили да рядили, пока не заговорил молоденький матрос, ирландец, — звали его Пэт Гроу, был он в отпуску. Уж не знаю, каким ветром его сюда занесло, но быть он тут был и говорит Марку:

«Ежели, говорит, вам не боязно, так и мне тоже. А на кладбище я, говорит, могу на закорках вас отнести».

Лихой был парнюга.

«Можешь?» — спрашивает Марк.

«Это мы запросто можем», — отвечает матрос.

«Ну что ж, давай», — соглашается Марк.

И вот взвалили старого Марка, будто куль с зерном, на плечи матросу, и пошли они, по охотников пойти с ними не оказалось.

Двинулись они, значит, прямо к кладбищу, и пока все было в аккурате. Но вот идут они себе между мегильных плит, покачивает матроса, а Марку и почудилось вдруг, будто видит он что-то белое на паперти. Ну, а матрос, тот ничего не видит — да попробуй угляди тут что, когда на плечах у тебя этакая туша.

«Что это вон там?» — шепчет Марк на ухо Пэту.

А Пэт Гроу возьми да и шепни в ответ — так, шутки ради:

«Не иначе, как черт в ночной рубахе».

«Так поосторожней, Пэт! — шепчет Марк. — Потихопечку! Смотри — поднимается, сюда идет!»

Пэт только усмехнулся в ответ.

«А-а, говорит, это он, это на него похоже!»

А тут и Леви отозвался с паперти, тихонько так:

«Ну как, раздобыл? Ничего, жирный?»

«Господи боже! — заорал матрос. — Да никак и впрямь черт!»

Сбросил он бедного Марка у ног Леви и — паутек, жизнь-то терять кому охота. Ох, и напугался же он — пуще всех. Ни во что он не верил, а тут вот тебе па! И только он к воротам, глядь, еще кто-то в темноте ему навстречу и что-то на плечах тащит. А это, значит, Импи с овцой.

«С нами крестная сила! — завопил Пэт Гроу — и бежать. — Конец света настал!» — орет он на всю улицу, будто с ума спятил. Импи тоже пустился паутек, а куда, и не скажу, право.

Ну вот, значит, лежит бедняга Марк на земле. Был он не робкого десятка, а тут и слова не выговорит — до того его ошарашило. Да и Леви тоже перепугался насмерть. В темноте ничего не разберет, дрожит возле Марка и шепчет:

«Кто это, кто это?».

А старый Марк до того струхнул, что решил: пришел его смертный час, и спрашивает:

«Это ты, сатана?».

Тут уж Леви слышит голос-то совсем не тот, какого он ждал, да как отскочит, быстрее, чем блоха соседская. Заорал еще пуще Пэта Гроу и тоже давай улепетывать. Да жестянку-то на бегу обронил, а старый Марк поднял. Встряхнул ее, слышит — деньги. Ну, тут-то он и смекнул, в чем дело: уж кто-кто, а он-то знал, как было захоронено братнино добро.

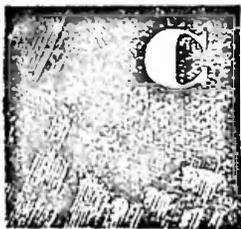
«Понятно, все понятно! — говорит. — Да это же Леви Картер, вор эдакий! Все понятно, все понятно!» Сунул он жестянку в карман и вприпрыжку домой, будто и вовсе ни про какую ревматизму не слыхивал.

Дома открыл жестянку, а там шестьдесят золотых соверенов. Шестьдесят соверенов!

«Ну, видно, нет худа без добра, — говорит Марк. — А уж добрей этого куда там!»

Ясное дело, денег, что были в жестянке, из рук своих Марк уже не выпустил. Вот так и выкупил он дом. Домашко-то, правда, не ахти какой — прутья, да глина, да крыша соломенная, но ведь он об нем всю жизнь мечтал. Там и дни свои кончил он, как и подobaет истинному христианину. (Ваше здоровье!)

БЕДНЯК



давних пор жителям долины стал привычным вид человека на велосипеде, везущего сумку с газетами. Его не только видели, но и слышали, потому что отличала его от других встречаемых велосипедистов не внешность, хотя и примечательная, а голос — приятный тенор, звучавший каждое утро там, где он проезжал, — из Кобз-Милла через Кэзл-Придд-Питер, Тэспер и Базлбери, и далее, в Тринкл и Нанкетел. Все, что угодно, пел он — баллады, всевозможные песни, арии из опер, церковные гимны и хоралы (он был первым голосом в тэсперском церковном хоре), — по при этом, казалось, соблюдал некий круговорот в их исполнении. В начале недели это были гимны и хоралы; в среду он обычно переходил на скромные мирские мелодии; четверг и пятница отмечались целой гаммой любовных песен и баллад, обязательно светских и необязательно скромных, а в субботу, в особенности к концу дня, который он проводил у стойки в «Белом олесе», вся его программа становилась грубоватой и даже немного непристойной. Зато в воскресенье он был благопристойнейшим из людей, ни один сомнительный напиток не орошал его уст, и поведение его делало честь церкви, являя образец и для самых заядных трезвенников.

Дэну Пейви было около тридцати пяти лет; не выделялся он ни ростом, ни внешностью, за исключением шляпы (жесткого черного котелка, который никогда не выглядел его собственным, хотя носил он его давным-давно), да еще носа. Это был уродливый нос, непомерно толстый, как локоток ребенка; таким он был от рождения, не был он ни сломан, ни покалечен, хотя подобное несчастье, возможно, произошло с ним в материнской утробе, когда он еще не успел сформироваться, и лекарь-природа лишь залечила его, не придав должной формы. Но мягкая улыбка на лице Дэна скрашивала этот недостаток, делала его лицо приветливым

и, казалось, говорила: «Не косись на меня, я добрый малый, шляпа эта моя; ну, а нос — это уж господь бог дал мне такой».

Шесть деревушек, по которым он развозил газеты, лежат вдоль Икнилдской долины, под самым краем лесистых холмов. Их обитатели, живущие по соседству с лесом, рубят буковые деревья и дома у себя делают планки и подрамники для мебельной фабрики, находящейся по ту сторону холмов и занимающейся производством одних только стульев. Иногда и в самом лесу можно встретить шалаш, в котором сидит мужчипа, вытачивающий на станке с ножным приводом части стульев. Величественны эти места, высоки, безлюдны и зелено-тенисты леса, и обозревают они с высоты шесть маленьких деревушек, как человек смотрел бы на шесть крошечных камушков-голышей, лежащих на зеленом ковре у его ног.

Однажды августовским утром наш газетчик возвращался на своем велосипеде в Тэспер. День блистал, подобно алмазу, но Дэн не пел, погруженный в раздумья о Скрупе, новом приходском пасторе в Тэспере, и мысли эти удручали его. Дело было не только в тоне воскресной проповеди на тему «Нищих всегда имейте с собою»¹, хоть это и плохо звучало в устах человека, известного своим богатством и черствостью сердца, подобного (как о нем говорили) дверному молотку; нет, тут было что-то более существенное; природное несходство между ними было слишком глубоко и вызывало неприязнь Дэна к пастору. Преподобный Фодел Скруп был богатым человеком, видимо, твердо уверенным в прочности своего состояния; он был из тех людей, с которыми Дэн Пейви никогда не мог сойтись во взглядах. Что же касается миссис Скруп, то одна лишь мысль о ней приводила Дэна в уныние, изливавшееся нескончаемыми вздохами.

В Ларкспер-Лейне он внезапно наткнулся на пастора, который беседовал с пожилым человеком по имени Илай Бонд, подрезавшим живую изгородь. Скруп не носил шляпы, и на голове у него была конна

¹ Текст из Евангелия, используемый церковью для утверждения незыблемости разделения людей на богатых и бедных.

выцветших волос. На его лице, хотя и гладко выбритом, отчетливо выделялась густая сеть морщин и складок; плечи у него были сутуловатые, ходил он немного вразвалку, и голос его напоминал вой.

— Минуточку, Пейви, — проревел он, и Дэп сошел с велосипеда.

— Все эти годы, — продолжал священник беседу с садовником, — все эти годы, господи боже мой!

— Родился я в Тэспере, шестьдесят шесть лет тому будет двадцать третьего октября, сэр, в самый тот день, только за два года до того, как леди Хесселтайн сбежала с Рудольфом Моксли. И вырос я здесь и работать начал шести лет от роду. Двенадцать детей было у меня (хоть пятеро из них и померли, а двоих взяли в солдаты), и понятия я не имел никогда, что значит не работать хоть один-единственный день за все эти шестьдесят годов. Никогда... Вовек не отблагодарить мне за это моего благословенного хозяина.

— Это же великолепнейший феодализм, — пробормотал про себя священник. — А кто твой добрый хозяин?

Старик благоговейно коснулся своей шляпы и произнес:

— Господь бог.

— О, понимаю, ну конечно, конечно! — воскликнул преподобный Скруп. — Что ж, доброе здоровье, всегда доброе, и добрая работа, в досталь доброй работы — прекраснейшие вещи. Кто ни разу не сделал за день того, что ему положено, — пес, и кто обманывает своего хозяина — тоже пес.

— Уж я-то никогда так не делал, сэр.

— Ну, и были у тебя счастливые денечки в Тэспере, не так ли?

— Так точно, сэр.

— Великолепно. Ну... гм... какой сильный дождь был ночью...

— Да, уж то-то был дождь! Нынче в пять утра я бы не выпустил своих уток — они бы утопли, сэр.

— Ага, ну-ну-ну!.. — протянул пастор, трогаясь в обратный путь вместе с Дэном. — Чудесный старик, счастливый и довольный. Хотелось бы, чтобы побольше было таких. Хотелось бы...

Пастор удовлетворенно вздохнул; тем временем они с Дэном шли рядом, пока не добрались до деревенской улицы, где в низком стремительном полете взад и вперед мелькали ласточки. Стоявший неподалеку мальчуган все пытался схватить их своими ручонками, когда они проносились мимо него. Пес Дэна, приветствуя хозяина, встал на задние лапы. Он был череп и несколько напоминал борзую, но был шире и сильнее. Хвост его круто загибался над спиной, и по молодости лет он был порядочным нахалом; он мог драться как тигр и мчаться как ветер — многим зайцам пришлось в этом убедиться.

Скруп, пристально разглядывая собаку, спросил:

— А здесь все еще браконьерствуют?

— Браконьерствуют, сэр?

— Мне так сказали. Надеюсь, это неправда; ведь я откупил себе тут почти целиком право охоты.

— Никогда не слыхивал об этом, сэр. Разве только давно... Говорят, когда-то базлберийские парни наловчились добывать дичь, но не думаю, чтобы во всей округе было хоть одно ружье без разрешения.

— Не в ружьях тут дело. На прошлой неделе кто-то поставил силки на кроличьем участке у фермера Прескотта, и он на этом потерял пять-шесть десятков кроликов. Теперь редко где увидишь зайца, и куда ни пойдешь, всюду проволочные сети. Это ведь настоящее преступление, ты знаешь, — голос Скрупа стал громким и резким, — и я буду очень сурово бороться с браконьерством всякого рода. Ну конечно, ты-то знаешь, в чем дело, Пейви. Ну конечно... Был такой малый в моем прежнем приходе, браконьер, хитрейшая бестия, из самых гнусных, никогда не работал, и у него тоже был пес вроде твоего — это ведь твой пес, правда? На ошейнике у него нет имени хозяина — ты должен бы завести ему ошейник со своим именем, — ну так вот, у него был мерзкий зверюга пес: уносил моих фазанов дюжинами; а уж зайцев он всех истребил... Человек этот ничем другим и не занимался; но мы его все-таки выследили, и я сам застрелил пса.

— Застрелили? — переспросил Дэп. — Нет уж, что до браконьеров, ни одного не смог бы назвать, если мне и случалось их видеть. Знаю о них не больше, чем покойник в могиле.

— Мы к ним будем очень строги, — закончил Скруп. — Скажи, ты будешь петь из Перселла в воскресенье вечером?

— «Господь — пастырь мой! Я ни в чем не буду нуждаться», сэр.

— Великолепно! Всего доброго, Пейвп.

Дэн в сопровождении собак, лаявшей и прыгавшей вокруг него, покотился к своему домику, казалось, осевшему под тяжестью собственной кровли; крыша его свисала на целый ярд, и птицы свили на ней гнезда по меньшей мере десять лет назад. Дэн был холостяком и жил здесь со своей матерью, Мег Пейви. Она содержала до смешного крошечную лавочку, где продавались сладости, уксус, пуговицы для обуви и тому подобные мелочи; была она премилой старушкой, столь же наивной, сколь и рассеянной. Если вы подходили к ее прилавку за газетой и выкладывали полкроны, то случалось, что сдачу она давала с шестипенсовика, и когда вы указывали ей на ошибку, она с улыбкой отдавала вам обратно эти же полкроны.

Дэн прошел в заднюю комнату, где Мег собирала на стол к обеду, сбросил сумку и молча сел. Мать его, не без труда передвигая ноги, совершала бесчисленные путешествия между столом и кладовой.

— Миссис Скруп была, — сказала Мег, неся на стол хлеб.

— Что ей было нужно?

— Ей нужно было меня побранить.

— А что такое ты сделала?

Мег снова зашла в кладовую.

— Да не я, а ты.

— Что ты хочешь сказать, мать?

— Намекала она мне, — при этом Мег толкнула миску с картофелем направо от хлеба, а солонку поставила слева от скудных остатков пирога с крольчатинной, — на то, что ты выпивашь. Она сказала, что своим пьянством ты позоришь хор, и мне, мол, надо убедить тебя бросить пить.

— Уж лучше бы я ее убедил, что пора ей на тот свет убраться. Не считаю нужным брать пример с этих поганых богачей. Что мы — трава под их ногами? И почему это пасторши всегда бывают хуже самих пасто-

ров? Проживи я тысячу лет, все равно не понять мне этого. О господи, что же дальше?

— Так она и сказала: пить — плохо для всех, а уж мне-то надо бы тебя отругать.

— О господи, — возразил он, — уж не думаешь ли ты, что я пью ради пьянства, потому что мне это нравится? Да никто так не делает. Пьешь, чтобы не сочли тебя дурнем или не подумали, что хочешь задирать нос перед товарищами, хоть и знаешь про себя, что и правда мог бы стать лучше их, будь ты побогаче да побойчее. Кто же хочет быть бедняком, даже если его и учат быть всем довольным? Да как это бедный может быть доволен, пока есть богатей, которому он должен служить? Богачей мы всегда имеем с собою¹, это наш крест, мы трава у них под ногами. Чем уж тут нам гордиться? Когда ты беден, все, что тебе остается, — надежда на лучшее: так это они зовут завистью. Если тебе не по душе богатство, ты всегда можешь его раздать, а вот от бедности ты не уйдешь, как и она от тебя не уйдет.

— Нехорошо, Дэн, ни с кем ты не хочешь считаться, совсем задурил.

— Если бы я мог, я бы стал вольным человеком и зажил бы сам по себе миль за сто от кого бы то ни было. Но это все блажь, просто блажь, нечего и думать, чтобы такое могло случиться; вот я и делаю как все люди, не потому, что так хочу, а потому, что не могу решиться жить иначе. Многому ты меня научила, мать, а вот смелым быть не выучила, да и сроду не было у меня храбрости, потому-то я теперь и пью вместе с другими дурнями, которые, должно быть, пьют по той же причине. Везде то же самое — что пьянство, то и все прочее.

Его негодование не утихло и после полудня, когда он сел в тени на дворе за работу — выточить свое обычное количество заготовок стульев. Он уже не пел, но что-то злобно бормотал и ворчал. Однако к вечеру он снова обрел хорошее настроение и запел так весело, что удивил даже собственную мать. В сумерки он ушел из дому вместе с собакой, мурлыча что-то себе под нос. Утром преподобный Скруп обнаружил у своей

¹ Дэн перефразирует упомянутый выше евангельский текст.

двери мертвого зайца, привязанного за шею к дверному молотку, а вечером (дело было в субботу) Дэн Пейви веселился, как никогда, в «Белом олепе». Он был если не совсем пьян, то, как говорится, под мухой и никогда еще не пел столько непристойных песен (по большей части собственного сочинения), которыми так славился.

Через несколько дней Дэн пошел на собрание Церковного общества. Несколько местных жителей из числа самых безгласных сидели в деревенском клубе и беседовали с пастором.

— Тэспер, — заявил мистер Скруп, — знаменит своими певцами. Во всех шести поселках здесь есть музыкальные таланты. Например, базльбернские музыканты — превосходный ансамбль.

— Это точно, — вмешался краснолицый мясник из Базльберн, — они играют и в девять утра и в девять вечера: только хорошие музыканты так могут.

— Ну так вот, мне хочется, чтобы наш хор в будущем году принял участие в музыкальном фестивале графства. Тэспер собирается показать тамошним знатокам, на что способен местный хор. И, кроме того, я уверен, что наш друг Пейви победит в конкурсе теноров-солистов. Давайте возьмемся за дело чистосердечно и с постоянством. Это ведь две главные пружины хорошего человеческого поведения — постоянство и чистосердечие. Настоящий человек, с постоянством стремящийся к разумной цели, всегда ее достигает, всегда. Вспоминаю одного из своих прежних прихожан — Тома Тэркема, которого во всем графстве знали и любили; он был лучшим крикетистом не только в нашей деревне, но и по всей округе. Его большой, единственной радостью был крикет: он играл в крикет и жил для крикета. Годы шли, он старел, однако ему и в голову не приходило бросить крикет. С каждым годом его активный счет все уменьшался, а пассивный увеличивался, но он продолжал играть с прежним постоянством. Он стал игроком шестой очереди, и ему очень редко приходилось посылать мяч; затем он дошел до восьмой очереди и уже совсем не посылал. Сезон или два некогда знаменитый Том Тэркем был игроком последней очереди! Потом он стал судьей, затем счетчиком, и наконец он умер. Он зарабатывал мало, очень мало, только

чтобы сносно прожить. Нет, он ни разу не был женат. Он был веселый, сердечный, здоровый старик. Слышите? Ну так вот, в Базлбери есть крикетный клуб, и в Трипкле тоже. Почему бы не быть крикетному клубу и в Тэспере? Неужели мы этого не добьемся? Ну, хорошо...

Пастор продолжал развивать свои проекты, и хотя Дэну было ясно, что преподобный Скруп имел очень мало, если вообще имел, снисхождения к слабостям, присущим брэнной плоти, и явно переоценивал такие добродетели, как приличие, трезвость, постоянство и, превыше всего, верность всякого рода непостижимым склонностям, однако намерения его были, бесспорно, чистосердечны, и члены общества были ему постоянно благодарны.

— Одной вещи, Пейви, — сказал Скруп, когда собрание закончилось, — одной вещи я не потерплю в своем приходе — это азартных игр.

— Азартных игр? Никогда в жизни не играл на деньги, сэр. Я даже не смогу отличить пики от треф.

— Я говорю о скачках, Пейви.

— Так я же на них никогда в жизни не был, мистер Скруп.

— Да ведь совсем необязательно ходить на скачки, чтобы ставить на лошадей; агенты букмекеров собирают расписки и деньги для ставок. И это делается у нас во всех шести деревнях, а человек, который этим занимается, даже если не ставит сам, представляет опасность для общества и для нравственности; он преступник, он нарушает закон. Кто бы он ни был, — закончил викарий, понизив голос и доверительно касаясь плеча Дэна, — я буду его клеймить беспощадно. Доброй ночи, Пейви.

Дэн ушел, затаив в душе жажду убийства. Мнительные люди, не знавшие его, со стороны могли предположить, что человек с таким всудаившимся лицом был в состоянии совершить преступление — не мелкий грешок, на это, конечно, не стоило обращать внимание, но большое, настоящее преступление вроде убийства. Он, конечно, мог совершить убийство — точно так, как и любой другой; но он зато был способен и обуздать столь губительное стремление и никогда никого не убивал.

Однако угрозы пастора смогли испортить настроение Дэну лишь ненадолго, и он продолжал петь все так

же весело и звонко каждый день на своем пути по дорожкам из Кобз-Милла в Трипкл и Нанктен. Колышущиеся богатства уходящих вдаль лесов, желтеющих на пороге осени, уходящие вдаль величественные холмы, нежаркий солнечный свет, яркие ягоды шиповника, коричневые листочки боярышника, которые начали осыпаться с живых изгородей и перепархивали по дороге, подобно умирающим мотылькам; упряжки лошадей, с усилием вспахивавшие землю, овчарки с уже покрытыми соломой загонами, где овцы могли лежать, по выражению Дэна, горячие, как пудинг, — все это наполняло его чувством легкой восторженности — очень смутным чувством, которое он мог выразить только пением.

В ночь на праздник костров деревенские парни разожгли большой костер напротив «Белого оленя». Шел снег, и, хотя мороза не было, он ложился на дорогу мягким топким покрывалом. Дэн на велосипеде возвращался домой после затянувшейся поездки, и свет от костра подействовал на него ободряюще. Весело и необычно озарял он двор трактира, и в этом освещении олень, возвышающийся над балконом, из-за снежной подушки, покрывавшей его деревянный нос, немного смахивал на верблюда, в то время как тот же снег, облепивший его спину, придавал ему сходство с овцой. Несколько мальчиков стояли с ошалелым видом, щурясь от света, перед полыхающим пламенем. Поравнявшись с костром, Дэн сошел с велосипеда, сделав это весьма осторожно, потому что сзади него ехал крошечный мальчуган, укутанный и привязанный к раме велосипеда длинным шарфом, — очень маленький, очень молчаливый, примерно лет пяти. Голова, уши и подбородок у него были укутаны красной шерстяной шалью, а шея и грудь — зеленым шарфом, почти совсем скрывавшим его курточку; поверх штанишек были надеты серые шерстяные гамашки. Дэн снял его с велосипеда и поставил на дорогу, но малыш был так закутан, что едва мог передвигаться. Ребенок был робок, а может быть, думал, что выглядит смешным; сделав несколько шагов, он повернулся назад и начал рассматривать свои следы на снегу.

— Замерз? — спросил Дэн.

Малыш серьезно покачал головой, потом вложил ручонку в руку Дэна и устоялся на огонь, от которого

заблестели его темные глаза с длинными ресницами и чуть порозовело бледное личико.

— Голоден?

Ребенок не ответил. Он только молча улыбнулся, когда мальчики принесли ему горящую хворостинку. Дэн взял его на руки и повел велосипед через дорогу, направляясь к себе домой.

Дородная Мег только что изрубила два-три вилка краснокочанной капусты и сложила их в глиняный горшок, добавив туда изрядное количество перца и имбиря. Горел яркий огонь, и остро пахло уксусом — в доме у Мег всегда был какой-нибудь необычный приятный запах. Она прикрыла верхушку горшка коричневой бумагой, обвязала бечевкой, лизнула ярлычок с надписью «Капуста. 5-ва паября» и приклепнула его на горшок, когда щеколда отодвинулась и Дэн внес в комнату малыша.

— Вот он, мать!

Ребенок остался стоять там, куда его поставил Дэн; казалось, он не заметил матушку Пейви; его взгляд остановился на большом горшке с белым ярлыком и так и застыл на нем.

— Это чей же? — спросила, упершись руками в бока, наумленная Мег, когда Дэн начал раскутывать ребенка.

— Это мой, — сказал ее сын, стряхивая снежинки с локонов на детском лобике.

— Твой? С каких же это пор он твой?

— С тех пор как родился. Нет, оставь, я сам его раскутаю, там полно булавок и крючков. Я сам его раскутаю.

Мег стояла в сторонке, пока Дэн высвобождал малыша.

— Но это же не твой ребенок — правда, Дэн?

— Мой, и пусть он остается у нас. Он может спать со мной.

— Кто его мать?

— Не все ли равно кто? Его отец Дэн Купидон.

— Ты смеешься надо мной! Кто его мать? Где она? Ты же меня дурачишь, Дэн!

— Никого я не дурачу. Гляди — это твой миленький внучек!

Мег взяла ребенка на руки, всматриваясь в его лицо, то ли чтобы найти ответ на волновавшую ее загадку, то ли чтобы отыскать в нем семейное сходство. Но ничто в мягком, нежном личике ребенка не напоминало ей грубые черты Дэна.

— Кто ты? Как тебя зовут?

— Мартин, — прошептал ребенок.

— Дэп, а ведь он прехорошенький!

— Ну, это у него от матери, — сказал ее сын. — Мы с ней очень любили друг друга — когда-то. Теперь она надумала выйти замуж за другого парня, и я взял малыша — так оно будет лучше. Ему пять лет. Не спрашивай меня о ней; это всегда было нашей тайной — хорошей, большой тайной, и тайну эту мы крепко хранили. Вот ее кольцо.

На большом пальце ребенка было золотое кольцо с маленьким зеленым камушком. Согнутый пальчик надежно его удерживал.

Мег ненадолго перестала спрашивать о ребенке. Она нежно прижала его к груди.

Однако, как вскоре обнаружил Дэп, не так уж все было просто с этой долго хранимой тайной. Это был его сын, тут не могло быть никаких сомнений — Дэп так очевидно радовался, что приходился отцом этому спокойному, милосердному незаконнорожденному созданию. И мало того, что он был достаточно опозорен таким наглым распутством, неделей позже его поймали с поличным во время получения заказов по ставкам на скачках и оштрафовали на большую сумму в полицейском участке, хотя было совершенно очевидно, что сам он не ставил, а просто был сборщиком расписок для букмекера, оставшегося в тени и немедленно внесшего за него штраф.

Разумеется, все эти события вызвали большой шум на приходских собраниях — ведь нет ничего более сурового и непреклонного, чем призванный возвышаться над церковным облачением лоб священнослужителя, — и Дэп был вызван на собеседование к Скрупу. После некоторых колебаний он туда отправился.

— Ах, Пейви! — сказал пастор тоном вовсе не угрожающим, но кротким и скорбным. — Итак, удар разразился, несмотря на мое предупреждение. Не могу выразить, как я огорчен, ибо это ведет к концу на-

шего столь продолжительного сотрудничества. Мне очень тяжело и неприятно действовать в создавшемся положении, но теперь уже ничем не поможешь, ты должен это понять. Не хочу обсуждать эти злосчастные события, совсем не хочу, но не вижу никакой возможности избежать выполнения своего прямого долга. Твой образ жизни несовместим с твоим положением в церковном хоре, и я серьезно опасаясь, что все случившееся является не только общественным, но и религиозным проступком — это же самое настоящее богохульство.

Пастор сел за стол, стиснув голову руками. Пейви присел напротив, держа в руках свой котелок.

— Вы, может быть, по-своему правы, сэр, но я в жизни никогда не богохульствовал. Вот о ставках — тут я с вами согласен. Ставки и вправду, должно быть, грязное дело, но сам я никогда не кормился этой грязью, никогда в жизни не ставил. Я только нищу, как бы пропитаться, бедняк-то ведь мало что может заработать, кроме как на хлеб, и много есть всяких грязных дел, за которые закон не наказывает, по крайности на этом свете.

— Так вот, послушай, Пейви: ставки, на мой взгляд, не столь уж тяжкое преступление, как история с этим несчастным мальчиком. Не хочу обсуждать все это; то, что ты его признал сыном, конечно правильно и честно. Однако самый факт его появления на свет нельзя обойти — это по меньшей мере позорно; а поскольку ты имеешь должность в моей церкви — это является богохульством.

— Вы, может быть, правы в своих суждениях, сэр, а может быть, и нет. Уж вы меня простите, но мы можем мерить других только по своей мерке, а ведь один другого никогда до конца не поймет — так, значит, и мы не можем судить о других правильно, потому что все мы друг от друга чем-нибудь да отличаемся. Ну, а касательно того, что я богохульник, — вот тут уж мне кажется, будто сам же вы стараетесь научить всемогущего, как меня судить.

— Пейви, — презрек торжественно пастор, — скорблю о тебе до глубины души. Не будем продолжать этот тягостный разговор, мы оба о нем будем сожалеть. В приходе, откуда я пришел сюда, был один человек, он был безбожник и богохульствовал. Впоследствии он оглох. Раскаялся ли он? Нет, потому что возмездно

последовало через долгое время после проступка. Он снова стал богохульствовать — и ослеп. Не сразу: для своих деяний господь располагает вечностью. Но и тогда упрямец не раскаялся. Это и есть то самое, — продолжал пастор нудным голосом, — с чем призвана бороться церковь: отсутствие понимания самого явного знамения и нежелание в дальнейшем исправить свою ошибку. Фамилия бедняги была Клопсток. Его сестра — ты хорошо ее знаешь, Джейн Клопсток — теперь служит у меня кухаркой.

Тут пастор встал и поднял руку.

— Господь да благословит тебя, Пейвн.

— Благодарю вас, сэр, — ответил Дэн. — Я все понял.

Он пошел домой в самом мрачном настроении. В деревне больше никому не было дела до его проступков, всем это было совершенно безразлично, и никто не осуждал его, даже напротив. Но удар был нанесен, и теперь уже ничего нельзя было сделать; хоть о нем и предупреждали заранее, он был тяжел. И к тому же боль эта со временем не могла утихнуть, потому что Дэн лишился главной возможностипеть — искусство, в котором он достиг настоящего мастерства, — в этом прекрасном, мирном окружении, которое он так любил. Злость его парастала, и в буйный и дерзновенный субботний вечер в «Белом олене» он исполнил следующие впрши на мотив «Британских гренадеров»:

Наш пастор любит фордик свой,
Свой сад, свое жилище
И свой бифштекс — лишь погляди
На этот животище!
Да, все земное любит он:
Он в колледже дул пиво
И со служанкою тайком
Ведет себя игриво.

Иной раз ловко он солжет,
Хоть это неуместно,
Но лицемерить для него,
Как влдно, интересно.
Повсюду сест он разврат
Уверенной рукою,
И если нет жены, то рад
Спать с девкою любою¹.

¹ Перевод Б. Томашевского.

Все это было злобой клеветой па достойнейшего человека, придуманной во гневе и вызвавшей раскаяние сразу же после исполнения.

Начиная с этого времени Дэн бросил пить и целиком посвятил себя малышу, маленькому Мартину (который, как предположил один тэсперский шутник, возможно приходился сродни небезызвестной Бетти¹). Однако голос Дэпа теперь редко звучал на дорогах, где он проезжал. Они покрылись зимним льдом, эти дороги, но не потому он теперь молчал. Причиной его молчания было удаление из хора, и нельзя сказать, что тут были затронуты религиозные чувства — очень уж мало было их у Дэна Пейви, — по дело было в торжественном великолепии хорала; ведь этот хорал он украшал своим единственным даром, которым с таким пылом и гордостью делился со всеми окружающими с самого детства. Лишить Дэна всего этого — значило лишить его самого дорогого в жизни: возможности проявить себя в том искусстве, где он добился полного триумфа.

Когда пришла весна, как-то вечером он поехал за несколько миль в город, чтобы поговорить с хормейстером. С этого времени Дэн Пейви каждое воскресенье дважды ездил петь в церкви, находившейся за семь-восемь миль, что и хранил в глубочайшей тайне от обитателей Тэспера вплоть до своего выступления на музыкальном фестивале графства, где он завоевал ценный приз в конкурсе теноров-солистов. После этого Дэн снова обрел себя. По своему незрелому представлению он считал себя оправданным, и опять зазвучали его веселые песни по дорогам долины, как они звучали постоянно вот уже двадцать лет.

Маленький Мартин начал ходить в школу, и хотя ему разрешалось свободно гулять по деревне, он не уходил далеко от дома. Аккуратно подстриженный чубчик его был темно-каштанового цвета. Его кожа, по словам Мег, была как «олобастер» — нежная, без веспушек, всегда бледная. Его глаза, по словам той же Мег, были как две влажные сливы — темные и всегда вопрошающие. Что же касается носа, губ, щек,

¹ Имеется в виду английская поговорка, в которой упоминается имя Бетти Мартин.

подбородка, то Мег ничего другого не могла придумать, как назвать его лицо ликом святого угодника; и в самом деле, в его манере держаться было что-то от святого — такой он был спокойный, кроткий, застенчивый. Золотого кольца он больше не надевал: оно висело на гвоздике на стене спальни.

Старый Джон, живший по соседству с пими, стал большим другом Мартина. Джон был очень стар — в долгие за просто доживали до ста лет — и очень сильно согнулся, как серп, поставленный на рукоятку. Кроме того, он был совершенно лыс и весьма раздражителен.

Мартин пристально смотрел на крышу домпика Джона.

— На что ты там смотришь, малыш?

— Друба, — пролепетал ребенок.

— Вот что! Она согнулась, правда?

— Да, согнулась.

— Знаю я это, да ничего не могу поделать; труба у меня согнулась, и я не могу ее ни выпрямить, ни выправить. Труба у меня согнулась — правда? — да и сам я согнулся.

— Да, — сказал Мартин.

— Знаю, да ничего не могу поделать. Согнулась она, правда? — сказал старик, также уставившись на красную дымовую трубу, лихо подбоченившуюся на углу крыши.

— Да.

— Труба-то согнулась. Ну, а ты поди посмотри на мою красивую птичку.

На кухне у старого деда жил в клетке дрозд. Мартин подошел к нему.

— Видишь, какая красивая птичка. Эй, ты! — воскликнул старый Джон, стуча по решетке клетки изуродованным ногтем. — Но она не хочет петь.

— Не хочет петь?

— Не хочет она приручиться. Не хочет, да и все тут — правда, моя красивая птичка? Нет, не хочет. И потому я хочу свернуть ей шею, — сказал, смеясь, старик, — а потом я ее сварю.

После этого Мартин приходил каждый день смотреть, цел ли еще дрозд. Но тот всегда был на месте.

Мартин рос. Незаметно для Дэпа ребенок становился подростком. В школе он ничем не выделялся, кроме, может быть, поведения, но у него была странная привычка: он как-то незаметно умудрялся не делать того, что его не интересовало, а таких вещей было много — это было все, что не интересовало его отца. При этом их дружба со стороны почти не была заметна, и союз их был намного глубже своего внешнего выражения. Дэн беседовал с ним как со взрослым, а возможно, и считал его взрослым; мальчик был единственным существом, перед кем он когда-либо открывал полностью душу. Вечерами, когда они сидели вдвоем и Дэн делал короткую передышку во время вытачивания стульев — ремесло, в котором он достиг большого мастерства, — отец обычно беседовал с сыном, или, точнее, выкладывал перед ним все те смутные мысли, которые непрерывно накапливались в его мозгу с тех пор, как он стал взрослым. Пес обычно разваливался у их ног, положив голову на колени Мартина; мальчик сидел, изредка утвердительно кивая головой, хоть и редко произнося что-либо — он был неустанным слушателем. «Яблоко от яблони педалеко падает, — пришло в голову Дэпу. — Он тоже всегда будет держать свои мысли при себе». Это была единственная черта в характере сына, причинявшая отцу беспокойство.

— Никогда не бери с меня пример, — убеждал он, бывало, сына, — только не с меня. Я глупец, неудачник, жалкая трава под ногами, да еще пытаюсь тебя учить, — но ты никогда не следуи моему примеру; я слабый человек. Мне в голову приходило такое, что я и сказать не осмелюсь. И хотел я, бывало, сотворить такие дела, какие никто бы не сделал, да и не захотел бы сделать. Это были не какие-нибудь дурные дела — а что это было, мне теперь и не вспомнить. Не был я ни горд, ни умен, хотелось мне жить попросту, совсем просто, на свой лад — помнится, так это было. Но я ничего этого не сделал — боялся, что обо мне люди подумают. Я проводил время со своими друзьями и делал то, что мне никогда не хотелось делать, — а теперь я даже не могу понять, почему я так делал. Я пел для них дурацкие песни, которые им нравились, а не те, которые сам любил. Жил я со всеми в ладу, и со мной все ладил. Я добрый малый, даже слишком добрый, а жил и

непутем, растратил жизнь зря, видишь ли, все делал неладно, как дурак, которого заставь богу молиться — он лоб расшибет.

Мальчик сидел, глядя на него так, как будто понимал все это. А может быть, и правда его любознательный детский ум уже начинал немного разбираться в бедах отца.

— Тебе-то нет нужды брать с меня пример, ты ведь будешь грамотеем. Ну, я, конечно, знаю кое-какие из этих мудреных слов, которые вы учите в школе и которые не так-то легко собрать в одно и выговорить, вот хоть «мамонт» или, скажем, «дуршлаг». С ними позышься, возишься, пока не добьешься своего и не одолеешь их. Я был когда-то такой же, как ты (яблоко от яблони недалеко падает), да и сейчас я не стал умнее. Если бы мы с тобой вместе пошли в школу и сели рядышком за парту, бьюсь об заклад, ты меня обскакал бы и мне пришлось бы надеть бумажный колпак¹ — во всем, кроме счета, тут-то уж я тебя заткнул бы за пояс. Тебе достались бы все пироги да пышки, а мне синяки да шишки, ты был бы королем, а я — жалким шутом, так что нечего брать с меня пример. Тебе только надо быть посмелее и не бояться делать то, что сам хочешь. А я вот никогда не был смелым и не делал чего хотел.

Дэн редко целовал сына, ни тот, ни другой не тяготели к подобному выражению своих чувств, зато Мег никак не могла без этого обойтись, и мальчик не оставался в долгу перед старушкой. На подбородке у нее была небольшая родинка, посередине которой рос короткий жесткий волосок, и это оказалось для Мартина неожиданным открытием, когда он впервые поцеловал ее.

Дважды в неделю отец с сыном мылись в сарайчике, предназначенном для хранения заготовок. Ванной служила половина деревянной бочки. Дэн приносил два-три ведра воды из колодца, оба они раздевались, мальчик становился на колени в ванне и плескал на себя некоторое время воду. Пока Мартин вытирался, Дэн становился в ванну и, вымыв себе лицо, руки и ноги,

¹ В английских школах на лентяев надевали бумажный колпак.

садился в нее. «Готов?» — спрашивал Мартин и, почерпнув воды из железного таза, поливал голову отца.

— О господи, холодновато все же сегодня утром, — говаривал Дэн. — Пожалуй, и крокодила проймет дрожь. Бр-р-р-р! Но знаешь, я езжу по долине и зимой и летом и не чувствую — бр-р-р-р! — большой разницы между ними — это все люди выдумывают. Утро ли, вечер ли, морозно или тепло — все равно я езжу по долине, и нельзя сказать, чтобы зимой мне это было менее приятно. (А ну-ка поторопись со штанами, не то я подсяду к горшку с овсянкой раньше, чем ты оденешься.) Всякие толки о зиме с ее страхами — одно лишь скудоумие. Что может быть лучше снегопада, величественней бури, вырывающей с корнями деревья? Зимой не больше дождя, чем летом, а ты ведь обут, да и за ребрами у тебя сердце, которое не поддается простуде. (Чья же это рубашка — моя или твоя? Черт побери эти проклятые пуговицы!) Что бы там ни было, а в деревне хорошо в любое время года. Жил я как-то в Лондоне, всего лишь несколько недель, — ну и шум же там, жуть, грязь, боже ты мой, даже в масле там попадались тараканы — было и такое однажды!

Но из всех времен года мальчику больше всего правилось то время, когда созревают сливы. Сад Пейви превращался тогда в маленький рай.

— Ты заморозил эти деревья, — заявлял Дэн сыну каждой осенью, когда они собирали с них урожай. — Я посадил их лет двадцать тому назад — два ренклода и желтую сливу, но ничего на них не вызревало даже на пудинг. А цвели они всегда хорошо и были хороши с виду. Уж я им и подпорки ставил, и удобрял их, но плодов они не приносили. Я уже собирался срубить их, да тут как раз ты и появился.

Ну, а было ли от этих деревьев много толку с тех пор, как здесь поселился Мартин?

— Конечно, удача часто обманывает, и никогда она особенно не тревожила нашу семью. Однако неудача — одно, а плохая жизнь — другое. И все же думается мне, что это в конце концов одно и то же, разницы почти нет. Уж очень много на свете недоразумений; доброй половине людей и в голову не приходит все то хорошее,

па что они способны, пли любовь, которая схоронилась у них в глубине души.

Но ничто на свете так не льстило Дэну и не доставляло (или не могло доставить) ему столько удовольствия, как нежный дискант его сына. Мартин пел! Ни один длинный зимний вечер не обходился теперь без уроков пения, которые давал сыну гордый им отец. Комната за лавкой была самой маленькой в доме, и ни величины, ни опрятности не могли ей добавить целые груды товаров, причастных к торговой базе Мег и заполонивших углы и полки в этой комнатке пакетами, пачками и связками. В них находились железные гвозди, химические карандаши, кнопки, цинковая мазь, медные дверные петли. Тут же выстроились целые взводы бутылок: с синева-черными чернилами, а также с красными (видимо, плебейскими), бутылки с леденцами и маслом (для смазывания волос и касторовым). Клубки бечевки, шарики сыпья, мятые лепешки, мячи соседствовали со стопками новеньких тетрадок — для счета, записей и школьных. И все же комнатка оставалась уютной, и если ее обитателям было так же тесно, как птичкам в гнездах, то они и были счастливы в ней, как птички; ведь многие из них (за исключением разве ласточек) поют в своих гнездах.

Вооружившись камертоном и нотами, Дэн с Мартином приступали к занятиям. Пес дремал на коврике перед огнем; Мег засыпала довольно крепко в своем кресле, пока ее не поднимал на ноги внезапный оглушительный звон колокольчика. Она вперевадку шла в свою полутемную лавочку, причем каждый ее шаг сопровождался шумом: летела со стола керосиновая лампа, гремел уголь в ведерке, а иногда даже дребезжали оконные стекла, — и пес немедленно залезал в ее кресло. Снабдив древнего старца унцей тминного семени или какого-нибудь веселого парня — пачкой сигарет, Мег брела назад к своему креслу и опускалась прямо на пса, после чего его ужасный пегодующий вопль доносился до самых небес, заглушая даже голоса Дэна с сыном.

— Чем бы нам сегодня закопчить? — спрашивал обычно Дэн в конце урока, и Мартин, бывало, предлагал:

— Спой «Тимми».

Вот текст «Тимми», который пелся на мотив, немного напоминающий хор из «Папаши О'Флипна»:

Эй, Тимми, братишка,
Мамашни сынишка,
Все поле скосили, и ты ведь устал...
Устрой себе праздник!
Не бойся, проказник:
Где праздник удался, там день не пропал.

Умывшись, из дому
Пойдем к ипподрому,
Коль там повезет, то и куш мы сорвем!
Но не от жокея,
Что мчится, глазами
На девуку, с которой давно я знаком.

Там леди и лорды
Красуются гордо,
Там фермер, и франт, и богат, и бедняк...
А там в балагано
Бродяги цыгане,
Одеты в лохмотья и клячат пятак.

Там скромные взоры
И наглые воры,
Там грохот и гам, вавилонский галдеж!
Боксеров, и тиры,
И парня-пропыру
С наперстком и столиком там ты найдешь.

Но нам будет Нэнси
Всего интересней,
За ней приударить любой поровит...
У Нэнси сестренка —
Что надо девчонка:
Свежа, как фиалка, и царственный вид.

Пойдем-ка, брат Тимми,
Покрутимся с нимп!
Где шляпа? Где деньги? Давай веселей!
Там смех и забавы,
Там девки на славу...
На ярмарку, Тимми, пойдем-ка скорей!¹

На третью годовщину прибытия Мартина Дэн встал очень рано, задолго до рассвета, и, оставив сына спящим, тихонько прокрался из дому вместе с собакой. Они вышли из Тэспера, хотя было еще совсем темно и трава была вся в росе, и пошли через холмы по

¹ Перевод В. Томашевского.

направлению к Чейпл-Чпри. Ночь была беззвездной, но Дэн хорошо знал все извилины обманчивых тропинок, и после часа ходьбы он встретил мужчнину, поджидавшего у дорожного столба. Они немного посоветовались и затем продолжали путь уже вместе, а пес бежал за ними следом. Дойдя до калитки, за которой начиналось поле, они остановились и прикрепили к ней сеть, потом послали вперед в темноту собаку, а сами остались ждать зайца, которого она должна была загнать в сеть. Ждали они очень долго, до тех пор, пока не стало ясно, что собака с поручением не справилась. Дэн тихо свистнул, но она не вернулась. Тогда он открыл калитку и сам пошел по полям, шаря вдоль изгородей, но никак не мог найти пса. Ночной мрак понемногу начал рассеиваться, но долина вся была в тумане. Он вернулся к калитке: сеть была снята, его друг ушел — может быть, ему помешали? Собаки не было уже около часа. Дэн еще подождал, но ни приятель, ни собака не вернулись. Становилось все светлее, хотя пока мало что можно было различить: густой туман скрывал то, что открывал рассвет. В сырой мгле Дэна пробрала дрожь; сапоги его стали мягкими, как перчатки, на бровях нависли серые капли, так же как на усах и на тыльной стороне рук. Его черная куртка выглядела так, будто была из серой шерсти; она была плотно застегнута до самого горла, и он стоял, спрятав подбородок, бессознательно задерживая дыхание, пока не начал задыхаться. Но он не мог оставить своего пса на произвол судьбы и еще раз побрел в долину, покрытую туманом, по направлению к хорошо знакомому ему лесу, время от времени насвистывая тихонько и с большой осторожностью две ноты.

И Дэн наконец нашел собаку. Она лежала на куче промокших опавших листьев. Она еле слышно повизгивала, не могла ни подняться, ни шевельнуться и была, казалось, парализована. Уже стало совсем светло. Место это было опасным, и он хотел поскорее забрать отсюда собаку, но когда попытался поднять ее, она свалилась, как огородное пугало. Дэн моментально сообразил, что собака отравлена; может быть, она подобрала заманчивый кусочек мяса, разбросанного фермером для лисид. Он поднял обломок мела, лежавший неподалеку, растер его в руках и сильно втолкнул в горло со-

баке. Потом он пристегнул к ее ошейнику поводок. Он хотел поставить ее на ноги и заставить идти, но она вконец обессилела, была почти совсем неподвижна и нема. Он проволока ее за шею несколько ярдов, как волокут по земле тяжелый мешок. Собака весила около трех стоунов¹, но Дэн взвалил ее себе на плечи и понес на холм. Он тащил ее таким образом около полумили, но до дому осталось еще четыре мили, стало светло, и каждую минуту он мог попасться на глаза кому-нибудь из тех, с кем ему совсем не хотелось встречаться. Он вступил на дорогу, открывшуюся среди лесных чащ, и, нагнувшись, через свою голову осторожно опустил собаку на землю, а сам сел рядом, чтобы передохнуть. Он очень устал, и у него кружилась голова: чувство было такое, будто мозги его хотят выскочить из черепа, и — увы, пес был мертв, его старый друг пес умер. Когда же Дэн поднял голову, он увидел лесника с ружьем, стоявшего в нескольких ярдах от него.

— С добрым утром, — вымолвил Дэн. Вся его усталость мгновенно исчезла.

— Мне нужны твоё имя и адрес, — ответил лесник, мужчина гигантского роста, с какой-то презрительной учтивостью.

— Зачем?

— Узнаешь сам зачем. — Гигант усмехнулся. — Придет время, все узнаешь.

Он положил ружье на землю и начал шарить у себя в карманах, в то время как Дэн поднялся со смешанным чувством смущения и гнева. Так, значит, старый черт опять до него добрался!

— Гм... — пробормотал лесник. — Куда-то подевалась моя записная книжка. Нет ли у тебя клочка бумажки?

Нарушитель порывлся в карманах и вытащил сложенный листик бумаги.

— Спасибо. — Гигант не переставал ухмыляться. — Ну, говори же!

— Что?

— Своё имя и адрес.

— Ах, вот зачем тебе понадобилась бумага! Что же, ты думаешь, я тут делаю? — запротестовал Дэн.

¹ То есть около девятнадцати килограммов (стоун равен приблизительно 6,34 килограмма).

— У меня в кармане сесть, которую я спял с калитки час тому назад. Я понял, что здесь что-то затевается, и со своим другом следил за тобой. Теперь говори свое имя и не валяй дурака.

— Мое имя, — переспросил Дэн, — мое имя? Ну, что ж... меня зовут Пайпер.

— Пайпер — ах, так! Ну, а крестил же тебя когда-нибудь?

— Питер, — злобно произнес Дэн.

— Питер Пайпер? Так ты, значит, пока что подобрал зернышко перца?¹

Снова он начал шарить в своих карманах и нахмурился.

— Ты бы мне одолжил еще карандашик.

Дэн вынул огрызок хитпического карандаша, и лесник, разгладив бумажку на колене, вывел имя «Питер Пайпер».

— И откуда ты?

Он начал всматриваться в лицо несчастного, который ответил:

— Из Лиспингтона.

Дэн назвал деревню, паходившуюся в нескольких милях на запад от его дома.

— Лисингтон? — отозвался тот. — Так ты, верно, знаешь Джона Юстеса?

Джон Юстес был предприимчивый фермер, известный своим богатством.

— Знаю! — воскликнул Дэн. — Это мой дядя.

— Да ну? — Лесник аккуратно сложил листок и положил его в нагрудный карман. — Ну что ж, можешь бежать домой, парень.

Дэн встал на колени и снял ошейник с мертвой собаки. Он очень любил своего пса, который теперь так жалко выглядел. И, стоя па коленях, Дэн внезапно осознал, каким он снова оказался трусом: все сказанное им сию минуту было ложью, глупой ложью, и он еще позволил этому рослому неуклюжему лакею обойтись с ним грубо. На миг рядом с собакой перед его взором смутно возникло осуждающее лицо его маленького сына, и кровь бросилась в голову Дэна.

¹ Игра слов, связанная с английской скороговоркой о Питере Пайпере (piper в переводе означает «перец»).

— Я этим займусь, — сказал лесник, выхватив ошейник из его рук.

— Будь ты проклят! — Дэн вскочил на ноги и вдруг, заорав как одержимый: — Я Дэн Пейви из Тэспера! — прыгнул на лесника с такой яростью, которая потрясла даже этого уравновешенного здоровяка.

— Ты что, что хочешь? — взвизгнул тот, кинувшись к своему ружью. Но Дэн также ухватился за него, и во время их борьбы ружье выстрелило, никого не задев. Дэн выпустил его из рук.

— Боже мой! — взревел лесник. — Так ты меня хотел убить, меня? Из моего же собственного ружья, меня? — Он панес Дэну тяжелый удар прикладом, приговаривая: — Меня? Меня? Меня? — и продолжал наносить удары, пока Дэн, потеряв сознание, не упал, весь в крови, на труп своего пса.

Вскоре из-за деревьев выбежал на помощь второй лесник.

— Пытался убить меня — из моего же ружья — пытался! — объяснил верзила. — Из моего же собственного ружья!

Вдвоем они быстро привели в чувство избитого Пейви и препоручили его полицейскому, который проводил его в тюрьму.

Мировые судьи пашли этот случай серьезным и направили его на рассмотрение суда присяжных. Суд вскоре должен был состояться, его не пришлось долго ждать, и уже к концу ноября приговор Дэну был вынесен. Суд присяжных — учреждение невыносимо унылое, невыносимо формальное, невыносимо нудное, но публичке это, видимо, нравится. Лесник засвидетельствовал под присягой, что Дэн пытался его застрелить, хотя заключенный не признал себя в этом виновным. Однако Дэн не отрицал, что был зачинщиком в ссоре. Присяжные признали его виновным. Что он мог на это возразить? Нечего ему было возразить, но он был совершенно потрясен, когда преподобный Скруп встал и, засвидетельствовав его трезвость, честность, общую хорошую репутацию, обратился к суду с просьбой смягчить приговор, мотивируя это тем, что обвиняемый — человек большой силы характера, копечно, попавший на неправильный путь, немного неудачливый и склонный к безрассудным поступкам.

Просмотрев материалы обвинительного акта, судья заявил:

— Здесь есть документ о том, что подсудимый ранее привлекался к ответственности по делу о ставках на скачках.

— Это было три года тому назад, милорд. С тех пор не было ничего в этом роде, милорд, в этом я убежден, полностью убежден.

Скруп потерял всю свою былую уверенность, он покрылся потом и дрожал. Судейский чиновник наклонился к судье, и они немного посоветовались шепотом, после чего судья обратился к пастору:

— Похоже на то, что обвиняемый до сих пор еще является агентом по ставкам. Он дал фальшивые имя и адрес, которые были записаны лесником на клочке бумаги, полученном от обвиняемого. Вот он: на одной стороне имя Питер Поуп («Пайпер, сэр!»)... Пайпер; а на другой стороне написано следующее: «3 ч. забег. «Красотка», 5 шилл. — выигрыш. Дж. Клопсток». Нет ли среди ваших прихожан кого-нибудь по фамилии Клопсток?

— Клопсток! — пробормотал священник. — Это фамилия моей кухарки.

Что мог на это возразить обвиняемый? Нечего ему было возразить, и его приговорили к двенадцати месяцам тюремного заключения с особо тяжелыми работами.

Итак, Дэна отправили в тюрьму. Он был вынослив, дисциплинирован и не слишком страдал от обычных тюремных лишений. Поведение его было хорошим, и он рассчитывал на досрочное освобождение. Его мать Мег как-то навестила его, одна, но больше не приходила. Тюремный капеллан уделял ему особое внимание. Фамилия капеллана также была Скруп; был он большого роста, родился где-то неподалеку от Оксфорда, и Пейви узнал, что он приходился сродни тэсперскому пастору.

Пришел Новый год, затем февраль, затем март, и Дэну предоставили кое-какие привилегии. Его пение в тюремной церкви имело успех, и теперь время от времени ему разрешали петь для заключенных. Наступил апрель, затем май, и тут его сын Мартин утонул, когда произошел несчастный случай с лодкой на озере в

парке, где тэсперским детям устроили воскресную прогулку. Узнав об этом, Пейви без сил опустился на пол тюремной камеры. Смотрители подняли его и посадили, но ничем не смогли ему помочь: он был совершенно онемелен и не мог произнести ни одного слова. Его перевели в больничный корпус.

— Этот человек испытал большое потрясение и поэтому лишился дара речи, — сказал врач.

На следующий день Дэну стало лучше, но он все еще не мог говорить. Он ходил по палате, помогая ухаживать за больными, пемой, как колода; он даже не мог плакать, и лишь какое-то подобие веселой песенки назойливо вертелось в его онемевшем мозгу:

Было озеро средь парка,
А на озере том лодка,
И сидел в той лодке мальчик.

Час за часом глупый мотив сверлил его сознание. Возможно, что он спас Дэна от безумия, но не вернул ему речи: он остался немым, немым... И тут он вспомнил про человека, который сначала оглох, а потом ослеп, — Скуп также его знал, это был тот самый человек, который богохульствовал.

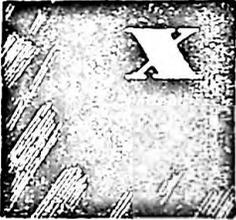
Было озеро средь парка,
А на озере том лодка,
И сидел в той лодке мальчик.

В день похорон Пейви увидел во сне, что его выпустили из тюрьмы; ему пригрезилось, что кто-то его пожалел и отпустил на час-два, чтобы похоронить умершего сына. Казалось ему, что он явился в Тэспер, когда церемония уже началась и гроб был в церкви. Пейви встал на колени рядом со своей матерью. Пастор произнес слова церковной службы, гроб с телом ребенка опустили в могилу. Погруженный в сновидение, немой Пейви отвернулся... День был слишком яркий для смерти, лучшего дня нельзя было и представить. Ветер, казалось, плавно струился, колебля цветущую сирень. Белое перышко, которое голубь сронил на церковную крышу, кружилось подобно бабочке. «Мы приносим тебе от самого сердца благодарность за то, что ты соизволил избавить этого брата нашего от бедствий этого греховного мира», — произносил пастор. Под конец Пейви поцеловал мать и увидел самого себя

возвращающимся в тюрьму. Он шел полевыми тропинками к железнодорожной станции. Земля начинала пересыхать, пужен был дождь — он это отчетливо мог рассмотреть, — а потом все вокруг начало разрастаться, хлеба поднялись буйной зеленью, сладко пахли поля, засеянные бобами. Заросли сурепки с желтыми цветами и побеги дикой белой моркови тянулись вдоль изгородей. Скот дремал в траве; жеребенок, оставленный без присмотра, лениво потягивался возле своей матери. Жаворонки, крапивники, овсянки... Были там высокие буковые деревья и высокие холмы, спокойные и безмятежные, поднимающиеся над Кобзом и Питером, Тэспером и Трипклом, Базлбери и Напкеном. Он увидел, что пришло лето; и он вернулся в свою тюрьму.

«Смелым быть ни к чему, — подумал он, — мы подобны траве под ногами; былнику, которая хоть чуточку возвысится над остальными, сразу же подстригут. На этом свете бедняку не пристало быть гордым, ему надо только уметь каяться».

Было озеро среди парка,
А на озере том лодка,
И сидел в той лодке мальчик.



олодным апрельским вечером крылат двуколка скупщика катила по Шеггской пустоши. На ее дощатом верхе было выведено «Х. Уитлоу. Птица и яйца. Динноп». Лошадевка, хотя и добрых кровей, имела невзрачный вид. Шеггская пустошь — обширный выгон — высокое поле, густо поросшее дроком и папоротником, раскинулось миль на две из конца в конец. Ни дерева, ни дома, только телеграфные столбы стояли ровным строем вдоль шедшей с севера на юг дороги. На одном из них, словно открытая рана, алело прибитое гвоздями объявление, запрещающее швырять в столбы камни. На таком высоком и открытом месте, как Шеггская пустошь, всегда гуляют ветры и даже в полное затишье тянет холодом. В любую погоду дрок рос и зеленел, порою даже золотился. Летом здесь царяла дремотная пстома, в остальное время года пустошь выглядела мрачной и унылой.

Скупщики — обычно народ неприглядный и хитрый, они стары и прижимисты, практичны и бессердечны. Харви Уитлоу, хоть и был себе на уме, обладал приятной внешностью; он был прижимист, но отнюдь не стар, практичен, но не бессердечен. Если у вас в хозяйстве завелся лишний десяток яиц, он забирал и десяток, и два, и целую сотню. Не брезговал он и другим товаром, за все платя звонкой монетой: тут сторгует мешок яблок, там прихватит на рынок поросенка, сюда доставит партию саженцев из питомника.

Но сейчас, весной, куры неслись плохо, торговля шла туго — ой, как туго! — и, тащась по пустоши, Харви невольно обсуждал сам с собой бедственное свое положение.

— Коли ничего не изменится, то есть, разумеется, к лучшему, да притом поскорее, мне конец. Не выдержу, разорюсь в пух и прах. Придется все продать. И теб, — Харви ткнул концом кнутовища в лошадевку, —

и тебя, — сказал он, помедлив, и ударил по передку повозки. — Пойду снова ковыряться в земле. Ухнули мои пятьдесят фунтов! А все война! Все война, сэр! — с горечью заявил он, обращаясь к безлюдной пустоши. — Право, на войне мне было лучше. И когда батрачил у фермеров — тоже лучше. А, да что зря языком-то молоть! Уж такова жизнь! Не успеешь осмотреться, как пора заказывать себе гроб. А ну, шагай, Хитрюга.

Лошаденка прибавила было шагу, но не надолго.

— Вот так-то, — вздохнул Харви, убеждая порыв ветра, — не успеешь осмотреться, как пора заказывать гроб. А ну, шагай.

Хитрюга снова не надолго прибавила шагу.

— А тут еще Софи. Как мне теперь с ней быть?

Он не был помолвлен с Софи Доз как положено, просто они часто встречались. Нет, он не давал ей слова и не делал предложения, просто они встречались. Но Софи, и он это знал, не только была не прочь выйти за него замуж, но твердо рассчитывала, что он женится на ней, и скоро женится. И ее родители тоже так считали, и все ее подружки, и вообще вся деревня, включая почтальона, который, к великому своему сожалению, в ней не жил, и священника, который, к великому своему сожалению, в ней жил.

— Н-да, разорюсь в пух и прах, до нитки, если не выйдет в делах поворот. Да не когда-нибудь, а сейчас. А так что зря языком-то молоть.

И тут действительно в судьбе его произошел поворот. Харви впервые ехал по Шеггской пустоши — решил поискать новых клиентов. В конце поля, ярдах в пятидесяти от дороги, он увидел ферму — аккуратный квадратный домик с двором и угодьями. А кров так двадцать на глаз. Дом был онаясан белым частоколом. Рядом, за изгородью из цветущего терна, — хорошо ухоженный фруктовый сад. Перед домом чистенькая ровная лужайка, на которой паслось несколько овец, а под изгородью, укрывшись от ветра, лежали ягнята. Но что больше всего поразило воображение Харви Уитлоу — раскинувшееся за домом поле. В дальнем углу его, на гумне, желтело несколько небольших скирд. Все здесь было небольшое, но ладное, ухоженное. А по полю и по гумну разбрелись куры — сотни кур, породистые и почти все белые.

Предоставив лошади полную возможность наслаждаться видом зеленой лужайки и запахом травы, скупщик толкнул белую вертушку и направился к заднему крыльцу. Проходя двором, он обратил внимание на желтую повозку с черной надписью «Элизабет Сэдгров, Прэгл Конер».

На пороге его встретила высокая сухощавая женщина лет пятидесяти. В руках она держала чайник.

— Добрый вечер, мэ. Нет ли чего продать? — сразу же приступил он к делу, доверительно-вежливым жестом приподымая шляпу. Женщина была одета очень опрятно. Видимо, не из простых. Седая.

Она внимательно разглядывала его не отвечая.

— Холодно нынче, — попытался он завязать разговор.

Она продолжала непонимающе смотреть на него. Словно мышь на могильную плиту.

— Любой товар беру. Все, опричь лиха. Его и так хватает. Яиц нет ли? Птицы?

— Что-то я вас не припомню, — ровным хрипловатым голосом сказала миссис Сэдгров.

— А я впервые в ваших краях. Откровенно говоря, мэ, я и вообще-то недавно этим промышляю. С полгода. В прошлом году я еще воевал. Вот, ищу новых клиентов. Трудная работенка. Нечем разжиться.

Миссис Сэдгров сняла крышку с чайника, заглянула в него и закрыла с таким видом, словно увидела таракана.

— Вот так-то, — вздохнул скупщик. — А славная у вас ферма, мэ. Маленькая, но славная.

— Мне хватает, — сухо заметила хозяйка.

— Конечно, хватает. Только одиноко, поди.

— Вести хозяйство — тоже нелегкая работенка, — чуть улыбнулась миссис Сэдгров.

— Да, уж конечно, мэ, нелегкая. Но вы, как я погляжу, справляетесь на славу. Вон какие у вас скирды справные. Я, знаете, в своем деле тоже не промах, только больно оно хлопотное, а доходов никаких. Лошаденке на подковы и то не зарабатываешь.

— Пожалуй, я продам вам яиц, — сказала миссис Сэдгров.

— Я взял бы с полсотни, коль уступите.

— Если я и продам, то по своей цене.

— Что ж, говорите, сколько. Поторгуюсь, коли не гнушается.

— Гнушаюсь? Деньги — всегда деньги. Что мои, что ваши.

— Верно, мэм. А я ничего и не говорю, — поспешил согласиться скупщик, и хозяйка пригласила его в дом.

Каменный пол был устлан дорожками; в открытом очаге полыхали дрова; в большом, выкрашенном в коричневый цвет поставце на медных крюках висели кружки, а на полках, палезая друг на друга, словно рыба чешуя, блестели тарелки. Темный ларь закрывал уходящую вверх лестницу, ведущую к маленькой дверке. В углублении под окном черная лежаночка словно манила присесть. А посреди комнаты стоял большой, добела выскобленный стол; на одном конце его было накрыто к чаю. Очевидно, кухня служила одновременно столовой. Молоденькая девушка поджаривала на огне тосты. При входе скупщика она обернулась. Какая красавица! Рыжие волосы, кожа цвета орехового ядра, глаза — голубые, руки — как у настоящей леди. Он увидел ее всю сразу — зеленый шерстяной жакет поверх черного платья, серые чулки и туфельки, — и забыл, зачем пришел, забыл про седую женщину, ее мать, про свои пятьдесят фунтов, про Софи. Все мгновенно вылетело из головы. Девушка молча разглядывала его. Он был высок, чисто выбрит, черный завиток задорно спадал на лоб.

— Добрый вечер, — сказал Харви Уитлоу таким тихим голосом, каким говорил в церкви.

— Это за яйцами, Мэри, — пояснила миссис Сэдгров.

Девушка отложила длинный прут для поджаривания хлеба. Она была чуть пониже миссис Сэдгров и не слишком на нее похожа, ровно настолько, чтобы заметить семейное сходство. Не произнеся ни слова, она прошла в другой конец кухни и отворила дверь в кладовую. Там на скамье в двух больших кринках квасились сливки, а на соломенной подстилке стояли большие корзины с яйцами.

— Сколько здесь? — спросила миссис Сэдгров, и девушка ответила:

— Сотни три, кажется.

— Вы все возьмете?

— Да, мэм, — поспешно отозвался Харви и кинулся к повозке за ящпками. Потом они вынимали яйца из корзины и клали в ящики — девушка подавала, а он укладывал. Миссис Сэдгров вышла, оставив их вдвоем. Сначала скупщик молчал.

— Нет, по этой дороге, — пробормотал он, словно про себя, — по этой дороге я еще не ездил.

Мэри молчала. Несколько раз пальцы их встречались, и раз или два, когда оба они нагибались над корзинами, ее рыжие кудри были так близко от лица Харви, что почти задевали его.

— Ну и глухо у вас здесь, — снова попытался он завести разговор.

— Да, — сказала Мэри Сэдгров.

Когда все яйца перекочевали в ящики, появилась мать Мэри.

— Не возьмете ли несколько кур, скупщик?

— Хоть тысячу, мэм, — выпалп Харви. Хоть тысячу! Черт возьми, кажется ему действительно улыбнулось счастье! Он последовал за женщиной во двор. Она ушла, а он остался ждать. Харви стоял у крыльца, думая о девушке и о неожиданной удачной сделке. Предложи они сейчас ему десять тысяч кур, он взял бы все до одной. В лепешку расшибся бы, но взял! Девушка оставалась на кухне. Она была там, в доме, за его спиной, в нескольких шагах от него. За низкой оградой, отделяющей двор от ярко-зеленого ковра лужайки, откормленный черный поп щипал траву. Во дворе, не спуская с Харви глаз, застыл молодой гусак. Он стоял у каменной колоды, на которой вверх окочевевшими лапками лежал мертвый дрозд. Девушка все еще была на кухне. Она ходила там взад и вперед — Харви слышал ее шаги. Может быть, она подсматривает за ним в окно. Будь у миссис Сэдгров двадцать миллионов яиц, он скупил бы их все. Как она долго! Во дворе стояла мертвая тишина. Гусак принялся чистить клювом белые перышки на груди. Его трехпалая нежно-розовая лапа по форме напоминала большой трехгранный алмаз, на конце каждой грани которого приделан коготок — маленький очищенный орешек. Гусак поднял ногу и, сомкнув пальцы, спрятал ее под крыло. Стоя на одной ноге, он погрузился в раздумье. Его вытаращенный голубой глаз смиренно смотрел на мир, —

конечно, у него было два глаза, но Харви мог видеть только один — смиренный голубой глаз в розовой оправе, придававшей ему этакое распутное выражение, а в клюве атели хищные влажные поздри, словно у гусака был насморк. Красивая птица. Чем-то она напоминала миссис Сэдгров.

— Не уступите ли и этого щеголя, мэм? — спросил Харви у миссис Сэдгров, когда та вернулась.

Да, она продаст гусака и две дюжины молодых. Харви загнал птицу в клетку.

— Пошли, пошли, — утихомиривал он отчаянно отбивающегося гусака, крепко сжимая его в объятьях. — Не бо-ось. До субботы не трону.

Он опутал веревкой лапу гусаку и привязал его к крюку внутри повозки. Затем достал кошелек и расплатился с миссис Сэдгров.

— Будьте здоровы, мэм! Будьте здоровы, — прощался он, отъезжая. Мэри он так больше и не увидел в тот день.

— А ну, шагай, Хитрюга! Шагай, тебе говорят!

И они покатили домой. Через час на Дэниел Гринз показалась первая вежа — мельница, которая давно уже не махала крыльями, хотя с виду была вполне исправным архитектурным сооружением. Повозка подъезжала к Диннопу.

Несколькими минутами позже Харви был уже у своих ворот. Не успев еще въехать во двор, он принялся подтрунивать над матерью — добродушной полногрудой матроной. Обычно она сидела дома, скупая снесь и живность у всех, кому случалась нужда продать. Искусством торговаться она, пожалуй, владела лучше сына, и попасть к ней в лапы считалось большой бедой.

— И сколько же ты дала за этого заморыша? — вскричал Харви, уставившись с наигранным презрением на пекую живность — типичное «ни рыба ни мясо», запертую в клеть.

— С ума сойти! — заявил он, когда мать сообщила ему цену. — Ты же меня по миру пустишь!

— Что ты говоришь! — кипятилась та. — Курица отменная. Голову даю на отсечение, что она через месяц начнет нестись.

— Эта? Да разве это курица? — куражился Хар-
вп. — Один клюв чего стоит. Ты меня разоришь! В пух
и прах разоришь.

Возмущенная миссис Уитлоу повысила голос.

— Ладно, — успокоил ее сын. — Может быть, она
и впрямь ничего. Конечно, не совсем то, что надо, но
и не так плоха, чтобы из-за этого подымать крик.
Ты же знаешь, какой я придира. Ну, а если уж хо-
чешь взглянуть на настоящих кур, — продолжал он
хвастливо, вытаскивая из повозки клетку со сбивши-
мися в груды молодками, — так вот это куры! И еще
гусак! Я сторговал тебе гусака. Всем гусакам
гусак!

Выгрузив птицу, он поехал дальше, на постоянный
двор, где держал лошадей и двуколку — собственной ко-
нюшни у него не было. После ужина он рассказал ма-
тери о Сэдгровах и их ферме.

— Дочка такая красотка, какой ты сроду не види-
вала. Только тихопя, страшная тихопя. Волосы — что
шерстка у белки. Очень миленькая.

— Ты, кажется, собирался зайти сегодня к Софи? —
спросила мать, зажигая лампу.

— А, бог мой! Совсем из головы воп! Устал я. Не
пойду. Подождет до завтра.

2

Миссис Сэдгров вдовела уже десять лет, но на долю
свою отнюдь не плакалась. Хозяйничать на ферме, ко-
торая была ее собственностью, ей помогали сухонький
старичок и рослый парень. Чем старше становился дед,
тем меньше она платила ему (соседи недаром называли
ее жилой) и тем усерднее он на нее работал. Чем
старше становился парень, тем меньше он работал и
тем больше сквернословил. Дела у миссис Сэдгров шли
превосходно. И дочку свою Мэри, само собой попятно,
она воспитала как настоящую леди. До семнадцати лет
Мэри обучалась в пансионе вместе с благородными де-
вицами. Худо ли, хорошо ли, но что посеяно, то и
взойдет — Мэри была не работница на ферме. Такое
воспитание только избаловало ее и отохотило от кре-
стьянской работы. А зря, потому что ферма рано или

поздно должна была достаться Мэри, а она и сена от соломы не умела отличить.

Все это, как и многое другое, Харви тотчас же узнал от соседней, а кое о чем догадался и сам. Теперь торговля его пошла бойко, он уже не приходил в отчаяние: под ногами была твердая почва, и он уверенно смотрел вперед, не боясь того, что принесет ему завтрашний день. Каждую неделю, а то и дважды на неделе, он появлялся на ферме, и хотя для этих посещений всегда имелся весьма серьезный деловой повод, они мало-помалу стали менее официальны как по характеру, так и по тону.

— Чашку чаю, скупщик? — деловито предлагала миссис Сэдгров, и он оставался пить чай и беседовал с нею когда по полчаса, а когда и по часу о птицеводстве, о сбруе, о рыночных ценах, о том, как ухаживать за свиноматками и как лучше вести дом и хозяйство. Мэри обычно тоже сидела за столом и молчала. Она почти никогда не говорила с Харви, но он чувствовал ее теплоту, расположение к себе, интерес, заглушенную чрезмерной скромностью, робостью, пугливостью, что ли, которые ни он, ни она не умели, да и не имели случая превозмочь.

Однажды он, как всегда, остановился у белого частокола. Стоял тихий майский вечер. Солнце садилось. Неумолчно щебетали зяблики и крапивники. Мэри, закутанная с головы до ног, была в саду. Он видел ее из-за изгороди: в одной руке она держала черпак, в другой — роевник. Пчелиный рой, словно большой парост, сидел на яблоне. Ветви ее были густо усыпаны белым цветом. Мэри сделала несколько робких попыток собрать пчел в роевник, но из этого ничего не получилось.

— Они знают, что вы их боитесь! — крикнул ей Харви. — Давайте-ка я вам помогу.

Он взял у нее из рук черпак и роевник. Она стояла растерянная, беспомощная, с таким видом, будто судьба наконец избавила ее от непопятной и непосильной задачи. Но ему правилась эта робость, эта почти неуклюжая неподвижность.

— Да пустяки, — сказал он, наблюдая, как она поправляет шаль, стряхивая на землю застрявшие в ней белые лепестки. — Пчелы жалят больно, но мне уж

столько раз от них доставалось, что я теперь вроде как привитый. Они понимают, что вы их боитесь.

Прямо как был, без сетки, без перчаток, Харви решительно шагнул к яблоне и без всяких злоключений огреб рой в роевник.

— Нельзя показывать, что боишься, — заявил он. — Ни пчелам, ни кому другому, — добавил он смеясь.

Она покраспела и, чуть слышно поблагодарив, прямо взглянула на него ясными глазами.

И так всегда — Мэри краснела, говорила «спасибо», и все. Сколько раз, когда миссис Сэдгров оставляла их вдвоем на крыльце или на кухне, Харви пытался втянуть девушку в разговор, шуточный или деловой, поговорить о жизни, о том, о сем... Тщетно. Мэри смущенно отвечала «да» или «нет». И все. Чего она робела? Харви не раз задавал себе этот вопрос. Может, с ней и впрямь что-то не так? На вид все как будто в полном порядке — цветущая, красивая девушка. Может, она не желает снзойти до него? Наверяд ли. Потому что хоть в его присутствии она и терялась — у нее пропадал голос, глаза смотрели испуганно, все же он чувствовал, что она расположена к нему. И он то и дело заводил со своей матерью разговор о Мэри и миссис Сэдгров.

— Они, видать, люди состоятельные, очень состоятельные. Денег много, а тратить не на что. Ферма собственная, аренду платить не надо. И потом, у нее, говорят, еще есть земля в Смортон Комфри, хорошие наделы, и она выгодно их сдает. У нее, надо думать, хозяйства на несколько тысяч. А Мэри эта самая — красавица. Она мне сразу приглянулась. Только больно уж образованная. И потом, Софи...

Миссис Уитлоу предпочитала не понимать эти загадочные речи и свое мнение хранила про себя. Сердце матери непостыжимо, особенно для сына.

Как-то он закупил у миссис Сэдгров урожай с нескольких вишен на корню и в июле поехал снимать ягоду. Мэри чинно прогуливалась по саду с колотушкой, отгоняя птиц. Харви постоял у калитки, наблюдая за ней. Она медленно шла под усыпанными рубиповой ягодой деревьями и с безразличным видом, словно отбивая такт печальной песни, слышной ей одной, вертела колотушкой. Как она ему нравилась! Он вошел в сад, поздоровался и, приставив лесенку к одной из

вишен, принялся снимать ягоду. Мэри, в легком белом платье, грациозно ступала по тенистой аллее, вертя колотушкой. Солнце и небо были такими яркими, что болели глаза. Нежный ветерок играл поникшей листвою. Харви сбросил куртку; рубашка на нем была белая, чистая. Завиток темных волос спадал на лоб; лицо — приятное, загорелое; обнаженные руки — загорелые, сильные. Прямостояв среди листвы, он смотрел, как Мэри, совершая свой обход, приближается к нему. При ее появлении хитрые птицы рассыпались в разные стороны, но стоило ей отойти, и они тотчас вновь облепляли дерево. Его сердце переполняла любовь к ней, а она с ним ни разу даже не заговорила. Она шла по тенистой аллейке мимо темных деревьев, которые склоняли свои кроны, приветствуя ее, затем выходила на открытое место, и блеск солнечных лучей одевал золотом ее цветущую красоту. До чего хороша! До чего хороша! Но всякий раз, когда она оказывалась рядом с ним, мысли его разбегались, язык отказывался служить. Только глаза не переставали следовать за ней, пока она не скрывалась в глубине сада. И тогда он, стоя на лесенке, прислонялся к дереву и тупо смотрел в землю, ничего не видя, кроме юркой полевой мышки, которая, ухитрившись вскарабкаться на вершину живой изгороди и отгрызть большой сочный лист, теперь спускалась, держа добычу в зубах. Иногда Мэри присаживалась отдохнуть в другом конце аллеи; колотушка умолкала, и девушка долго не появлялась, как ему казалось — часами! Ни разу она не присела под теми деревьями, с которых Уитлоу снимал вишню. Мышка сновала вверх-вниз, Уитлоу наполнял корзину за корзиной, переходил с одного дерева на другое и думал.

В полдень он спустился с лесенки и расположился на траве перекусить. Мэри ушла завтракать в дом; некоторое время он оставался в саду один. Как это ни странно, мысли его были заняты Софи Доз. Софи тоже славная девушка. Конечно, не такая образованная, как Мэри Сэдгров — где ей! Отец у нее простой лесник. Зато веселая и в теле. Последнее время она все пилит его — говорит, будто он стал к ней невнимательный. Вот уж неправда! Ведь у него дел по горло. К тому же они как-никак не муж и жена и не жепих с несветой, и жениться у него пока нет никакой возможности.

У Софи за душой ни гроша нет и никогда не будет. И куда только она девает свое жалованье — она же служит горничной. Вот уж пила! Еще немного поворчав про себя, Харви вслух сказал: «Ладно!». Больше он ничего не сказал и уже не думал о Софи, потому что в дальнем углу сада застучала колотушка. Он снова припаялся за работу. Под деревом стоял уже целый ряд корзин с вишней и еще столько же пустых.

— Ну и печет, — заметил скупщик, — не то что во рту — все внутри пересохло.

Несколько вишен скатилось из корзины на землю. Хлопотунья мышка подобрала их и теперь старательно обкусывала сочную мякоть. Скупщик вдруг, сам не зная зачем, наступил на зверька и несколько минут поддерживал на нем ногу. Затем взглянул на мертвую мышку. Комок спутанных кишок вывалился из усатого рыльца.

Он снова принялся снимать вишни, а колотушка все стучала и стучала — в саду было много вишневых деревьев, урожай с них был продан на корню разным покупателям и все они ждали своей очереди. К четырем часам Харви кончил. За все время работы в саду он не сказал Мэри ни слова, и она ни слова не сказала ему. Он пошел в дом расплатиться с миссис Сэдгров, Мэри осталась в саду отпугивать птиц.

— Выпейте чашку чаю, Уитлоу, — сказала миссис Сэдгров и вдруг спросила:

— А где Мэри?

— Сгоняет с вишен птиц и, надо думать, порядком устала от такой работенки, мэм.

Миссис Сэдгров налила три чашки чая.

— Сходить за ней? — спросил Харви, вставая.

— Пожалуйста, — ответила миссис Сэдгров.

Колотушка уже не стучала. Харви прошел по дорожкам, походил под деревьями — Мэри нигде не было, ни на пустоши, ни на дворе. Он вернулся в дом, и она оказалась там; сидя за столом, она весело болтала с матерью, но как только он подсел к ним, замолчала и даже не сказала ему обычных приветственных слов. Выпив чай, он сразу же встал и пошел грузить корзины в повозку. Он уже забрался на передок и натянул поводья, когда миссис Сэдгров вышла проводить его.

— Уезжаете? — спросила она, встав рядом с лошадью.

— Да, мэм. Все погружено. Очень вам благодарен.

Она окинула взглядом дорогу, по которой ему предстояло ехать. Воздух был прозрачен, как вино, лужайка слепила зеленью, Шеггская пустошь уходила далеко-далеко, горбясь кустами желтого дрока и чернея лентой телеграфных столбов. Безлюдная, безжизненная. Харви сидел на передке и задумчиво тербил бока лошади концом кнутовища.

— Вы ездите сюда по воскресеньям? — спросила женщина, пристально смотря на него.

— Нет, как-то не приходилось. Нет, мэм, — ответил он.

Вдова положила руку на круп лошади, ласково похлопала ее. Лошадь подняла уши, словно прислушиваясь.

— Ну, если будете в наших краях, непременно заходите пообедать.

— С удовольствием, мэм, с удовольствием.

— Может быть, в следующее воскресенье, — пригласила она.

— С удовольствием, мэм, непременно, с удовольствием, — повторял он. — Очень вам благодарен.

— В час? — улыбнулась ему вдова.

— В час, мэм. В воскресенье, — закивал Харви. — Непременно приеду. Очень вам благодарен.

Миссис Сэдгров отступила в сторону и помахала ему рукой.

«Черт меня подери, если я не зацеплюсь тут, Софи», — была первая, еще неясная мысль, мелькнувшая в мозгу скупщика, когда он уже катил по пустоши.

Ликуя в душе, но с безразличным видом рассказывал он матери о приглашении миссис Сэдгров:

— «Заходите», говорит. «Непременно, — отвечаю, — зайду как-нибудь». — «Вот и хорошо, говорит, непременно заходите».

з

В воскресенье утром Харви оделся попаряднее. День снова выдался превосходный. В церкви зазвонил колокол. Завязывая свой самый пестрый галстук, Харви наблюдал из окна, как соседские дети играют в саду.

Мальчик и девочка, по-праздничному одетые, держали в руках молитвенники. Мальчик поставил сестренку у куриного насеста и, открыв книгу, принялся прохаживаться взад и вперед, скапдируя резким голосом: «Иисус, пастырь наш. Бейте в колокол! О отец наш небесный! Бейте в колокол! Спаси нас и помилуй! Аминь! Бейте в колокол!». Девочка благоправно склонила головку над молитвенником. Затем мальчишка поднял с земли собачью миску с остатками пищи и подошел с нею сначала к кусту сирени, потом к кролику, запертому в клетке, потом к топору, оставленному в колоде, и, наконец, к сестренке. Не подымая глаз от книги, она смиренно бросила в тарелку два камешка, и мальчик, что-то бормоча про себя, продолжил свой обход, поднеся миску бельевому столбу и петуху, возившемуся в пыли.

— Ах, богохульники! — засмеялся Харви Уитлоу. — Эй, Тоби! Маргарет! — крикнул он в окно и, вынув из кармана два пенни, пхвырнул их детям, явно удивленным такой щедростью. Когда они подбирали монетки, Харви слышал, как сосед Натац, их отец, сердито окликнул их из кухни:

— А ну домой! И прихлопните хорошенько дверь. Слышите, что вам говорят?!

Несколько минут позднее Харви, заложив свою капризную лошадедку в двуколку, уже катил по Шеггской пустоши, громко распевая. В петлице у него аела роза. Миссис Сэдгров встретила его прямо-таки ласково. Мэри же дичилась больше обычного. Но Харви решил сломить лед. За обедом он пустил в ход весь запас своего деревенского остроумия, стараясь вести приятную беседу, не выходя при этом за рамки вежливого и уважительного тона. Мэри была сама Робость — статуя, только не на пьедестале, а скорее на лошадке-качалке, — тихая, пугливая. Мать даже не пыталась расшевелить ее, усилия же скупщика оставались тщетны. Потом они пошли в хлев посмотреть свиней.

— Когда я был на войне... — начал Харви, нагибаясь над загородкой, чтобы похлопать ее унылых обитателей.

— А вы были на войне? — заинтересовалась миссис Сэдгров.

— Да, пришлось. Так вот, там я видел свинью... Страшно ли на войне? Ну, как вам сказать... Конечно, страшно. Только ведь никогда не знаешь, где тебя ждет смерть и что с тобой будет завтра. Дамокелев меч, как говорится. Раз пуля просвистела у самой моей головы, пробив доску в дюйм толщиной. — Обе женщины сочувственно смотрели на него. — Могло и убить, — продолжал Харви, задумчиво скосив глаза на флюгер, подымавшийся над амбаром. — Во Франции, когда мы стояли в Сен-Гратьепе, прибегает к нам однажды ихний егерь, гусар то есть, и заводит разговор с нашим сержантом. А сержантом у нас был Хьюберт Люкстер, мясник. Тот самый, что месяца два назад помер от кори. Так вот, гусар этот совсем не знал по-английски, и мы никак не могли разобрать, что он такое говорит. Я так и не научился по-ихнему, а другие наши парни — нас там было шестеро — тоже ни в зуб ногой. «*Nil comprée, говорим, поп comprés*». Я ему прямо сказал: «Тебе, парень, надо выучиться по-английски. Куда лучше, чем болботать на твоём дурацком наречии». А он все тарактит и тарактит, словно у него во рту не язык, а пулемет. Потом как выпалит: «*Fusee-bang!*», а потом еще «*cushion*», и все повторяет это «*cushion*». Схватил кусок мела и давай рисовать на стенке что-то вроде огромной собаки, и опять за свое «*cushion*».

— «Сви́пья», — тихо вставила Мэри.

— Верно! — обрадовался Харви. — Сви́нья. А вы знаете по-французски?

— Как же! Мэри превосходно говорит по-французски, — сообщила миссис Сэдгров.

— Вот как? — вздохнул скупщик. — А вот я нет, даром что жил во Франции. Мне чужой язык ничем не одолеть, проси не проси. Вы его, наверно, в пансионе учили? Ну так вот, этому гусару понадобилась моя виштовка. А разве я могу дать виштовку? А он стоит и тычет пальцем в образину, которую нарисовал, и в собственную голову, а потом закатывает глаза — прямо смотреть тошно. «Рехнулся?» — спрашиваю. Так оно и было, именно так. У него, видите ли, на ферме взбесилась свинья, так он хотел, чтобы мы пошли и пристрелили ее. Сам он был в отпуске, без оружия. Тогда Хью Люкстер говорит: «Пошли, что ли, ребята!». Ну

мы все и отправились с гусаром пристрелить свинью. Вот это была свинья так свинья! Даже при последнем издыхании подскочила и перевернулась в воздухе, словно кролик. А взбесилась она от чесотки. Ну и бесновалась же она! Ничего подобного я ни раньше, ни после не видывал. Вертится волчком и, не переставая, брыкается. Сначала мы никак не могли в нее попасть. «Изготовься! Внимание! Пли!» — командует Люкстер. Трах — мы все шестеро даем залп... и мажем, а она за нами. Мы врассыпную. Вот была потеха!

Харви поднял глаза и увидел, что девушка смотрит на него. Встретив его взгляд, она тотчас потупилась и, повернувшись, пошла к дому.

— Хотите, я покажу вам наши луга? — предложила миссис Сэдгров.

Они свернули на мягкую ровную лужайку, на которой пасся черный пони. Ярко зеленела трава, спелое небо. Харви понюхал розу в петлице и решил: если подвернется случай, он — будь что будет — преподнесет ее Мэри. И как раз в эту минуту, когда они медленно шли по ровному зеленому ковру, миссис Сэдгров вдруг спросила:

— У вас есть девушка?

— Простите, мэм? — растерялся он.

— Я спрашиваю, есть ли у вас кто на примете, — сказала она намеренно деловито.

Харви по-дурацки ослабилась и, помедлив, ответил:

— Нет, нету.

— Я хотела бы выдать мою дочь замуж, — продолжала вдова очень серьезно и значительно.

— Мисс Мэри? — воскликнул он.

— Да, — сказала она.

У скупщика кровь застучала в жилах. Сердце забилось, как птица в клетке. Казалось, оно вот-вот выскочит из груди.

— Я не могу жить вечно, — сказала миссис Сэдгров чуть ли не с вызывающей беспечностью. — Я знаю, мне недолго осталось, и хотелось бы еще при жизни пристроить Мэри за порядочного, сердечного человека, который сумел бы вести хозяйство и не пустил все по ветру.

— Но... но... — запинаясь, проговорил «сердечный человек», — я ведь даже не больно-то грамотный, а

она — леди. Я беден, и ничему не учен, мэм. Подумайте только...

— Это все неважно, — прервала его миссис Сэдгров, — нам совсем другое нужно. Ученость хороша на своем месте, а для земли...

— Что правда, то правда, мэм, но...

— Я хочу, чтобы она устроила свою судьбу. Кстати, эта ферма с угодьями и всем хозяйством стоит добрых три тысячи фунтов.

— Вам нужен хозяин на ферме, миссис Сэдгров, я так понимаю. Но ведь речь идет о женитьбе... А дочка ваша образованная, по-французски говорит и все такое!

— Разумная женщина всегда предпочтет настоящего мужчину пустомеле, набитому всякой ерундой. Образование — вещь неплохая, конечно, но на него нужно много денег.

— Много, очень много. Значит, вы хотите пристроить ее?

— Да, выдать замуж за хорошего человека. Когда ей исполнит двадцать пять, у нее и собственный капитал будет — пятьсот фунтов.

Скупщик не знал, что сказать. Смущенный, он хмыкал и дакал, словно ему предлагали живность сомнительного достоинства.

— Сколько ей лет, мэм? — выдавил он наконец.

— Скоро двадцать два. Здоровье у нее отличное. Я и фунта не потратила на докторов. Она застенчивая, очень застенчивая, но очень разумная. И с характером, хотя сразу и не подумаешь.

— Мэри — славная девушка, миссис Сэдгров, и очень мне нравится, прямо вам скажу, без утайки, очень нравится, очень.

— Что ж, подумайте. Я не стану торопить вас с ответом, подумайте, посмотрите. Время, слава богу, терпит.

— Мне долго раздумывать нечего, мэм, — заявил он улыбаясь. — Только, по чести, вряд ли я тот человек, который ей нужен.

— Поживем — увидим, — сказала вдова, думая о чем-то своем. — Боюсь, мне недолго осталось.

— Упаси господь, мэм! — Он постарался придать восклицанию подобающую случаю торжественность.

— Нет, я не жилища на этом свете. — Она спокойно и внимательно смотрела на него, и он выдержал ее взгляд. У нее было длинное болезненно-желтое лицо с тяжелым ртом. Иногда, словно опасаясь, как бы он не окаменел, она растягивала его в улыбку, выставляя блестящие зубы, при этом губы, округляясь, казались полнее, но были не красными, а синеватыми. Харви искал признаков близкой смерти на этом худом лице. Пожалуй, она и впрямь скоро умрет.

— Так вы подумаете о моем предложении? — Она как-то странно ухмыльнулась, разглядывая его.

— Дурак я буду, если не подумаю, миссис Сэдгров, — весело отозвался он.

На том и порешил. Ему не было нужды торопиться домой, но почему-то, он и сам не мог бы объяснить почему, он вдруг заторопился. Катя по пустоши и оглядываясь на одишкую ферму, утопавшую в зарослях дрока, сонно поникшего от жары, он вспомнил, что так и не спросил, хочет ли Мэри выйти за него замуж. Может быть, вдова считает, что это само собой разумеется. Хорошо, если бы так, иначе, черт возьми, как приступить к девушке, которая за все время не сказала ему и десятка слов. И никогда не скажет. Она же леди, богачка, но-французски говорит. И вот, подумать только, ее собственная мать просит его жепиться на ней. Странно! Очень странно! Он смутно чувствовал, что ему следует тут чего-то опасаться, но чего, он и сам не знал. Красная роза по-прежнему алела у него в петлице.

4

Сначала мать не поверила ему. Когда он рассказал ей об удивительном предложении миссис Сэдгров, она заявила, что сын ее разыгрывает. Но потом, убедившись, что он не шутит, еще больше удивилась его нерешительности. И даже рассердилась.

— Что она, порченная, эта Мэри, что ли?

— Нет! Что ты! Просто тихая, очень тихая, скажу я тебе, но очень славная девушка и красивая. Нет, с нею все в порядке, чиста, как вода, ни огреха, ни изъяна. Но какой-то подвох здесь есть. Только не пойму какой. Дай срок — разберусь. Если бы не это, я

женился бы на ней, честь по чести женился бы. Тут дело не в девушке, а в деньгах, я так понимаю.

— Ну а я, убей меня бог, ничего не понимаю. А насчет Софи как же?

— А, черт... — Харви горестно поскреб в затылке.

— Неужели ты упустишь свое счастье па-за Софи, Харви? Из-за девушки, с которой ты даже не помолвлен?

— Погоди об этом, — остановил ее сын. — Мне еще нужно обо всем хорошенько подумать. А пока придется держать ухо востро, потому что, убей меня бог, какая-то заковыка здесь все-таки есть. Может, с виду и нет, но должна быть.

Прошло несколько дней, а он все колебался, не зная, принять ли заманчивое предложение. Мать приходила в отчаяние от этой непонятной нерешительности.

— Да пойми ты, — кричал он, — я не могу разобраться, в чем тут дело! Девушка мне нравится, но Софи мне тоже нравится, и не могу я оставить ее с носом. Софи мне нравится, она моя девушка, и Мэри мне тоже нравится. Даже если и не правилась бы, такие деньги на дороге не валяются. Три тысячи фунтов! Я сразу стал бы па поги.

И, словно назло матери, словно (как недвусмысленно намекала миссис Уитлоу) мешок с деньгами только для того и положили ему на порог, чтобы он отшвырнул его ногой, короче — словно в пасмешку над провинцем, Харви снова принялся вовсю увиваться за Софи и стал часто бывать у нее, чего раньше никогда и в заводе не было, и гулял с ней куда чаще, чем прежде, и, как горько жаловалась мать, куда чаще, чем требовалось. Неразумное, постыдное, дурацкое поведение, неприличное и небезопасное.

Харви продолжал раз в неделю регулярно заезжать на ферму, но все еще колебался. Миссис Сэдгров по-прежнему напоминала ему об их разговоре; она была по-прежнему приветлива и не преследовала его вопросами или просьбами. И Мэри встречала его так же, как обычно, — в белом платье, рыжеволосая, молчаливая. Девушка, за которой давали такое состояние, ходила по двору или сидела в комнате и даже не смотрела в его сторону. Да если и смотрела, Харви не видел этого — он сам теперь робел перед ней. Миссис Сэдгров часто оставляла

их вдвоем, но, оставшись с глазу на глаз с хорошенькой девушкой, он не мог выжать из себя ни слова и стоял перед ней немой, как статуя. Если бы она или ее мать сделали хоть одно движение в его сторону, все его сомнения и подозрения тотчас испарились бы, потому что в присутствии Мэри он не мог устоять перед ее удивительной красотой: ему по-прежнему хотелось, отбросив все сомнения, прильнуть к ее губам, коснуться ее груди — хотя он не допускал и мысли, что такая девушка разрешила бы ему ласкать себя. Ему и в голову не приходило, что она знает о странных планах матери. Узнай она о них, она, несомненно, тотчас прогнала бы его. Ведь она так красива, так образованна, так богата! Нет, не отсутствие любви, а только прирожденная недоверчивость удерживала его от решительного шага. Люди с достатком не придут к тебе за здорово живешь и не скажут: на, бери! Такого не бывает! Да еще дать в придачу, так сказать для ровного счета, красавицу дочку! Нет, такого не бывает!

Каждую неделю скупщик навещал Сэдгровов и всякий раз уезжал с тем же результатом: дело не двигалось с мертвой точки. Какой-то подвох здесь есть, соображал он, что-то, о чем девушка не знает, а мать знает. Может быть, они разорились, или по уши в долгах, или с девушкой что-нибудь неладно, или, может, это мать охотится за ним? Цену он себе, во всяком случае, знал, хотя и не знал, как ему поступить. А уж предостеречь себя он не хотел. Зачем он им нужен? Как бы там ни было, в присутствии Мэри скупщик готов был приять неизвестное, но стоило ему расстаться с ней, как недоверчивость брала верх: ему расставили ловушку, мать и дочь хотят насмеяться над ним!

Но уж кто действительно смеялся над ним — так это его собственная мать. А к Софи она стала относиться так плохо, что, не будь сердце этой смуглой красотишки закалено против всех и всяческих превратностей, Харви, пожалуй, пришлось бы всерьез потрудиться, чтобы вернуть себе ее расположение. Но вот когда он бывал с Софи, сердце его не раздваивалось: оно нераздельно принадлежало ей, верное и неотступное, как само время.

«Софи мне милее, — думал он. — Правда, Мэри я тоже люблю, но Софи мне милее. Это уж точно. Мне

падо жепитсь на Софи. Может, если я не сомневался бы насчет этих денег, я решил бы иначе, не знаю. Но Мэри здесь ни при чем, это я точно знаю, она в мамеькных шапнях не замешана; это мамаша со старается меня объехать».

В другой раз ему казалось, что лучше развязаться с Софи и жепитсь на Мэри. Если бы он не боялся укров совести, он жепился бы на Мэри, а там будь что будет.

Так он продолжал ездить на ферму, не говоря ни да, ни нет. В октябре он вдруг решился: не сказав Сэдгровам ни слова, обвенчался с Софи Доз и перестал бывать на ферме. Он чувствовал, что поступил не совсем честно, на душе было неловко и тягостно. Кроме того, он опасался враждебной холодности миссис Сэдгров. Она, конечно, не простит ему этого. Что же касается Мэри, то для нее, бедняжки, он ничего не значил. Глупая история! В последний раз, проезжая по пустош, он так и не заехал на ферму. Приближалась осень, яблоки уже сняли, папоротник засох, дрок отцвел и ферма, одиноко стоявшая в пустом поле, казалась еще более сиротливой, одесневшей, хотя и жила там огневолосая красавица, достойная стать жепой джентльмена, по которую почему-то сватали за простого скушника. Хитро придумано! Очень хитро!

5

Свадьбу справили хоть и не шикарно, но весело; молодые, правда, не уехали на медовый месяц. Из дальней деревни прибыла на праздник бабка Софи, Кассандра Фауди, глуховатая рябая старуха, со своим мужем Амосом, которого никто из родни еще не видел. Амос был не слишком умен, и вообще самый обыкновенный старикан, только весь согнувшийся, будто сломленное ветром дерево. Зато он ежедневно брился, и его голый череп отливал желтизной. Кассандра, такая же желтая, как ее супруг, давно впала в детство; она не брилась, хотя ей бы это не помешало. Смерть явно уже стояла у нее за плечами, тогда как ее муженек, по всеобщему мнению, да и по его собственному тоже, решил дожить до ста.

Гости утверждали, что будет гроза, но Амос придерживался другого мнения и не слушал никаких доводов.

— Погреметь погремит, а там распогодится. Попугает манепько, и все тут.

— Дурак ты, дурак, — отвечала ему жена. — Ты же скоро помрешь.

— Дождь, оп от лупы зависит, — разглагольствовал восьмидесятилетний старец. — Схожа луна с колесом — быть дождю, не схожа — быть вёдру.

— У пего ума с наперсток, — говорила Кассандра о своем супруге, — и даже того не наберется. Да еще и глух, как тетерев.

Однако прав оказался Фанди: тучи разошлись, и после церковного обряда гости отправились пировать к молодым. Но тут оказалось, что Фанди ошибся: тучи снова сгустились, и хлынул дождь. Гости сели пить чай, а потом, поскольку ливень не унимался, остались до вечера. Харви уже потерял надежду, что они когда-нибудь уберутся — уйти им действительно было невозможно, и они всё сидели и сидели. Софи в белых чулках и начищенных до блеска ботиночках, в красном платье и крохотном белом переднике выглядела картинкой. Крупная, ядреная, с копной темных волос и румяная лицом.

Вдруг бабка Фанди разоткровенничалась.

— Четырнадцать раз я носила, — сообщила она. — Да, так уж, видно, господу было угодно, чтобы их, бедняжек, было у меня четырнадцать. И почти всех прибрал господь. Так что ты, Софи, с детьми не торопись.

— Не буду, бабушка.

— А вот меня, — продолжала бабка, обращаясь со своими признаниями ко всей честной компании, так сказать, — меня мать зачала от джентльмена.

Заявление это не вызвало особого интереса. Правда женщины сочувственно, даже одобрительно закивали.

— Зачала меня от джентльмена, — повторила Кассандра. — Ей бы следовало носить меня все двенадцать месяцев.

— Разве она не была замужем? — спросила Софи.

— Как не была? Была, — ответила старуха. — Только муж тут оказался ни при чем. Она дважды была замужем, да все не за тем.

— Не за джентльменом?

— Нет, не за ним. Он был богат — куда как богат, а жениться не хотел. Это уж как водится.

— Так, так! Вот и возвысилась бабка! — засмеялся Харви.

— А кто был этот джентльмен? — продолжала расспрашивать Софи, любопытство которой было сильно задето. Но Кассандра Фанди умолкла и сидела, погружившись в свои мысли, словно китайский божок. Взгляд ее был прикован к каминной полке, на которой стояли четыре лампы (из них только одна исправная), два будильника (из которых шел только один) и цветная поздравительная открытка не меньше фута длиной с огромной надписью: «Никогда не унывай» в венке из жимолости.

— Она плохо слышит, — вставил дедушка Амос, — очень плохо, с каждым днем все хуже. Дома у нее есть трубка, большая, как... — он пошарил глазами по комнате в поисках предмета, с которым мог бы сравнить слуховой аппарат, и остановился на совке, лежащем на каминной решетке, — как этот совок. Из чистого серебра, тяжелая, красивая трубка. Только, — он помахал совком, — она ее не носит. Не хочет, да и все тут.

— Кто был этот джентльмен? — прокричала Софи. — Ты его знала?

— Нет, нет! — возмущалась старуха. — Я и как звать-то его не знаю. Да и ни к чему мне. Он уехал в Америку, а сейчас давно преставился. Я и видеть его никогда не видела. Повстречайся он мне, уж я бы ему задала! Я стесняться бы не стала, высказала бы все начистоту. А как, спросила бы я, насчет седьмой заповеди?

Наконец дождь перестал. В темном саду сбежавший было лунный свет рассыпался тысячью дождевых капель, повисших на ветвях и веточках разных кустов и деревьев. На навесе над крыльцом капли блестели ровными рядами, словно кто-то набил туда гвоздей из стекла. Гости все разом вывалились на улицу, растянувшись длинной вереницей, шумной, пьяной, гогочущей, регочущей. Молодожены стояли на крыльце, кланяясь и махая на прощание. Софи вдруг сникла: столько хлопот и беготни, и все только для того, чтобы объявить публично, что отныне будешь спать с женщиной, которого любишь! Она распрощалась с бабушкой Кассандрой, отцом и младшей сестрой и, прижав на грудь к матери,

припнулась горько оплакивать свою невинность, с которой пришла пора расстаться, — сокровище, которое не ценят, пока не потеряют, а потому трясутся над этой постылой печалью пуще, чем над самыми сладкими радостями.

Когда наконец они остались одни, в памяти Харви вдруг всплыл образ рыжеволосой девушки — милой, печальной, молчаливой. Он понимал, что обидел ее, и ему стало грустно. Конечно, он избежал ловушки. Ах, если бы не ловушка, сейчас его ждала бы другая невеста. Не хуже этой. Софи с пышно взбитыми кудрями и мокрым от слез лицом, которое она вытирала передником, казалась достаточно юпой. Но груди у нее были большие, женские, а глаза — жадные, зовущие.

— Софи, Софи! — позвал Харви, ища ее в темноте.

— Ой, ветер воет, и дождь хлещет, и ветер воет, и дождь хлещет, а я так умаялась, что ветер от дождя не отличу.

— Иди ко мне, милая, — прошептал жених, — иди.

6

Прошло месяцев пять, и дела скупщика снова пошли из рук вон плохо. Женитьба — увы! — оказалась далеко не тем, чем могла бы быть. Жена и мать непрерывно ссорились. Иногда он принимал сторону одной, иногда другой. Ему было не по средствам поселить мать отдельно, и даже Софи пришлось признать за свекровью право жить вместе с ними, поскольку дом принадлежал все-таки ей. Харви не успел вложить в него много денег, и хотя мать предложила им пользоваться домом как своим, а после ее смерти все имущество переходило в его руки, все же мебель была ее личной собственностью, и вообще нельзя же выгнать пожилую женщину (даже если это твоя мать) из ее собственного дома. Софи, мечтавшая стать полноправной хозяйкой, была всегда не в духе и во всем обвиняла мужа. Уже несколько месяцев не был он на Шеггской пустоши: не мог заставить себя поехать туда, и ему так и не удалось возместить потерю хорошей клиентки сколько-нибудь существенными новыми связями. К совершенном всех бед, пала его единственная лошадь. Как-то, подымаясь в гору, она споткнулась, грохнулась

и уже то ли не смогла, то ли не захотела подняться — как бы там ни было, она не встала. Харви и попукал се, и бил, и бранил, и пинал — все впустую. Затем он послал за ветеринаром, и ветеринар приказал ее пристрелить. И ее пристрелили. Для Харви Уитлоу это был страшный удар. У него не было денег на другую лошадь: с деньгами было туго, ой, как туго! Пришлось напять по баснословной цене заезженную клячу. Ну и жрала она! Харви только диву давался, сколько этот одер может сожрать. И это в то время, когда цены на сено так поднялись, а уж на овес подскочили чуть ли не до небес. В общем, Харви понимал, что с этой прощрой ему не продержаться, а так как купить другую лошадь было не на что, не требовалось большого ума, чтобы сообразить, что если не удастся призанять деньженок у какого-нибудь доброго друга, положение вскоре станет безвыходным. Добрых друзей у Харви было хоть отбавляй, только денег у них не водилось, а тех, у кого они водились, вряд ли можно было назвать его добрыми друзьями. Итак, Уитлоу стал повторять себе по двадцать раз на день и по сорок раз на день, что он полностью и окончательно прогорел. Дела шли совсем плохо, хуже некуда — ведь теперь приходилось содержать не только мать, но и жену и лошадь, которая поровила жрать как слон, а работать как муха. И вдруг он вспомнил, что миссис Сэдгров слыла в округе богатой, а ведь питать к нему недобрые чувства у нее не было оснований. Конечно, трудно сказать, насколько туго пабит у нее кошелек, но попытка не пытка, особенно если найти к человеку правильный подход.

Недели две он медлил, не решаясь обратиться к миссис Сэдгров с подобной просьбой, но грозный призрак разорения не давал ему покоя, и как-то в конце марта, в ненастный день, он, набравшись храбрости, запряг свою заезженную клячу и направился на Шеггскую пустошь. Погода стояла ужасная, хотя дождя и не было. Ехать пришлось против ветра, ледяная пыль со свистом и стоном хлестала прямо в лицо. Кляча вскидывала голову и отказывалась идти. До сумерек оставалось не больше часа. Ненстойвый ветер не мог задержать, а тучи только приближали наступление темноты. Солнце опустилось уже совсем низко, готовое бросить жертвы ненастья на произвол разбушовав-

шегоса ветра. Огромный огненный шар бросал красноватый отсвет на карнизы и оконные переплеты. Тени ветвей причудливыми узорами резных решеток ложились на стены домов. Иногда среди них возникали силуэты женских голов — матерей или бабушек, иногда дети протягивали руки, и тогда на золотистом экране простешков появлялись различные пятипалые фигуры. Чем дальше Харви продвигался по пустоши, тем яростнее дул ветер. Начинало смеркаться. Холод пронизывал насквозь. Ни птицы, ни зверя, ни человека, только свист ветра и загадочная красота угасающего света да Харви Уитлоу, тащившийся по пустоши со своей попурой клячей из одного конца в другой.

Когда он добрался до Прэтл Конер, уже почти совсем стемпело; узкая полоска света еще задержалась на островерхом стое, стоявшем на гумне. Темнота аркой нависла над фермой, и лишь острия деревянных кольев да крытое парусиной сено таинственно светлели в последних закатных лучах.

Привязав клячу к частоколу, Харви постучал в дверь. Даже в полной темноте он сразу распознал, что ему открыла Мэри. Она остановилась на пороге, вглядываясь в позднего гостя.

— Добрый вечер, — сказал Харви, касаясь шляпы.

— О! — вскрикнула Мэри. — Скупщик! Вы? Вы к нам?

Это была самая длинная фраза, которую он когда-либо от нее слышал. Голос ее звучал жалобно, пугливо.

— Видите ли... — начал он. — Я, собственно, к миссис Сэдгров. Я хотел...

— Мама умерла, — сказала девушка. Она распахнула дверь, словно приглашая его войти, и он вошел. Дверь захлопнулась за ним. Они стояли вдвоем в темноте. Девушка была совсем убита горем. Подавляя дрожь, он переспросил:

— Что вы сказали, Мэри?

— Мама умерла, — повторила она. — Я здесь весь день одна, весь день, весь день.

Они стояли рядом, но в темноте он не различал ее черт. Ветер с ревом рвался в дом, сотрясая двери и окна.

— Умерла сегодня ночью. Я послала за доктором, а его все нет. Я жду его весь день, — шептала Мэри, — весь день, весь день. Не понимаю, что могло случиться.

Я ждала его, а он не пришел. Мама умерла ночью, утром я пашла ее в постели мертвой. Я весь день одна, весь день, весь день. Не знаю, что мне делать.

— Я съезжу за доктором, — поспешил предложить Харви, но она схватила его за руку и почти потащила в кухню.

В кухне царил полумрак. Свечи не были зажжены, но в очаге горел огонь, ярко тлели угли; длинная тень от стола падала на угол потолка. Сверкала посуда в поставце, каменный пол отсвечивал розовым, и все четыре угла темного ларя блестели, словно лед. Не дожидаясь приглашения, Харви сел.

— Не уезжайте, — сказала Мэри дрожащим голосом. — Помогите мне.

Она зажгла свечу; на ее белом как мед лице резко выделялись красные губы, в глазах было отчаяние.

— Пойдемте, — позвала она, и он пошел за пей мимо ларя, вверх по лесенке, в комнату, где на расстеленной кровати под одеялом лежало нечто похожее на человеческое тело. Скупщик застыл, уставившись на то, что было под одеялом. Девушка тоже остановилась, смотря прямо перед собой. За окном ветер трепал и рвал плющ, стена и воя, словно толпа плакальщиков. В изголовье лежало смятое платье, прикрывая мертвой лицо, а ниже, словно приветствуя Харви, вытянулась голая тощая рука ладонью вверх. В ногах стоял таз с губкой, валялись полотенца.

— Вы сами обмыли ее! Сами! — воскликнул Унтлоу.

Девушка — в лице ее не было ни кровинки — поставила свечу на комод.

— Помогите мне, — попросила она и, приподняв смятое платье, открыла лицо покойной. Одновременно она расправила одеяло, натянув его до подбородка. — Рука окоченела, и я не могу надеть на маму платье, — сказала она.

Она стояла, дрожа, с платьем в руках, словно протягивая его Харви. Он приподнял мертвую обнаженную руку и положил ее вдоль тела на постель, но рука не слушалась и, как только он отпустил ее, снова приняла прежнее положение, словно была жива и не желала терпеть над собой насилья. Девушка, жалобно вскрикнув, отпрянула в сторону.

— Принесите биит или что-нибудь, что годится на бииты, — распорядился Харви.

Мэри достала простыню.

— Я сам все сделаю, — сказал он сдавленным голосом. — А вы ступайте вниз и глотните бренди. Есть у вас бренди?

Она не двинулась. Он обнял ее за плечи и слегка подтолкнул к двери.

— Выпейте бренди, — повторил он. — И зажгите свечи.

Он подождал, пока она, тяжело ступая, сошла вниз по лесенке, затем захлопнул дверь и, подойдя к кровати, приподнял одеяло. Мертвая лежала обнаженная, от нее пахло туалетным мылом. Накрыв тело одеялом, Харви взял вытянутую руку — холодную, как воск, и неподатливую, как молодое деревце, — и снова попытался положить ее вдоль тела. В эту минуту сильный порыв ветра с шумом распахнул дверь, — возможно, Мэри открыла что-то внизу, возможно, затвор был слабый, — но ему стало страшно, словно кто-то невидимый, оскорбленный его присутствием, гнал его прочь отсюда. Он закрыл дверь. Так и есть — в затворе распатался крючок. Ступая на цыпочках, он вернулся к постели, схватил страшную руку и с силой, упершись коленом в ямку около локтя, грубо вывернул ее. Затем торопливо просунул голову мертвой в вырез платья и потянул рукава. На мгновение его охватило чувство стыдливости: может быть, лучше позвать Мэри? Пусть она сама оденет тело. Эти неуместные колебания, казалось, еще более разъярили ветер: дверь снова распахнулась. Харви не стал дольше медлить и, оставив дверь открытой, сбросил с мертвой одеяло. Когда он приподымал остывшее тело, длинная худая рука качнулась и снова вытянулась вперед, но он прижал ее к боку и накрепко прикрутил нарванными из простыни биитами. Теперь миссис Сэдгров можно было класть в гроб. Он накрыл ее одеялом и со вздохом облегчения оглядел комнату. Обычная спальня: кровать, умывальник, комод, на стене две картинки — одна религиозного содержания, другая, розовая гравюра в золоченой рамке, изображала аппетитную голую нимфу, возлежащую на облаке. Удивительно, сколько народу украшают свои спальни такого рода картинками, люди, о которых это даже как-то и не подумаешь,

Мэри уже подымалась по лесенке с неполным стаканом бренди в руках. Она пнула его Харви.

— Нет, это вам. Выпейте-ка, — потребовал он, и она послушно сделала несколько глотков.

— Я все сделал... все сделал, — сказал Харви. — Теперь ей хорошо.

Девушка посмотрела на него благодарным взглядом и молча протянула стакан.

— Нет, это вам, — отказался он.

Но она стояла перед ним в тусклом свете свечи, подняв на него свои удивительные глаза, и словно молила: «Выпей!». Он взял из ее рук стакан, залпом осушил его и поставил рядом со свечой на комод.

— Ей сейчас хорошо. А вот вы... Я очень вам сочувствую, Мэри, — сказал он с неуклюжей ласковостью. — Сколько на вас сразу свалилось...

Она стояла неподвижно, как восковая фигура, словно она тоже умерла и застыла с протянутой к нему рукой. Глаза ее смотрели так пристально, что он отвел свои и еще раз оглядел комнату: умывальник, свеча на комод, розовая гравюра. Ветер яростно трепал плющ за окном, словно гигантский хлыст свистел по спинам рабов.

— Вам нужно сообщить в мэрию, — напомнил он. — Но сначала надо доктора.

— Я ждала его весь день, — прошептала Мэри, — весь день. Скоро придет сиделка. Она на ночь пошла домой спать. Мама болела всего неделю.

Мэри повернулась к постели.

— Вот как? — сказал он глухо. — Бог мой, значит, она умерла внезапно.

— Нужно поговорить с доктором, — продолжала Мэри.

— Давайте я отвезу вас к нему на моей двуколке, — с готовностью предложил Харви.

— Не знаю, можно ли, — Мэри была в перешительности.

— Ну конечно. Собирайтесь же, — он помедлил. — Мне не хотелось бы вмешиваться в ваши дела, Мэри, и вообще это меня не касается, но как вы собираетесь жить дальше? У вас есть какие-нибудь родственники?

Девушка покачала головой:

— Нет. Никого.

— Плохо. Что же вы думаете делать? В каком

состоянии она оставила вам ферму — кажется, последнее время дела шли неважно?

— Нет, напротив. — Мэри быстро взглянула на него. — Мама оставила мне большое наследство. Я буду хозяйничать на ферме. У меня ведь есть работники — старик и парень. Сегодня они ушли на свадьбу. Я буду хозяйничать здесь. Мама так заботилась обо мне; я не хочу бросать ее ферму. Мне здесь хорошо.

— А справитесь вы одна?

— Нет, конечно. Найму кого-нибудь, кто будет работать и вести хозяйство.

— Вот как.

Они снова помолчали. Девушка подошла к кровати и приподняла одеяло. Она увидела привязанную руку и бережно накрыла тело с головой. Унтлоу потянулся за шляпой. Он поймал себя на том, что смотрит на розовую гравию. Мэри взяла с комода свечу, чтобы осветить ему.

И тогда Харви наконец решился.

— Знаете, она просила меня жениться на вас, — выпалил он.

Она отвела глаза, но он догадался — почувствовал, что она знала об этом.

— Я часто спрашивал себя, почему она этого хотела, — пробормотал он.

— Она вовсе этого не хотела, — сказала Мэри.

Харви удивленно взглянул на девушку и в замешательстве принялся тереть обтрепанные поля шляпы.

— Говорю вам, она просила меня, — повторил он сердито.

— Мама знала, — еле слышно продолжала Мэри, — что у вас есть другая девушка, та, на которой вы потом женились.

— Но... по если она знала... — запинаясь, проговорил честный Харви, — если она знала, зачем же она хотела, чтобы я женился на вас?

— Она не хотела, — повторила Мэри. Снова наступила пауза, он снова принялся тереть край шляпы. Как Мэри застенчива, как трогательна в своем горе!

— Ничего не понимаю, — сказал он. — Но она просила меня. Клянусь вам, просила.

— Знаю. Это я хотела, чтобы она поговорила с вами.

— Вы! — воскликнул Харви. — Вы хотели выйти за меня?

Девушка опустила голову, такая застенчивая, такая трогательная в своем горе.

— Она не хотела, — повторила она. — Это я упростила ее поговорить с вами.

— А я и не предполагал, что мог вам понравиться, — пробормотал он. — Думал, она просто решила разыграть меня. Я не понял. Мне и в голову не приходило, что вы можете знать об этом. Поэтому-то я и молчал.

— Жаль. Очень жаль. Вы мне тогда очень нравились, — прошептала Мэри. — Мама пыталась отговорить меня, но вы мне очень нравились... тогда.

Он стоял подавленный и растерянный.

— Ах, если бы вы только бросили мне словечко, намекнули взглядом, что ли, — вздохнул он. — Ах, Мэри, Мэри!

Она не ответила и молча начала спускаться. Он последовал за ней и тотчас пошел к повозке за фонарями.

— Как странно, что вы вернулись как раз в тот день, когда я больше всего нуждалась в помощи, — сказала Мэри, глядя, как он зажигает свечи. — Я очень вам благодарна.

— Я отвезу вас к доктору, Мэри.

Она покачала головой. Лицо ее освещала улыбка.

— Нет, я дождусь сделки.

— Вам надо съездить за доктором. Поедемте сейчас.

Он взял фонари и уже у двери, обернувшись, сказал:

— Завтра я опять приеду.

В комнату ворвался ветер.

— До свидания, — крикнула она, запирая за ним дверь.

Он ехал в кромешной тьме. Дул ветер. Голову сверлили странные и горькие мысли. Он сам оттолкнул от себя любовь—любовь безмолвную, пугливую. Боже мой, он отказался от такого состояния! Да, ведь он же забыл о цели своей поездки! Он же ехал занять денег! А, будь что будет, обойдется он и без этих денег. Надо бросить торговлю и найти себе другое занятие. Лучше стать управляющим на ферме. Работать и вести хозяйство. Это ему вполне по душе, работать и вести хозяйство. Правда, он женат на Софи... А, да что там... Эх, Софи!

„ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ТОЛСТОЙ“



Вероника Парр была счастливой находкой для своих подруг; она звала их Моргушка, Мигушка и Кивок¹. Все три не могли жить друг без друга, а к Веронике отпоспелись с покровительственной нежностью. Они называли ее милочкой, считали ее простушкой и находили, что судьба явно благоволит к пей. Эти три молодые женщины были деловые лондонские женщины и служили в солидных лондонских конторах, а у Вероники был напад-вдовец, занимавший какой-то важный пост в управлении торгового флота (отдел насосов и подзорных труб), и это вынуждало его так много путешествовать по океану, что он с радостью ассигновал своей единственной дочери сто пятьдесят фунтов в год, с тем чтобы она могла жить, где ей захочется, вполне добродетельно и не доставляя ему хлопот. Он дал ей свое благословение.

— Веди себя как следует, — сказал оп. — Второй раз девушкой не станешь, да будет тебе известно.

Так случилось, что Моргушка, Мигушка и Кивок поселили у себя Веронику — они звали ее Парри; и она начала подыскивать себе какое-нибудь легкое, приятное занятие. Как-то так выходило, что она не могла найти ничего подходящего. Вероника была очень недурна собой, белокурая, как скандинавка, с нежным цветом лица и прелестной фигурой, но эти выгодные качества тускнели из-за ее вялого характера и какой-то душевной робости, которая привела к тому, что в бесчеловечной деловой среде Веронику сразу зачислили в разряд тупиц. И хотя тысячи тупиц великолепно устроены в деловом мире, пропикнуть туда просто в качестве тупицы не так-то легко. Оставалась возможность стать агентом по приему заказов на меха и белье на условиях оплаты в рассрочку, либо по сбыту сигарет на

¹ Моргушка, Мигушка, Кивок (Winken, Blinken, Nod) — перазлучные подружки из английской детской песенки.

каких-то неопределенных условиях, либо угля на весьма зловещих условиях, или, наконец, стать страховым агентом на самых что ни на есть невыносимых условиях. Если бы не три ее подруги, Вероника охотно воспользовалась бы любой из этих возможностей или всем сразу, но, к ее огорчению, они возражали очень резко, чтобы не сказать больше. И так получилось, что Вероника попросту сидела дома, читала книги и понемножку занималась рукоделом. Дом, где они жили, стоял на площади в Чизуике. Он был старый и псевдобный, но отличался какой-то допотопной изысканностью и аристократизмом; даже окна в нем мыл тот самый человек, который мыл их еще четверть века тому назад. В квартире были две спальни, одна большая общая комната и маленькая кухня с черной плиткой, белой раковиной и темным шкафчиком, куда по временам забиралась страшная мышь и обгрызала мыло, пахнувшее опопаксом.

По вечерам после обеда они собирались вместе в большой комнате, наслаждались ничегонеделанием и рассуждали о книгах, о жизни, о любви, о модах, о человечестве вообще, об искусстве, убийствах и религии; а иногда они отправлялись в дешевый дапсинг, или заказывали себе дорогой ужин в ресторане, или покупали билеты в театр — удовольствия, которое может быть столь же дорогим или дешевым, сколь это может пожелать христианин; а ко дню рождения и на рождество они всегда делали друг другу подарки. В общем, жить было так страшно интересно, что Вероника, случалось, не спала по ночам, с нетерпением ожидая наступления нового радостного дня.

— Нора, — обратилась как-то Вероника к девушке-ирландке, которая каждый день приходила к ним убирать квартиру. — Спросите у швейцара, нет ли для нас писем. Он такой глупый.

— Мошенник он, мэм, как бог свят, мошенник. Такой бесстыжей рожи я в жизни не видывала.

— Бесстыжей?!

— Да уж поверьте мне: коли у швейцара чирей нашее, сразу можно сказать, что он картежник. Я его спрашиваю: «Когда же вы соберетесь починить перила на лестнице?». А он только бурчит в ответ. Я себе голову из-за них разбила в пятницу. «Когда же, говорю,

лестницу приведут в порядок?» А он мне: «Ох, я человек темный». И тут же сунул мне для вас три письма, мэм.

— Где же они? — воскликнула Вероника.

— Да вот... Куда же я их девала-то, эти три письма? Их было три, такие хорошенькие три письмеца. Сейчас, сейчас разыщу, мэм.

Письма наконец найдены.

— А вот это я получила, мэм, — сказала Нора, извлекая из сумки небольшую картонную коробочку. — Из дому только пынце утром пришло.

В коробочке лежала эмалированная серебряная брошка в виде алого сердечка, зажатого между двумя листочками трилистника, а на сердечке было выгравировано «Иисус Христос».

— Тут все как есть в точности изображено, мэм, — пояснила Нора. — Трилистник — значит Ирландия, а это — бог превыше всего. А вот тут, на коробочке, написано: «Из Корка», а корявое «П», мэм, значит Патрик.

— А зачем здесь три крестика после «П»? — допытывалась Вероника.

— Ох, это его выдумки! — хихикинула Нора. — А я, мэм... да он мне даже совсем и не правится — такой зубоскал. Рядом с ним всегда чувствуешь себя дура душой.

По утрам Вероника оставалась полновластной хозяйкой квартиры; днем она иногда поддавалась соблазнам — посещала спектакль, музей; да мало ли соблазнов встречается в жизни милого праздного молодого существа, но она всегда возвращалась домой вовремя, до прихода своих трех любимых подружек.

Моргушка — ее на самом деле звали Ида Парри — была высокая, красивая, томная и таинственная. Перед тем как вернуться домой, она обычно звонила по телефону.

— Парри, — ее протяжный шепот плыл из аппарата, — сообщал ли кто-нибудь из девяноста девяти идиотов, которых мы называем нашими друзьями, о своем намерении прийти сегодня к обеду?

— Нет, дорогая.

— Хорошо. Тогда нам понадобятся только два-три яйца. Я припесу их.

— Моргушка, милая, не надо. Я уже кое-что приготовила.

— Божественное создание!.. А что именно?

— Ну знаешь, Моргушка, я купила макароны.

— Боже мой, Парри, я просто не нахожу слов! А скажи, не оставил ли этот варвар из полиции снова повестку на мое имя?

— Да, милая, она здесь, на письменном столе, вот тут, возле телефона.

— Будь он проклят! — негодовала Моргушка.

— Что ты говоришь? — пищала Вероника.

— Я сказала «будь он проклят». Он пристал ко мне сегодня, когда я уходила, но я притворилась, будто это не я. Ужасный болван! Каждый год меня вызывают повесткой по поводу собаки, которой у меня нет. Ты слышишь, Парри? У меня никогда не было собаки и никогда не будет.

— Да, дорогая. И я велела швейцару сказать, что ты уехала в Японию.

— Ах, но он такой дурак, Парри, он даже соврать как следует не сумеет.

— Да, правда, Моргушка, они поймали Нору и вручили повестку ей.

— Парри, милочка, неужели я единственный человек на свете, который способен все толком уладить? Ну, до свидания, милая, я сейчас иду прямо домой.

Мигушка — или по-настоящему Элла Перкинс — была смуглая и некрасивая, а Фелсити Пинк — Кивок — была коротышка с курчавой, как у полинезийки, головой. Они все вместе строили планы на будущее, и Вероника, по-видимому, обладала особым даром придумывать разные планы, где все отличалось удивительным по своей простоте совершенством. Например, они всегда будут жить вместе. Они никогда не выйдут замуж.

— Конечно, нет, — говорила Ида Парагрин. — В жизни нет высшего смысла, но жизнь есть факт, а когда имеешь дело с фактом, естественно, стараешься извлечь из него все, что только возможно. Пожалуйста, никаких замужеств.

Тогда Вероника придумала, что хорошо бы им приобрести плавучий дом и уехать жить на Темзу, где-нибудь между Путни и Кью. В тот день Вероника гуляла по берегу Темзы, недалеко от Хаммерсмиса, и любовалась полетом морских чаек на фоне осеннего заката; они порывисто выбивались из-под облаков, стремительно кидались вниз, взметая длинные струйки воды, и высоко взлетали над рекой, уносясь по направлению к Барнсу. На берегу, под зеленым флагом с белой надписью «КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ», возле груды досок и туго набитых мешков, какие-то люди возились с подъемным краном и воротом. Ах, ее даже бросило в дрожь от волнения. Мужчины свистели и говорили разный вздор. Мужчины такие глупые. А на том берегу отчетливо выделялось пять высоких дымовых труб, совершенно одинаковых, и церковная башня, мало чем от них отличавшаяся. Глядя на них, Вероника почему-то подумала о Египте. Вот что ей хотелось бы иметь — плавучий дом; и поплыть именно в Египет. Но вскоре этот идеал был вытеснен другим — мечтами о кочевой жизни. О небо, какое блаженство скитаться по всей стране в крытой арбе, которую везет гнедая лошадка!

— Мы должны жить *калейдоскопически!* — восклицала Вероника. Но пока что они жили не так и только предавались мечтам то о плавучем доме, который будет их возить из города в город, то о настоящем собственном доме с множеством всяческих удобств и турецкой башей. Затем дом превратился в коттедж. «Коттедж в сельской местности, — говорила Вероника. — Он будет прятаться, именно прятаться, в гуще прекрасного сада, обнесенного живой изгородью, а к белой калитке будет вести пзвилистая, мокрая от росы дорожка». На калитке она непременно повесит почтовый ящик и отдаст ключ почтальону, на тот случай, если он принесет какой-нибудь пакет. Почтальоны бывают очень милые, только они носят такие грубые башмаки. Да, почтовый ящик, выкрашенный в голубой цвет, и к нему маленький медный ключик. И она надеется, что в него не залезет никакая мышь и не залетит толстая пчела, приняв его по ошибке за улей. Птицы — те тоже проделывают всякие глупые штуки с почтовыми ящиками, а одна даже свила себе гнездо в кастрюле ее тети.

Конечно, у Вероники будет медная кастрюля. И целый набор перчаток — для домашней работы, для мытья посуды, для сада и прочего, все разные, — и крючки, чтобы их вешать. С ярлычками. И она наймет в прислуги красивую, преданную ей девушку-шотландку, у которой будет незаконный ребенок.

— Парри, милая, — говорила Ида Парарри, — ты будешь жить у конечной остановки трамвая, на входе с дверями шоколадного цвета и медным дверным молотком. Как ослепительно он будет блестеть!

— Нет, знаешь, — возражала Вероника. — Я предпочла бы иметь медный звонок в виде собачьей головы с веревочным кольцом в пасти.

Мало-помалу Моргушка, Мигушка и Кивок начали замечать, что Вероника говорит о каждом новом доме, даже не упоминая о них, так, словно ей одной предстоит там жить. Это становилось еще более явным, когда Вероника заговаривала о том, как она поедет за границу. Но теперь им было все равно, они уже перестали разделять ее восторги и предвкушать все эти несбыточные радости. Вероника столько раз откладывала свои планы и всегда находила для этого какую-нибудь причину; обычно причина заключалась в том, что Веронике всецело поглощала совершенно новая и еще более прекрасная мечта. Ну, что можно поделать, если мечты о радости так изменчивы? Вероника была подлинной жертвой своих мимолетных фантазий; все необычное манило ее, все пленяло ее воображение. И ей нравилось думать о всяких запретных вещах не потому, что ей хотелось их делать или она считала, что их надо делать, но потому, что она думала, что их не следовало бы запрещать. Для нее прелесть была не в достижении цели, а в бунте против всяких запретов.

— Мужчины такие глупые, — говорила Кивок.

— Такие отсталые, — вторила ей Мигушка.

— Такие неэстетичные, — поддакивала им Вероника.

— Да, совершенные тюфяки, — изрекала Ида Парарри. — Мы, женщины, приписываем за чистую монету любой вздор. И мужчины точно так же. Мой дедушка, например, постоянно против всего протестовал: против жизни, против любви, против брака и даже против

того, что он родился на свет; но у него было четыре жены, и он дожил до девяноста лет.

— Четыре сразу? — спросила Кивок.

— Они умрали, — сказала Ида.

Тут сразу обнаружилось, что Феллсити Пинк сохранила прямо-таки невероятную наивность и до сих пор ничего не знает об отношениях между супругами и о том, как появляются дети. Дети рождаются, но как рождаются, почему рождаются? Ида просветила ее.

— Боже милостивый! — сказала потрясенная девушка. — Но, уж копец, король и королева так не делают!

— Все, все делают, даже короли и королевы. И ты когда-нибудь тоже будешь делать.

— Да неужели девушка может так сильно привязаться к мужчине, чтобы ей захотелось жить с ним? Ты бы могла, Ида?

— Я бы не могла жить так долго с одним человеком, чтобы мне захотелось стать его женой, — задумчиво сказала Ида. — Но если это исключить... Может быть... Не знаю, они все-таки забавные.

В ее глазах и в ее словах не было затаенного желания, но от этой статной, красивой девушки словно исходил какой-то ток, сверкающий, переливчатый, как ожерелье из драгоценных камней.

— Нет такого человека на свете, которого я могла бы страстно полюбить, — сказала Вероника.

— Хо-хо! — воскликнули подружки. — Ну и Паррр!

— Нет, нет, я знаю, что такого человека нет! — с жаром повторила Вероника, а потом добавила нерешительно: — Но если бы я думала, что есть...

— Ну?! — воскликнули они.

— Я не знала бы покоя, пока не нашла его.

— И тогда?

— Тогда! Вот тогда мне стало бы страшно.

— Страшно? Чего же? Ха-ха! От тебя этого надо ожидать. — Они все дружно начали подтрунивать над ней.

— Мне было бы страшно потерять его.

— Ну, а вдруг бы он оказался грубой скотской мерзавцем, грязным развратником?

— Пусть, — сказала Вероника. — Ведь я бы любила его не за это, но все равно я любила бы его.

— Это уже не любовь, а мания! — воскликнула мисс Перкинс.

— Так оно всегда и бывает, — заявила Ида.

— Но, конечно, — сказала маленькая Кивок, склонив набок свою курчавую головку, — ты могла бы развестись с ним.

— Мужчины против развода, — возразила Ида, — это всё женщины затевают.

Вероника возмущилась.

— Нет, нет! Я никогда бы так не поступила. Я не могу объяснить этого. Вы меня все равно не поймете, по для меня это просто невозможно.

Их милая Вероника со всеми ее причудами, выдумками, страхами, оказывается, еще и фанатик; при этом казалось чистой нелепостью, что, впрочем, не мешало им любить ее еще больше. Она очень долго (боже! иногда это тянется годами) не может на что-нибудь решиться, но уж если она решится, это все равно, как если бы она захлопнула за собой железную дверь, и даже если это приведет к каким-нибудь ужасным последствиям, она будет держаться твердо, непоколебимо, как кегля, которая стоит не дрогнув, когда в нее со всех сторон летят шары. Быть может, именно потому, что Вероника хорошо знала себя, знала, что, какой бы путь она ни избрала, назад возврата не будет, она колебалась и боялась принимать решение. Не бесконечная игра фантазии сдерживала ее, подсаживала ей все новые и новые планы, а страх перед неведомыми бедствиями и возможными страданиями. Так мотылек, порхая вокруг алтаря с незажженными свечами, не смеет опуститься ни на одну из них из страха, что, едва только он заденет ее своими крылышками, пламя вспыхнет и сожжет его. И тот же страх не позволит Веронике отступить; страх и какая-то особая гордость, заставляющая сохранять достоинство и в несчастье.

— Я никогда не выйду замуж, — сказала Кивок, — никогда.

— И я тоже, — подхватила Мигушка. И Вероника с ними согласилась.

Моргушка, затягиваясь сигаретой, уклончиво сказала:

— Совсем не обязательно выходить замуж, мой дорогой.

Остальные затаили хором:

— Даем торжественный обет — остаться девами навек!

— Скажите лучше: пезамужними, — вздохнула Ида Парагрии.

— Второй раз девушкой ведь не станешь, — выпалила Вероника. — Это папа меня так наставлял.

— Мне кажется, — протянула Ида со скучающим видом, — вряд ли найдется хоть одна женщина, которая этого пожелала бы.

— Боюсь, — вздохнула Вероника, — что, когда я полюблю, я сделаюсь совершенной дурой. Я это знаю.

— Милой дурочкой, — прошептала Ида.

— Я это знаю, — продолжала Вероника, — и поэтому я и не хочу. Но крайней мере не сейчас еще.

Эти слова, обнаруживающие полную певинность, вызвали у трех подруг самые нескромные опасения.

— Парри, ты становишься вульгарной!

— Я просто стану его рабой, — сказала едва слышно Вероника.

И так на какое-то время Вероника увлеклась новой мечтой о человеке, которого она полюбит, и о том, как она будет вести себя с этим богоподобным существом. И хотя подруги смеялись над ее фантазиями, все же мечты Вероники оказали на них свое действие, о чем она даже не подозревала; они подействовали на них гораздо сильнее, чем на Веронику. Она никогда не стремилась познать те наслаждения, которые сулили ей эти мечты. Она довольствовалась тем, что созерцала их в своем воображении; а между тем Ида Парагрии завела любовника, Кивок стала встречаться с молодыми людьми, а Элла Перкинс неожиданно вышла замуж за торговца молочными продуктами. У него была заячья губа, и он жил в Фулхэме, — место, куда, по словам Иды, надо ехать на крыше омнибуса, уткнувшись носом в чью-то давно немытую шю. Почему Элла так поступила, они не понимали, они знали только, что какие-то женщины всегда выходят замуж за таких вот мужчин.

Веронике так и не пришлось жить ни в плавучем доме, ни в сельском коттедже, ни странствовать в крытой арбе. Правда, она чуть было не уехала за границу, но в конце концов все же не уехала, и теперь она

уже больше и не думала ни о чем таком, потому что мирно и бесповоротно вышла замуж за владельца смолокуренного завода по фамилии Куасс, и они поселились на его вилле в Голдерз Грин. Там на входной двери красовался медный молоток, и он так ослепительно блестел.

Арпад Куасс, несмотря на свое отдаленно тевтонское происхождение, был подлинным англичанином, столь же подлинным, как собор святого Павла. Ему было лет под сорок, говорил он звучным баритоном; бывалый, обходительный и великолепно одетый джентльмен. Ида и Кивок все же никак не могли простить ему, что он похитил их милую подругу. На первый взгляд он казался красивым, но потом его черты как-то теряли свою привлекательность: в них было что-то от модернистской живописи.

— Бывают черты резкие, прямые, а у него все как-то волнистые, — говорила Ида.

Рослый, почти великан, плотный и широкоплечий, с рыжеватыми, изящно подстриженными усами, с медным румянцем во всю щеку, как у деревенского мясника, — таков был Арпад. Когда его спрашивали, как он поживает, Арпад отвечал: «Будьте покойны — могу постоять за себя!». Подругам Вероники он не нравился; он не проявлял к ним ни малейшего интереса, даже искорки того внимания, которым он так воспламенил сердце Вероники. Подруги так и не могли разгадать тайну ее победы и порабощения, потому что — в этом-то уж можно было не сомневаться — Вероника была влюблена без памяти. По их мнению, Арпад был властный человек, который считает ясным и доказанным очень многое, гораздо больше того, что сам в состоянии понять. У него было много свободного времени, и он очень любил рассуждать. Точность — вот был его девиз; он как чумы боялся всяких обобщений. А Вероника любила обобщать, так же как Моргушка и Кивок; по этой причине Арпад недолюбливал подруг Вероники, особенно Иду Парагриш. А кроме того, Арпад отличался какой-то педантичной свирепостью, которая иногда пробуждала в сердце Вероники безотчетный страх, потому что Арпад был один из тех, кто вопит «война!», когда нет никакой войны, и для кого цель борьбы не в восстановлении справедливости, а в захва-

те власти. С женой он был щепетив и щедр; они часто совершали прогулки на автомобиле, ездили в даунинги, играли в теннис, гольф, бридж и прочее; и Вероника жила только им и с наслаждением подчинялась всем его желаниям и привычкам. У него были все замашки спортсмена. Он искусно и с большой выгодой вел свои дела, а в остальное время участвовал в различных спортивных состязаниях, при этом с необычайным успехом, так как играл с яростным ожесточением, чем нередко обезоруживал своих противников.

— Разбить противника — вот, в сущности, единственная цель всякой игры и всякой деятельности! Самое чудесное, самое захватывающее ощущение в жизни, — говорил он, — ты испытываешь, когда враг у тебя под прицелом, ты нажимаешь курок и видишь — вот он падает! Боже, какое блаженство! — бормотал он, и его даже бросало в пот от волнения. А Вероника в ужасе содрогалась в такие минуты, но, даже и содрогаясь, обожала его.

Спустя несколько месяцев после того, как они поженились, Арпад сказал ей:

— Я надеюсь, дорогая моя (не сочти это жестокостью или эгоизмом с моей стороны), я надеюсь, что у нас с тобой не будет детей. Во всяком случае, пока не будет.

Вероника скрестила руки на коленях:

— Ты так думаешь, Арпад?

— Я думаю, что это было бы несколько преждевременно. Особенно сейчас. Дети — это такая ответственность, такая обуза и так связывает. Тебе пришлось бы отказаться от всего: от тенниса, от гольфа, тапцев; и потом, понимаешь, они будут очень мешать, они испортят нам жизнь. Что до меня, я говорю: *нет!* А ты что скажешь?

Вероника разняла руки и сказала:

— Да, пожалуй, ты прав, безусловно.

— Ну вот, — продолжал Арпад, — если это решено, поговорим еще о другом: нравится ли тебе жить за городом? Мне, видишь ли, хотелось бы построить небольшой дом где-нибудь в окрестностях, чтобы неподалеку была подходящая площадка для гольфа, и собственный корт для тенниса, и сад. И я бы мог каждый день ездить к себе в контору на машине. Что ты скажешь?

Вероника целыми днями предавалась упоительным мечтам об их будущем загородном доме, изобретала всевозможные почтовые ящики для несравненной белой калитки. Наконец купили участок — недалеко от реки, в Хертфордшире; одобрили проект, заложили фундамент; и вот тут-то Вероника обнаружила, что по какой-то несчастной случайности она печально нарушила их договор — и теперь уже не было никаких сомнений: у нее будет ребенок. Некоторое время она не решалась рассказать об этом мужу, а когда наконец призналась, он вспыхнул и готов был сделать все на свете, лишь бы не допустить такого нарушения всех их планов.

— Честное слово, Вероника, мы теперь с тобой просто пропадем. Дом стоит уйму денег. Закладная — ты понимаешь, я никогда не разделаюсь с этой закладной. И зачем, зачем? Ах, пропади оно пропадом. Придется показать тебя врачу.

Доктор отказался что-либо сделать; но спустя некоторое время Арпад вспомнил о своих друзьях Корн-Эндрюсах, состоятельной чете, которая тщетно мечтала о наследнике. Арпад рассказал Корн-Эндрюсам о затруднительном положении Вероники, и те немедленно предложили усыновить ребенка, как только он появится на свет или, скажем, через месяц после родов. Нет, правда, они будут так рады и так благодарны.

— Что ты думаешь об этом предложении? — спросил Арпад жену. — Давай обсудим.

Вероника скрестила руки на коленях и сказала, что она всецело полагается на него.

— Давай обсудим, — повторил он. — Ничего предосудительного в этом нет. Конечно, решать должна ты, но что касается меня, я говорю: *да*. Безусловно, *да*, — подчеркнул Арпад. — Потому что я, видишь ли, не из чадолюбивых мужчин, а уж ты и совсем не из той породы женщин. Что проку сентиментальничать или поступать опрометчиво? Природа любит издеваться над нами, только поддайся ей! Вся история цивилизованного общества — это непрерывный конфликт человека с природой. Нам все время приходится подавлять свои желания и приспособливаться. В этом нет ничего противоестественного. На все есть свое время и место, а сейчас это для нас страшное неудобство. Ребенок — ведь это ужасные расходы. Пожалуй, пришлось бы

бросить постройку дома. Ну, что ты скажешь? Могу я ответить Корп-Эндрюсам, что ты согласна?

Вероника раззяла руки и сказала:

— Да, пожалуй, ты прав, безусловно.

Итак, они продолжали строить свой загородный домик, и в течение нескольких месяцев ничто не омрачало прекрасную, мирную жизнь Вероники и Арпада. Ей не приходилось готовить распахонки и пеленки для будущего ребенка, у нее не было ни малейшей склонности, никакого вкуса к этому виду искусства, а Корп-Эндрюсы доставили все необходимое. Эти люди были просто воплощением доброты.

— Замечательные люди, — говорил Арпад, — и вероятно богатые. Они готовы оплатить все расходы, и ребенок будет для них как их собственный, их наследник. Да так оно фактически и будет, — повторял Арпад. — Ребенок действительно будет их собственный. Это нерушимый договор, хотя он и не скреплен печатями.

Весной Вероника не играла ни в гольф, ни в теннис, потому что ее положение стало уже очень заметным, и Арпада это беспокоило. То ли ему было стыдно за нее, то ли стыдно перед самим собой, во всяком случае, он предпочитал теперь играть в гольф без нее. Например, так: как-то раз он сказал ей, что сегодня не в форме, но обещал Джонни Плантеру сыграть с ним раунд...

— Ну конечно, — ответила Вероника. — Почему же не сыграть?

Арпад ушел и встретился с Плантером на площадке для гольфа. Там только что начался партию два очень неторопливых игрока — Смит и Браун, поэтому Куасс с Плантером уселись на веранде и стали дожидаться, пока те не скроются из виду.

— Кто такой этот Браун? — спросил Куасс у Плантера.

А Плантер ответил Куассу:

— Браун? Он биржевой маклер.

— А Смит?

— Кажется, он в железнодорожной компании.

— А, в железнодорожной компании! А что там можно сделать, в железнодорожной компании, Джонни?

— Право... не могу сказать... не знаю, никогда не имел с этим дела, — ответил Плантер. — А как поживает ваша жена?

— Хорошо, совсем хорошо, в ее положении даже превосходно, — ответил Арпад, — хапдрит немножко, конечно, ей сейчас тяжело приходится, почти ншкуда не ходит, а я тоже не могу все время около нее сидеть. И вот чуть что, сейчас в слезы и всякое такое...

— Да, да, — сказал Джонни Плантер, — женщины всегда так. Они такие странные.

— Да, очень странные! Даю вам слово, моя жена способна плакать часами: и от радости, и от горя; и так, из-за каких-нибудь пустяков, и просто без всякой причины, плачет целыми днями. Довольно утомительно, знаете ли.

— Как вам правится мой новый свитер?

— Очень мило, Джонни. А что это вы мне говорили — вы правда сделали куртку с темно-красными отворотами?

— Я... нет. Они...

— Ярко-красные?

— Да, пожалуй.

— А вам не кажется, что яркие отвороты убивают куртку, Джонни?

Плантер покачал головой, а Арпад продолжал:

— Интересно, какого происхождения слово «куртка»?

— Ха-ха! — рассмеялся Плантер. — Вот уж не знаю. Очень трудно сказать.

— Гм! Такое простое слово. Знаете, странно, должно же оно иметь какое-то происхождение.

— Да, любопытно. Очень любопытно.

— А я вам рассказывал, что был у Джорджа Фримптона на прошлой неделе?

— Я слышал об этом.

— Ах да, ведь я там встретил вашу приятельницу!

— Молли говорила мне, что видела вас.

— Знаете, Джонни, она необыкновенно мила, но только я подумал — так, между прочим, — что она как-то держит людей на расстоянии.

— Ого-го! Вы находите? — Плантер был в полном восторге и жадно ловил каждое слово.

— У нее, знаете ли, такая манера, — продолжал его приятель, — обрывать на полуслове разговор... Она не ведет с вами беседу так, как полагается, а только вставляет: «Ах, вы так думаете, да?». И на этом все

кончается. Говорить уже не о чем. Но в общем, она очень мила.

Джонни Плантер казался приятно смущенным, а его приятель продолжал:

— Когда она улыбнется, вы, наверно, заметили, у нее виден край верхней десны.

— Да? Но ведь это почти у всех так?

— У меня — никогда, — сказал Куасс Плантеру, а Плантер тут же пристал к Куассу: — Улыбнитесь! — И, когда Куасс улыбнулся, Плантер закричал: — Видно! Видно! И даже очень.

— Пойдемте-ка, — сказал Арпад вставая. — Можно начать.

Они начали. Плантер был в ударе, и к половине игры у него оказалось на шесть очков больше, но тут Куасс показал свою британскую хватку и с молниеносной быстротой выиграл партию, опередив противника на одну лупку.

— Повезло вам, — пробормотал Плантер, стараясь скрыть под бодрой улыбкой беспильное бешенство. — Блестяще сыграли!

— Да, чудесная была партия, Джонни, честное слово! Я долго не забуду сегодняшнюю игру! Да и вы тоже, а, Джонни? Вы превосходно играли, но мне просто повезло. Приперл меня к стене, понимаете, пути для отступления нет — вот это-то я больше всего и люблю. Да, славная была партия!

Арпад пришел домой усталый, но совершенно счастливый. Ночью, когда они уже улеглись, он подробно рассказал Веронике о каждом мяче и как он их загонял в лупку. Веронике хотелось спать, но она слушала, а когда он наконец замолчал, сказала:

— Знаешь, Арпад, мне сегодня рассказали, что одна женщина положила своего ребенка на бутылку с горячей водой, и ему обожгло все личико!

— Зачем? — спросил муж.

— Она не заметила, что там бутылка, понимаешь.

— Вот дура! — сказал он зевая. — А впрочем, с каждой может случиться. Ты так же способна выкинуть такую штуку, как и всякая другая.

— Ну что ты, Арпад! Нет, нет, никогда в жизни! — Вероника возражала с необычной для нее горячностью.

— Ладно, будем падеяться, что так, — сказал он и тут же заснул.

Среди ночи его разбудили ее жалобные всхлипы-ванья.

— Это ты, Вероника? Что... что с тобой?

— Как ты можешь говорить мне такие жестокие вещи, — рыдала Вероника. — Конечно, я никогда бы этого не сделала.

Куасс громко вздохнул и пробормотал в раздражении:

— Что сделала? О чем ты говоришь? Какие жестокие вещи?

— Что я обожгла бы ему лицо, — простонала она.

— Что это значит — обожгла лицо? Чье лицо?

— Бутылкой с горячей водой, — всхлинула Вероника. — Ты знаешь, что я никогда бы этого не сделала. Никогда в жизни. Ты не должен так говорить.

— О господи боже мой! Ну хорошо, спи. Я устал как лошадь.

— Хорошо, я буду спать, — Вероника уже лежала спокойно. — В самом деле, глупо с моей стороны.

А немного погодя Куасс услышал, как она зовет громким шепотом: «Арпад! Арпад!».

— Господи, — простонал Куасс, — ну, есть ли на свете другой такой... такой же несчастный, как я!

— Арпад, мне не спится. Можно, я лягу к тебе?

— Ложись... если хочешь. Только отодвинься подальше, меня лихорадит, я весь горю.

Он услышал, как Вероника откинула одеяло. Потом, к его ужасу, что-то тяжело грохнулось на пол.

— Боже, что тут происходит?

— Ничего! — Она захотела глупо, противно. — Я просто упала с кровати, вот и все!

Куасс в бешенстве скрежетал зубами, а она лежала на полу и захлебывалась в истерическом хохоте. Потом она встала, по вернулась на свою постель. И если не считать, что ее еще несколько раз начинал душить хохот, она его больше не беспокоила.

Подшло время, и Арпад повез жену на машине в родильный дом в Кенте и, простившись с ней с заботливой нежностью, оставил ее там. В течение двух дней он не давал покоя служащим больницы: каждый час справлялся по телефону.

— Нет, сэръ, нет еще, — отвечала сиделка. — Нет, она хорошо себя чувствует. Все идет нормально. Нет, нет, я не забуду позволить вам сейчас же.

Это было большое прохладное здание в глубине обширного тенистого сада, за которым вдали виднелись гряды холмов. В приемной стоял серый диван с резьбой, изображающей шлем, кольчугу и меч — символическое оружие, с которым мы пускаемся в пучину житейских горестей, слишком реальных, чтобы служить орнаментом. Веранда на солнечной стороне дома была заставлена кроватками, их было десятка полтора. В каждой лежал младенец, а в изголовье висела табличка с его именем. Они лежали и плакали круглые сутки: одни днем, а другие ночью. Вскоре появилась еще одна кроватка с новой табличкой: «Младенец Куасс». Кори-Эндрюсы попросили разрешения окрестить ребенка, и, когда они оба явились сюда, мистер Кори-Эндрюс перчеркнул слово «младенец» и нацарапал «Питер».

— Ха-ха! Каков плутишка! — умилялся милейший джептльмен. — Он-то сумеет за себя постоять! Поздравляю вас, Вероника! Какой красавчик! Питер! Питер! Питер! Можете себе представить: когда нам сообщили об этом по телефону, Милли упала в обморок; честное слово, мы как раз обедали, и ей стало дурно.

— Да, правда, — подтвердила жена, — я чуть не захлебнулась супом.

Так как Веронике предстояло вскоре расстаться с Питером, решили, что ей не следует кормить его грудью, но Вероника настояла на том, что сама будет поить сына молоком из бутылочки.

Почти каждый день ее навещал Арпад. Он с нескрываемым удовольствием поглядывал на округлившуюся грудь Вероники, белую, как свежеструганная береза, и такую соблазнительно пышную по сравнению с прежней, девической грудкой.

Дважды в неделю приезжали Кори-Эндрюсы, и сразу было видно, что они уже полюбили ребенка, ребенка Вероники, ставшего теперь их собственностью. Молодая мать чувствовала себя хорошо, но бывала вполне счастлива только в те короткие минуты, когда ей разрешалось взять на руки маленького Питера.

Прошел положенный срок, Вероника уже поправилась после родов. Теперь почти все время она

проводила в больничном саду. Это был истинный рай, мирное убежище под сенью цветущих деревьев, пышно красующихся в своем новом весеннем уборе. За газопом в саду ухаживал, не слишком усердствуя, но любовно, одиоружий садовник с топорным, грубоватым лицом и неизменной трубкой, зажатой в тонких губах. Три или четыре лужайки, заросшие неподстриженной травой, пестрели маргаритками, а опавшие цветы акации лежали на яркой зелени, словно белые уснувшие пчелки. Вероника дремала и сквозь сон слышала, как кукушка или грач, покачиваясь на ветке тополя, пререкается со всем пернатым миром. Слезы катились по щекам Вероники. Ей казалось, что она выбралась из какой-то темной пещеры времени и вышла на свет, к сияющим садам Гесперид. О блаженные дни! Вот так бы остаться лежать здесь не двигаясь. Но ей почему-то все время вспоминались слова старой глухой песни:

Когда на полях зацветут маргаритки,
К тебе я вернусь.

Да, было что-то такое, что должно вернуться, что-то, чего она уже больше не желала, по что это было — она сейчас не отдавала себе в этом отчета. В полдень няня приносила кормить маленького прелестного Питера, и Вероника его кормила.

Одна из нянь была шотландка с болезненно желтым, от природы желтым лицом; и, точно одного этого было еще недостаточно, оно у нее постоянно лоснилось. Трудно испытывать особую приязнь к женщине такого типа — и Вероника ее невлюбила. Няня эта принадлежала к какой-то суровой религиозной секте; случалось, что ее вдруг охватывал порыв преступленного благочестия, и тогда она тут же бухалась па пол у кровати родильницы и начинала молиться.

Про нее рассказывали, что когда-то она служила в родильном доме где-то в рабочем квартале и однажды принимала ребенка какой-то немущей женщины. Ребенок только появился на свет и тут же испустил дух.

— Клянусь святым Аптонем, — сказал врач-практикант, любивший пошутить, — оплошал парнишка, не вовремя выскочил! Вот теперь и умер прекрещеный.

— Сэр! — воскликнула глубоко потрясенная няня Мак-Кей и заплакала. — Сжальтесь над невинным младенцем!

И она тотчас же схватила кувшин с водой и молитвенник и стала умолять молодого доктора, чтобы он окрестил ребенка.

— Нет, нет, ни за что! — возмутился доктор.

— Крестите! — не отставала няня.

— А как мы его назовем? — проворчал он. — И, кроме того, вода ведь все равно не освященная.

— Александром, — сказала няня Мак-Кей и открыла ему соответствующую страницу в молитвеннике.

— Да некогда мне все это читать. Вы знаете, у меня нет времени, и вообще так не полагается делать.

— Читайте! — сказала няня.

И он стал читать молитву и закончил: «Нарекую тебя Александром во имя святой католической церкви».

Няня Мак-Кей что-то шептала и плакала — она была крестной матерью; доктор уверял, что он сапрапанец и верит в предопределение, но, как бы там ни было, он оказался крестным отцом.

И боже мой, как им потом пришлось расплачиваться, когда мать ребенка узнала о происшедшем; вот уж поистине неблагодарность! Это была смышленная и бойкая на язык женщина, а муж ее был кондуктором омнибуса. Сначала она просто надулась, потом стала поносить пияю, а еще больше доктора, а муж — тот совсем разошелся и закатил целый скандал.

— Что же выходит, — говорил он, — ведь ребенка теперь надо хоронить.

— А как же! Христианское погребение надо совершить. Бедный младенец! — неумолимо отвечала няня Мак-Кей.

— А кто мне даст денег на христианское погребение? — заорал муж. — Незачем это было делать: не живой же он был, мертвый.

— Но он не мертворожденный, — напомнила няня Мак-Кей.

— А крестил его мертвым, — твердил тот. — Нечего было вам лезть не в свое дело! Я бедный человек, у меня нет ни гроша за моей христианской душой. Оставьте, ради бога, нас в покое!

Странная история! Но, может быть, все это и неправда. Хотя няня-шотландка казалась именно такой женщиной, которая могла бы так поступить. Вероника не любила ее.

Иногда Вероника держала на руках крошечный комочек собственной плоти. И хотя он ничего не видел, как крот, был жалкий, как червячок, издавал малоприятные звуки и был так похож на любое другое смертное существо, что Вероника часто сомневалась, действительно ли это ее Питер или, может быть, няня спутала его с каким-нибудь другим, она никак не могла удержаться от умильного лепета, глядя на его открытый ротик и круглую головку, напоминавшую ей какого-то геральдического дельфина.

— Мой милый, крошка, сыночек любимый! — шептала она без конца.

Незадолго до выписки из больницы, в промежутках между сном и едой, она прочла большой русский роман, который принесла ей Ида Парагрин: «Анну Каренину» графа Толстого. Вероника нашла, что это в высшей степени волнующая книга. И хотя Арпад читал редко, она сказала ему, чтобы он непременно прочел этот роман, и Арпад взял его с собой.

Вероника пролежала в родильном доме месяц. За несколько дней до возвращения домой Арпад, сидя с ней в саду, рассказал ей, как он обо всем окончательно условился с Корп-Эндрюсами. Они приедут сюда с няней в день отъезда Вероники и возьмут ребенка к себе. Арпад выглядел таким красивым в своем светло-синем спортивном костюме и шафранном жилете, а его бархатный баритон звучал так внушительно, что в любом конце сада отчетливо был слышен каждый слог, даже когда он понижал голос.

— Но разве ты его не любишь? — На глазах Вероники выступили слезы, и голос ее дрожал от душевной боли.

— Да, он великолепен! — ответил ее муж. — Превосходный экземпляр, первый сорт, сразу видно породу. Корп-Эндрюсы прямо-таки в восторге от него.

— Но разве ты его не любишь?

— Поверь! Ах, господи...

— Я хочу его оставить, — сказала Вероника.

— И я бы не возражал, если бы это было возможно. Я сам был бы рад, дорогая, уверяю тебя.

— Да? — сказала Вероника.

— Но сейчас это, разумеется, невозможно, и говорить об этом уже поздно: ведь мы обо всем условились.

— Нет, нет! Давай оставим его!

— Мне очень жаль, Вероника. Но ты не хуже меня знаешь, что все уже решено. Да, кроме того, тебе очень скоро надоело бы все это. Дети — чудовищная обуза, а стоит им подрасти, и они платят вам страшной неблагодарностью, и выходит из них черт знает что...

— Да, но я должна тебе сказать: я не могу отдать его.

— Ты будешь с ним видеться время от времени, Парри, и даже довольно часто.

— У меня такое чувство, — сказала она, — точно ты его продаешь, как ягненка.

— Полно, полно, Вероника. Пожалуйста, не говори этого, Вероника, прошу тебя.

— Но ведь ты его продаешь!

— Это нечестно с твоей стороны, и ты отлично знаешь! Ты сама согласилась. Ведь согласилась? По своей доброй воле, разве нет? Ну, честное слово, так не годится.

— Ты не любишь его и меня не любишь. Ах, зачем только мы дали ему родиться!

— Ну, если на то пошло... Я тебе прямо скажу, ты совершенно не считаешься с моими чувствами, Вероника. Я переживаю это так же тяжело, как и ты, если не еще тяжелее. Скорее всего гораздо тяжелее. Но тебе нет дела до моих переживаний, ты думаешь только о себе. Для меня это огромная утрата, но подумай о ребенке: какие великолепные условия — богатство, роскошь, образование, Уинчестер, Кембридж, наследник огромного состояния.

— Арпад! Я хочу, чтобы он был мопм.

— Подожди, я еще не кончил. Мы дали слово, слово чести, и мы должны его сдерживать. Порвать теперь с Корн-Эндрюсами было бы бессовестно, подло; нет, так нельзя.

— Я не выдержу этого, я умру, — сказала Вероника. Она говорила тихо, но голос ее уже не дрожал и глаза были сухие.

Через два дня после этого разговора больничный доктор сам сделал попытку переубедить мужа Вероники, но ничего не добился и только разозлил его.

Доктор, маленький человечек в больших очках, отличался такой необыкновенной вежливостью, что от одного этого можно было прийти в бешенство.

— С вашей стороны, конечно, очень любезно принимать такое участие в наших делах, но честное слово... — огрызнулся Куасс.

— Ваша жена — моя пациентка, — мягко вставил доктор.

— Совершенно верно. И я вам очень признателен. Но вы должны понять, что поскольку мы связаны определенными обязательствами, то теперь уже не можем отступить, и поэтому лучше покончить с этой неприятностью сразу. Если бы я, скажем, находился на поле боя и у меня оказалась бы раздробленной рука, а хирурга поблизости не было, я, не задумываясь, сам отрезал бы себе руку.

— И поступил бы в высшей степени неразумно, — доктор добродушно усмехнулся.

— Я такой, — мрачно продолжал Арпад.

— Вероятно, это кончилось бы для вас весьма печально.

— И так же поступила бы миссис Куасс. Я убежден.

— Может быть, она так и поступила бы, — задумчиво протянул доктор. — Но почему вы это делаете за нее?

— Что вы хотите сказать? — вспыхнул Арпад. — Терпеть не могу загадок.

Маленький доктор сохранял великолепное хладнокровие.

— Я хочу сказать, что вы сейчас не на поле боя, что здесь есть доктор и никому не надо отрезать руку. И я считаю, что неразумно, больше того — нелепо разлучать мать с ребенком.

— Но здесь нет и тени принуждения! — вскричал Арпад. — Никто никого не принуждал. О чем вы бес-

покоптесь? Ни малейшего припуждения не было и не может быть. Моя жена добровольно приняла на себя это обязательство.

— Вот это, — пояснил доктор, — и является причиной моего беспокойства: жена ваша мужественная и добросовестная женщина, она не отступится от своего обязательства — как вы позволите это называть, — пока вы ее не освободите от него сами. И это может иметь нежелательные последствия; я считаю своим долгом вас предупредить.

— Какие последствия?

— Не берусь определить точно. Разные могут быть заболевания: психическое расстройство, полный упадок сил, нервное истощение...

— Ах, боже милостивый! — проворчал Куасс. — А о ребенке вы думаете? Вы, вероятно, не знаете, что, в сущности, представляет собой наше соглашение с Корн-Эндрюсами?

И Арпад с торжествующим видом рассказал доктору о единственных в своем роде преимуществах, которые сулило это соглашение ребенку: великолепные условия — богатство, роскошь, образование, Уинчестер, Кембридж, огромное наследство.

— Ничего этого я предоставить ему не в состоянии.

— Но вы можете, — невозмутимо заметил доктор, — дать ему мать, а чем меньше роскоши, тем для ребенка лучше. Роскошь — это излишества в еде, в обстановке, в чужих услугах; больше галстуков, чем успеваемы сносить; ожирение, подагра, фурункулы под мышкой. И если для этого нужно богатство, то не лучше ли *mens sana in corpore sano*?¹

— Ну, знаете, оставим это! — заорал атлетический супруг. — Хватит с меня этой высокоумной чепухи. Свежий воздух, аскетизм, диетическое питание и прочая благодать! Терпеть этого не могу. Нет, вы скажите мне как честный человек, можем ли мы, по-вашему, нарушить наше торжественное обязательство и расторгнуть соглашение с Корн-Эндрюсами? Возможно, я что-то не предусмотрел, но я человек слова, и мое слово священо.

¹ В здоровом теле здоровый дух (лат.).

— Пожалуй, вам придется сделать выбор: расторгнуть соглашение либо разбить сердце вашей жены, — сказал доктор.

— Пфф! — фыркнул Куасс. — Насчет разбитых сердец мне все известно, а вы лучше прямо мне скажите, я спрашиваю вас... — Куасс наклонился и сорвал маргаритку. — Если бы судьба ребенка была в ваших руках... — Куасс взял маргаритку в рот и откусил венчик. — Как вы поступили бы? Ну, говорите! — Куасс выплюнул маргаритку.

— Вполне допускаю, — сказал, улыбаясь, доктор, — что Кори-Эндрюсы — очень милые люди.

— Вот именно.

— Хорошие люди. Полагаю, я даже уверен, что они будут с истинно родительской нежностью растить вашего ребенка, маленького Питера.

— Вот именно.

— И поэтому, если бы мне пришлось делать выбор между вами и ними, — доктор в раздумье погладил ладонь левой руки указательным пальцем правой, — я, вероятно, сделал бы тот же выбор, что и вы.

— Вот мы и договорились! — сказал, смягчаясь, Куасс.

— Да, — продолжал доктор. — Я уверен, что поступил бы именно так. Но поскольку я всего только врач, наблюдающий за вашей женой, и в качестве врача мне приходится... Н-да, тут я...

Он помолчал с минуту, щелкая пальцами, словно подыскивая нужное выражение.

— Ну, ну... — настаивал Куасс.

— Да, — сказал доктор весело и, улыбаясь, окинул взглядом огромную фигуру Арпада, — я мог бы пожелать только одно, чтобы вы провалились к черту.

— Фу! — Куасс, нахмурившись, зашагал прочь. — Какая наглость, — сказал он и повторил: — Фу!

В первый же день после возвращения Вероники из больницы Арпаду снова пришлось выдержать объяснение с женой, и тут он решил довести дело до конца.

Сначала он вел разговор в приподнятом тоне:

— Дорогая моя! Ты так молода, красива, такая умница. Ты знаешь, что жизнь наша складывается не из одних удовольствий, а в равной мере и из обязанностей; мы должны осторожно взвешивать каждый шаг,

избегать опрометчивых решений, и тогда мы сможем получить от жизни то, на что имеем право, и обойти коварные ловушки.

— Да, но мы могли бы оставить у себя маленького Питера, — сказала Вероника.

— Теперь уже поздно об этом говорить, — ответил Арпад более сухо, — ты знаешь это не хуже, чем я. Что сделано, того уже переделать нельзя.

— Нет, можно, можно и должно! — вскричала Вероника. — Я сейчас пойду и принесу его домой.

Тут уже Арпаду пришлось повысить голос:

— Да мыслимо ли это? Опомнись, что ты говоришь? Нет, это черт знает что такое! Нельзя же быть такой безрассудной! Ну, не упрямясь, перестань, выкинь все это из головы, и вот увидишь, все у тебя пройдет.

Он грозно шагал взад и вперед, а Вероника плакала. Затем Арпад взял с письменного стола пузырек с чернилами и встряхнул его.

— Скверные чернила, — сказал он и поставил пузырек на камин. — А где мои визитные карточки?

Вероника подала ему шкатулку с визитными карточками.

— Ну, может быть, через некоторое время? — всхлинула она.

— Да, да! А теперь будь умницей! Ну, Вероника!

Но все его ласки и нежности остались без ответа.

После этого разговор о ребенке больше не возобновлялся. Вероника замкнулась в себе. Она тосковала, хирела, но уже не требовала, чтобы ей возвратили Питера. Корн-Эндрюсы увезли мальчика за границу, в Италию. Ребенок рос и чувствовал себя прекрасно. Для Вероники он умер. И многое другое умерло для нее; она была женой Арпада, матерью навсегда утраченного маленького Питера, но уже больше не была своему мужу ни возлюбленной, ни другом. Обида, которую она затаила в сердце, заставила ее прозреть, и она теперь видела, что Арпад нежен с ней не потому, что любит ее по-настоящему, нет, она для него ничего не значит, просто лакомое блюдо — что-то вроде сдобной булочки, которую он привык крошить за обедом. Женщинам всегда приходится терпеть от мужчин, которых они любят, все женщины — Анны Каренины.

Ее муж прочитал этот роман, и он ему не понравился: нравы ужасные, люди, выведенные там, все какие-то извращенные и пренеприятные, а этот Толстой, который мог написать такую книгу, просто чудовище. И всякий раз, когда безучастность Вероники принуждала Арпада к воздержанию или когда ее неизменно кроткие глаза напоминали ему, что рана еще не зажила, он обрушивался на «этого Толстого», приписывая ему и перемену в Веронике, и ее настроение, и ее холодность, и угасший пыл, и ее изменившиеся вкусы. Ведь сам Арпад ничуть не переменялся. Он был теперь более внимателен, чем когда-либо, она полюбила его сильнее, чем прежде, и он чувствовал себя влюбленным, как никогда. Он перечитал тайком многие страницы романа Толстого, потому что Вероника уверяла, будто в каждой женщине есть «что-то похожее на Анну Каренину», но не находил ничего похожего на Веронику. Просто какая-то сумасшедшая бросилась под поезд назло другим, именно назло! Иногда, окончательно сбитый с толку, он в бешенстве восклицал: «Черт бы побрал этого Толстого!».

В августе начали обставлять новый дом, и Вероника довольно равнодушно отнеслась к этому увлекательному занятию. Арпад надеялся, что перемена места и новое соседство окажут на Веронику магическое действие и повлекут за собой столь желанный перелом в ее душевном состоянии. То, что Вероника, которая ни на что не жаловалась, может быть больна, вряд ли приходило ему в голову, когда он задумывался о сошедшемся положении: просто она на него дует. Он достаточно опытен и разбирается в этом, и ему, как мужчине, следует отнестисьнисходительно к этой ее дури, которую он может понять, но ни в каком случае не оправдать; надо только переждать до тех пор, пока ее проклятое настроение исчезнет само собой и она сдастся и скажет: «Дорогой мой, конечно, это было глупо с моей стороны, я была несправедлива к тебе. Ты прав. Прости меня». И хотя по временам Арпад тайне испытывал горькую обиду, он, конечно, простит ее, тут же простит. Вероника часто заходила в какой-нибудь комнату и сидела одна; и как-то раз, проходя мимо, он услышал, как она тихонько напевает.

Он стал прислушиваться. Странно, никогда раньше он не слышал, чтобы Вероника села:

Хлоп в ладошки! Хлоп в ладошки!
Палочка принес лепешки,
Очень вкусные лепешки
Для нашего крошки.

— Фу! Что за ерунда! — Но осторожно, стараясь не шуметь, отошел от двери.

Новый дом был невелик, но радовал глаз светлыми красками. И все в нем было так хорошо, так удобно устроено, а от дома к реке шла тропинка по заросшему склону, и внизу под навесом стояла хорошенькая лодочка с флажком, на котором было вытиснено: «Вероника».

В воскресенье они уплыли далеко по реке, а в полдень причалили к берегу и уселись на лужайке, чтобы поесть, и Вероника испугалась коров, которые подошли и уставились на них.

— Вот трусиха! — стыдил ее Арпад. — Ну, что тебе может сделать корова? Самая безобидная скотина на свете!

Потом откуда-то налетели осы.

— Не отмахивайся от них! — кричал он. — Если ты не будешь обращать на них внимания, они тебя по тронут. Вот уж самые безобидные создания!

Оса села к нему на руку.

— Ну вот, посмотри, видишь? Я же тебе говорю — совершенно безобидные!

Оса сидела неподвижно, пока Вероника на нее смотрела. И вдруг Арпад вскрикнул.

— Вот гадина! — завопил он и прихлопнул ужалившую его осу другой рукой. Вероника, улыбаясь, взглянула на мужа.

— Вероятно, ее что-то испугало, проклятую, — пояснил Арпад.

Тут оса села на лицо Вероники. Вероника не пошевелинулась. Она перебралась со лба на перепонку, но Вероника даже не моргнула. Арпад встревожился, но не подавал виду. Оса спустилась на самый кончик носа — Вероника, скосив глаза, следила за пустрой злодейкой, пока оса, то ли удовлетворенная, то ли разочарованная, не улетела прочь.

— Bravo! Bravo! — вскричал Арпад. — А что я тебе говорил?

Вероника уверяла, будто ей вовсе не было страшно, а сама так и вспыхнула от гордости. Арпад принял это за добрый знак и решил, что она наконец-то оттаяла.

— Давай-ка поищем другое место, — сказал он, — вон их здесь сколько налетело, надоели.

Они пошли через пастбище, поросшее кустиками шиповника и ежевики, и вдруг Вероника вскрикнула и схватила Арпада за руку. Прямо перед ними, медленно извиваясь, ползла змея; голова ее пряталась в густой траве, желто-коричневое туловище было примерно в ярд длиной; змея еще их не заметила.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал жену Арпад. — Она не ядовитая, не пугайся, это обыкновенный уж.

Тогда Вероника повернулась и стала разглядывать змею и медленные, волнообразные движения ее желто-коричневого туловища, замправшие у кончика хвоста.

— У змеи ведь нет ушей, — сказал Арпад. — Они глухие. А эта — неядовитая, ее можно спокойно взять за хвост.

— А ну-ка возьми, — сказала Вероника.

Он покачал головой:

— Противно к ней прикасаться.

— Боишься? — спросила она.

— Да нет, visколько не боюсь. Она же безвредная. Мне просто внушают отвращение такие твари, как мыши, ухвертки, лягушки. И змеи. Они такие гнусные.

— Мне хочется ее хорошенько рассмотреть, — прошептала Вероника.

— Боюсь, что тебе не удастся, — сказал Арпад.

И вдруг Вероника нагнулась, схватила змею за хвост и подняла ее в вытянутой руке.

— Боже! Брось, брось сейчас же! — закричал Арпад, пятясь от нее. Змея, повисшая в воздухе, судорожно извивалась, а Вероника, улыбаясь, смотрела на нее. Змея, как ни корчилась, не могла достать до ее руки. Вероника подержала ее несколько секунд, потом швырнула и с улыбкой повернулась к мужу. Змея исчезла с быстротой молнии.

— Уйдем отсюда, ты просто не в своем уме! — кричал Арпад, и они поспешили назад к лодке. Когда они

отчалили, Арпад заметил, что Вероника сидит бледная как мел.

— Что с тобой? Тебе дурно? — спросил он.

— Я... меня немножко тошнит, — призналась она. Арпад сердито взмахнул веслами.

— Естественная реакция. Незачем было трогать змею! — огрызнулся он.

— Но ты ведь сказал, что она безвредная.

— Все равно, неслепо так вести себя.

— Почему?

— А вдруг она оказалась бы ядовитой. Никогда нельзя быть уверенным. Я ведь не знаток в змеях.

Они больше не говорили об этом, и он продолжал грести в полном молчании, до бешенства раздраженный происшествием. Ведь это с ее стороны не бравада. Нет, он не сомневался, что она поступила так просто назло ему, просто чтобы досадить. Значит, она все еще злится. Вот такую же штуку могла бы выкинуть и Авна Каренина, все они такие...

Они молча плыли все дальше по течению, среди пастбищ, заросших кустарником, и скошенных лугов с высокими стогами. Мягкий, теплый ветерок лепиво замирал в густой листве деревьев: время тихо покачивало свою шелковую колыбель, и Вероника нежлась в ней в полудреме. Вдруг, безо всякой видимой связи со всем предыдущим, Арпад сказал очень громко:

— А в Китае больше пет драконов!

Но Вероника думала о своем ребенке, который никогда не лежал у ее груди. Он теперь в Италии. И она тихонько запела:

Хлоп в ладошки, хлоп в ладошки,
Папочка принес лепешки...

Арпад с силой рванул веслами, они заскрипели в уключинах, и вода забурлила под рассекавшими ее лопастями; а жена сидела против него и покачивалась взад и вперед при каждом мощном рывке.

— Куда же девались драконы? — спросила она.

Вероника, к сожалению, совсем не интересовалась новыми соседями. Да и они тоже были люди равнодушные, холодные, и, по-видимому, у них был свой круг друзей и они вполне им довольствовались. Арпада это не смущало; ведь он-то находил себе друзей где

угодно. Зимой и летом у него всегда была компания. Бесспорно, эта новая Вероника приводила его в недоумение, и нередко он испытывал раздражение и досаду. Но никогда еще он не испытывал такого чувства досады, как в тот злосчастный осенний, надолго запомнившийся ему день. Все было затянуто туманом — дороги, поля, дома и железнодорожные станции. Люди задыхались в тумане, земля и все живое над ней и под ней притаилось в ужасе, потому что небо стало какой-то пустыней, птицы умолкли, деревья плакали, а от мостовых поднимался пар. К вечеру туман рассеялся, но небо на западе, освещенное закатным светом, пробившимся сквозь сердитую тучу, казалось багровой раной; так живой раной и остался навсегда этот день в памяти Арпада.

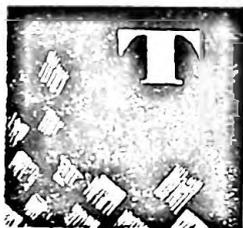
Вероника пошла на станцию, взяв с собой маленький чемоданчик. И зачем только она пошла? Зачем? Она стояла на перроне, и каким-то непостижимым образом ее сплб подходивший поезд, и она погибла. Несчастный случай, ужасный и необъяснимый, таинственный и трагический, но, конечно, это просто случай, несчастный случай.

Куасс был потрясен до глубины души этим страшным известием.

— Ах... проклятие!.. Вероника!.. Во всем виноват Толстой!

Это было первое, что он сказал.

СТАРИК



ам, в деревне, женщины называли Дика «грязный старик»; дети, казалось, совсем его не замечали, а их отцы величали его «почтенный» или «старина Дик», вздыхая при этом с безотчетной завистью. Завидовать, собственно, было нечему: жил он в лесу, в убогом шалаше, кое-как собранном из сучьев, перетянутых бечевкой и покрытых брезентом, а спал на соломе. Рядом с шалашом находился очаг, и за то долгое время, что старый Дик прожил в лесу, там выросла гора золы почти вровень с домом.

Было ему уже семьдесят лет. У «почтенного старика», одетого в лохмотья, скрюченного, опирающегося на две палки, был веселый и задорный голос, а душа неукротимая, смелая и чистая, как вода из родника, который готов поделиться последней своей каплей с последним или первым встречным — все равно. Так и старый Дик готов был всем поделиться с каждым встречным.

Когда Дик бывал пьян, он пел, а когда не был пьян, разговаривал вслух — ни о чем, ни к кому не обращаясь, потому что шалаш его стоял в лесу, на маленькой прогалине в большом лесу, и далеко вокруг не было ни одного селения. Питался он, можно сказать, воздухом и собственной добротой и теплил свое страждущее сердце надеждой. А такой человек способен надеяться невесть на что, и сущий пустык — какой-нибудь двухпенсовик — доставляет ему настоящее блаженство.

Однако была у него неотступная мечта — желание столь же пламенное, как и жалкое, — иметь осла. Он не раз докучал людям, которые, как он думал, могли ему помочь в этом; не раз выпускал он в мир из колычега своих бедствий голубя — вестника своей мечты, но голубь не возвращался, во всяком случае, не приносил ему осла; осел так и не свалился к нему с неба

внезапно, как гром в ясный день. Если бы это даже случилось, осел несколько бы не ушибся: такой это был огромный лес, так широко протянулся он на много миль и покрыл все холмы вокруг, и так густо разросся, что если бы вы упали с воздушного шара на верхушки деревьев, то вам в конце концов показалось бы, что вы нырнули в пуховую перину.

А лес этот был полон птицы и дичи, а также лесных сторожей. Лесникам не нравилось, что старик живет там: они считали это неправильным. Но лесники приходили и уходили, право на охоту уже приобрело какое-то коммерческое общество, а старик продолжал жить в шалаше, и новые лесники заставляли его там же, где оставляли его их предшественники. Они даже пользовались его услугами: старик подметал дорожки, расчищал просеки, метил фазаньи гнезда, следил за кроликами, ласками, стаями голубей и никому не мешал их стрелять. Иногда ему удавалось заработать несколько шиллингов: он ставил плетни на фермах или выкорчевывал пни в поле. Но чаще всего он собирал хворост и развозил его на ручной тележке по окрестным деревням. Вот почему он мечтал об осле и только об осле: животное, все четыре ноги которого короче чем одно его ухо, возило бы на себе вдвое и втрое больше хвороста и сразу сделало бы Дика богачом.

Однажды Дика послали с каким-то поручением к главному леснику Тому Хасси, и когда старик вошел к нему в дом, Том Хасси показал ему целое семейство щенят из породы охотничьих, которых он выхаживал. По словам Тома Хасси, их родословная была такая же длинная, как дышло его телеги; одна только их мать стоила пятьдесят золотых гиней, а основатель рода принадлежал самому лорду Кеймоверу, и тот не продал бы свою собаку ни за какие деньги, не променял бы ни на что, даже на английскую корону. Вот эти-то шесть щенков, только что отнятые от матери, весело повизгивали, красивые и крепкие все, кроме одного, который казался жалким заморышем.

— Эту сучку, — сказал Том Хасси, — придется прикончить. У нее не заживает пуповина.

— Не надо, — сказал старый Дик. Он знал толк в собаках, а не только в птицах, ягнятах и ослах. — Дай ее мне!

Том Хасси отдал ему щепка, и старик отнес его к себе в шалаш, искусно перевязал холстинной тряпочкой и дал ему пмя Сосси.

Ежедневно он менял повязку на брюхе Сосси (старик знал, как ходить за собаками). Щенок окреп и вырос и по ночам резво копошился в соломе рядом с Диком, и Дик, глядя на него, радовался. Они жили дружно. Рука у Дика была легкая: он удачливо ставил сетки, а кроликов в лесу было полно. Кроме того, он неутомимо выпрашивал кости и всякие объедки для Сосси. Он брал ее с собой повсюду и так хорошо обучил искусству повиновения, что достаточно было ему мигнуть одним глазом, и Сосси уже понимала, что от нее требуется. Примерно месяцев через шесть Дик в последний раз снял повязку и выкинул ее. Теперь Сосси была здоровая, сильная, великолепная собака, ласковая, красивая, понятливая. Какая блестящая была у нее шерстка! Какой пушистый хвост! А глаза... Как много они говорили!

Вскоре после этого Том Хасси пришел как-то в лес пострелять голубей. В лесу всегда где-нибудь жила большая стая голубей, и когда они взлетали с деревьев, шум тысяч крыльев очень напоминал рокот морской волны. И вот пришел в лес Том Хасси и, проходя мимо шалаша, окликнул старого Дика и пожелал ему доброго утра.

— Заходи! — крикнул Дик, и Том вошел в шалаш.

Увидев собаку, он так и остоленел. Сосси забеспокоилась, стала прыгать вокруг него и обнюхивать его карманы.

— Она, впасть, голодная, — сказал Том.

— Ну нет... Поди прочь, бессовестная!.. Нет, она не голодная, она только что сожрала целую миску костей... Поди прочь!..

Когда Том стрелял, Сосси стояла у его ног, а затем сорвалась, как стрела, и принесла ему птицу.

— Дик, а ведь ты можешь теперь обменять собаку на осла, — сказал Том Хасси.

— Что, плохой у нее поиск, а? — весело крикнул Дик.

— Топчайший, — последовал ответ.

— Талант!

— Врожденный. Она стоит двадцать фунтов. Продашь эту сучку и получишь осла. Есть?

— Нет, — сказал, подумав, старик. — Я этого не сделаю.

— Она стоит двадцать фунтов. Хорошие деньги.

— Не возьму, я же тебе сказал!

— Продай собаку и получишь осла. Это мое последнее слово, слышишь? — сказал Том Хасси, уже уходя.

Но «почтенный» был мудрый, дальновидный и очень хитрый старик, и, когда пришло время, он и Том Хасси заключили тайное соглашение. Для Тома Хасси это было бы делом весьма рискованным, если бы он уже не переходил тогда на службу в другое поместье; вот почему он решился на это. С согласия Тома Сосси тайком свели с лучшим охотничьим псом его хозяина, очень породистым и по всем статьям равным тому кобели лорда Кеймовера, от которого происходила Сосси. Таким образом, когда Хасси уехал, старый Дик остался в лесу со своей драгоценной собакой и ждал, что через несколько недель Сосси принесет ему щенков самого высокого происхождения, едва ли не лучших щенков этой породы во всей округе. Он не решался даже подсчитать, какова их стоимость, но, во всяком случае, денег будет столько, что идея приобретения осла окажется сразу же устаревшей и жалкой. Нет, если все пойдет хорошо, жизнь его совершенно изменится. Он бросит свой противный шалаш, который очень ему надоел. А если дела пойдут совсем замечательно, он купит лошадку, и телесжку, и немного кокосовых орехов, и поедит еще по ярмаркам и повпадает еще кое-что на белом свете. Кокосовые орехи! Нет ничего выгоднее для торговли. И, быть может, он еще подыщет какую-нибудь славную старушку, которая согласится ехать вместе с ним.

Эта светлая мечта озаряла теперь все его думы, он, можно сказать, жил ею, как поэт; любовно холил собаку, которая была причиной перемены в его жизни и сулила осуществление заветного желания. Единственным зловещим облаком на ясном горизонте был новый лесной сторож, совсем еще желторотый юнец, который решительно невзлюбил старика. Дик очень скоро убедился в этом, потому что новый лесник стал особенно внимательно следить за тем, что происходит поблизости

от шалаша, то и дело опрокидывал силки, расставленные Диком, уносил его сети и к тому же еще жаловался всем на «грязного старика», который занимается браконьерством. И это была правда: старик в самом деле был грязен, он очень опустился и кое в чем нарушал правила охоты, потому что ему, как и всякому другому человеку, надо было чем-то пабить желудок и у него, кроме того, была собака.

Как-то ранним утром, когда Дик разводил огонь в очаге, пришел новый лесник. Это был косоротый и коспоязычный молодой парень. С ружьем под мышкой, заложив руки в карманы, лесник стоял как столб. Некоторое время оба молчали, потом лесник сказал:

— Хорошо горит...

— Угу, и ты бы хорошо горел, — усмехнулся старик, — если бы я разрубил тебя и бросил поверх хвороста в огонь.

Целые две минуты молодой лесник ничего не отвечал; он почти задыхался от бешенства. Потом сказал:

— Ах, так! А что ты, собственно, здесь делаешь?

Старик бросил несколько щепоток чаю в жестяную банку с кипятком.

— Ты занимайся своим делом, молодой человек, а я уж как-нибудь управлюсь с моим.

— Какые такие твои дела?

«Почтенный старик» сердито посмотрел на него:

— Мои дела? Вот что я тебе скажу: мои дела только меня и касаются. Ты это поймешь позднее, я полагаю, когда у тебя молоко на губах обсохнет. Никуда от этого не денешься. Погоди, пока проживешь с мое.

— Эге, — протянул лесник, — а я не собираюсь ждать.

— Таких парней, как ты, я встречал и раньше. — Старик начал злиться не на шутку. — Тысячи таких. Ты знаешь, что случилось с последним из них?

— Умер от блошиного укуса, как можно догадаться, — последовал невозмутимый ответ.

— Он у меня полетел кувырком. И без всякого предупреждения. — Старик ухмыльнулся, словно вспоминая. — Я ему показал! Дал такого пинка в живот, что он и свету божьего не взвидел и рухнул аккурат как бревно. Знаешь, что я потом сделал?

— Залез к нему в карман. И спрашивать нечего.

— Ха! Ни у кого я ничего и никогда не тащил, если только это мне не принадлежало. Аккурат, как бревно, говорю я тебе!

— Ладно, — протянул новый лесник, перекладывая ружье из левой руки в правую. — Мешка никто не соььет с ног...

— Угу, даже древняя старушка.

— Ни один человек, — спокойно продолжал лесник, — который осмелится тронуть меня, если такой найдется. — Он начал ковырять в зубах спичкой. — Ты получил мое письмо? — добавил он уже другим, очень резким тоном.

— Какое письмо?

— Я тебе послал письмо.

— Стало быть, ты послал его с мокрой курцей. Я не получал никакого письма.

— Я знаю, что письмо у тебя, по все равно повторяю снова. Хозяин приказывает выгнать тебя из лесу, тебя вместе с твоей собакой. Я тебе даю время на сборы, я не хочу с тобой поступать жестоко, но лучше уходи, да поживей, и ты и твоя собака.

— Что ж, мы можем уйти, коварный ты человек, можем уйти.

— Стало быть, все в порядке.

— Уйдем, когда нам вздумается. А кто будет выполнять мою работу?

— Какая еще работа?

— Гу, какая работа! — презрительно пробурчал старик. — А кто будет за всем следить? Ведь браконьеры, тысячи их, только и ждут, чтобы я уснул! Но им это не удается.

— Не думаю я, чтобы кто-нибудь мог спать в такой дыре, как эта!

— Ха! Я мог бы спать, я мог бы спать так долго, что за это время мешок с картошкой успел бы сгнить. А кто тут будет убирать после бури, когда кругом все поломает? Я расчищаю тропки, расчищаю их для всех и для каждого, даже и для тебя.

— А кто тебя просил? Никто тебя не просил, мы можем обойтись без всего этого, без тебя. Ну, теперь я все сказал.

С этими словами молодой лесник пошел прочь.

— Эй! — крикнул ему вслед «почтенный старик». — Аккурат, как бревно, говорю я тебе, аккуратно, как бревно.

И пока его враг не исчез из виду, старик продолжал напоминать ему о беспыстательном пходе той схватки.

Старый Дик сохранял внешне равнодушие, но был очень взволнован: он знал, что игра проиграна, что ему придется искать пристанища в другом месте. По мплости судьбы удар был нанесен пменно в тот момент, когда он не мог уже особенно больно задеть его. Он хотел только, чтобы Сосси успела выкормить щенят, и тогда он уехал бы, уехал бы с легкой душой, отправился бы, как человек зажиточный, на своей лошадке и тележке, проехал бы через весь Йоркшир или Оксфордшир вместе с какой-нибудь старушкой.

Неделю спустя Сосси благополучно разрешилась девятью щенятами. Бывают чудеса — они должны случаться, — но невозможно предвидеть такое чудо: девять щенят! Они родились в шалаше подле человека, и теперь все — Дик, Сосси и девять комочков — спали вместе. Через несколько дней, когда Сосси, несмотря на успыенное питание, пачала тощать, щенята были упитанные, гладкие, как шарикки.

Когда им минуло семь дней, старик с утра отправился на работу — ставить плетень. Было ясное ветреное мартовское утро, и ему бросилось в глаза, что в эту раннюю пору облака были ярко-розового цвета. Это сулило хороший день, хотя некоторые облака имели странные очертания — словно гусь с повернутой назад головой. Это что-то предвещало! Дрозды вели замечательно. После того, как Сосси вкусно поела из одного с ним котелка, старый Дик завесил мешковиной вход в шалаш и предоставил щенков заботам матери. Он заковылял прочь — пошел на работу.

Плетень он ставил на нагорной ферме, откуда был виден его лес. В полдень, когда пришел час завтрака, Дик присел и стал смотреть вдаль на обширный суровый темно-коричневый массив, которому скоро предстояло зацвести, покрыться сказочной сеткой листвы. Прогалины и холмы покрылись пятнышками подснежников, заросли орешника были сплошь усыпаны желтыми стручками. На всем этом обширном пространстве

была одна только щелка, в которую он из года в год вползал, подобно улитке, но она слишком мала, чтобы укрыть его навсегда, и теперь они должны уйти, он и Сосси.

Совсем рядом был пруд, а дальше — конюшня. Две белые лошади прилегли на клочке земли, примыкающем к ферме, а сорока наблюдала за ними с верхушки стога. Красный бык отфыркивался в воде пруда; когда он поднимал голову и смотрел на старика, целые потоки воды стекали с его обросших шерстью губ. Бык ловко облизывал сперва одну ноздрю, потом другую, но вода все стекала с его морды одной длинной клейкой струей. Большое облако зависло над ними, белое и спокойное, как лебедь.

Старый Дик встал и распрямился. Ветер утих. Когда наконец перевалило за полдень, Дик прекратил работу и пошел домой. На полпути он вышел на прогалину, сплошь усыпанную подснежниками. На холмике, уткнувшись мордой в пышный куст цветов, лежала его собака с простреленной грудью. Старик опустился на колени подле собаки, но что он мог сделать — она уже давно была мертва. Он вспомнил, что слышал ружейный выстрел, глухой, неясный отзвук. Быть может, Сосси вышла, чтобы поразмяться, и стала охотиться на кролика, или, может быть, она оставила своих щенят, чтобы пойти за ним. Лесник убил ее, застрелил собаку бедняка. Дик ничего уже не мог сделать. Злая судьба с непостижимой быстротой разбила все его надежды.

— Конченный я теперь человек, — сказал Дик с отчаянием, — и это как пить дать.

Он оставил собаку на месте и, гневно разговаривая сам с собой, побрел домой, к своему шалашу. Два щенка уже сдохли. У остальных был самый жалкий вид. Старик ничего не мог для них сделать, они были слишком малы, чтобы кормить их с руки, да ему и нечем было их кормить. Он выполз из шалаша и жадно припал к ведру с водой, стоявшему снаружи, а потом так и остался на коленях, устремив невидящий взгляд на тлеющие угли.

— Я знаю, да, да, я знаю, что можно сделать, — бормотал он, беря длинный, тяжелый топор. — Шлепнуть этой штукой понижее уха, и никому больше не

придется сбивать его с ног — ни мужчине, ни старушке. Садапуть, скажу я, и конец, тут и чихнуть не успеешь, как от него останется мокрое место.

Старик со стоном воткнул топор в землю.

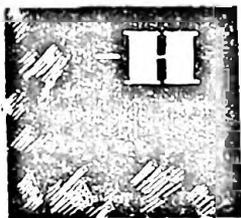
— Да, я теперь конченый человек, конченый, ах, ты...

Он сел, а ведро поставил между колен. Потом схватил щелка и швырнул в ведро.

— Вот твой осел... — прошептал он. — Ох-хо-хо! А вот она, лошадка, — он стал кидать остальных, одного за другим, — и телега, и кокосовые орехи. А вот, — и он с яростью бросил в ведро последнего щенка, — вот твоя старая подружка! Ух!..

Спустя некоторое время старик встал и выплеснул воду вместе с утопленными щенками в кусты; стук ведра, когда он отбросил его в сторону, лишь на короткое мгновение нарушил тишину леса.

ТРЕТИЙ ПРИЗ



ейбот Бэрд и Джордж Робинс увлекались бегом. Чемпионами они не были, но оба любили тренироваться и участвовать в соревнованиях — это было их времяпрепровождением, их страстью, их любимым занятием и главной темой разговоров. Ну, а порою кому-нибудь из них даже выпадал приз.

Однажды — было это в конце девяностых годов, в день августовского бабковского праздника¹ — друзья отправились за пятьдесят миль на состязания в некий город, где победителей собирались награждать не обычными в таких случаях побрякушками, а солидными денежными суммами. Город был не маленький, он мог похвалиться и доками и военным гарнизоном. Ему следовало бы считаться — да он и считался бы — большим городом, не будь одного особого обстоятельства: единственный тамошний собор находился на территории крошечного, но весьма спесивого задиря поселка, который желал сохранить независимость и вместе со своим собором (за вход шесть пенсов) оставался вне предела города.

Едва приехав, друзья увидели, что к месту соревнований движется чуть ли не все городское население: нескончаемый людской поток, состоящий из солдат, матросов и прочей разношерстной публики, путь которому то и дело преграждали голосистые мальчишки, назойливо вопившие: «Программку! А вот кому программку!», и прочие слепцы, стоявшие неподвижно и ничего не говорившие. Повинуясь законам некоей приятной алхимии, из толпы возникли и прилепились к нашим бегунам две милые девушки, Марджори и Минни, совсем непохожие друг на друга. Можно бы поразмыслить над тем, почему у девушек, которые выходят

¹ В этот день банки закрыты и банковские служащие не работают.

на охоту парамп и одеваются совершенно одинаково, сходства оказывается не больше, чем у Боадницеи¹ с миссис Хеманс², но размышления эти будут столь же причудливы, сколь и бесплодны. Девушки отличались друг от друга, как вишневая наливка от апанасного компота, но не больше, чем умяпугутые выше юнцы. Курносый коротышка Нэб Бэрд, механик, если говорить о ремесле, и кучер омнибуса, если говорить о честолюбивых чаяниях, торговал велосипедными шинами и в будке на уличном перекрестке чинил детские коляски. Он выбрал в подружки скромную Минни. Джордж Робинс, конторский служащий, красавчик и остролов, сложил сокровища своей галантности к стопам Марджори, и сделал это тем более охотно, что она выказала кое-какие черты, ничего общего со скромностью не имеющие.

— Так, стало быть, вы из Лондона! — воскликнул Джордж. — Как же вы сюда добрались?

Юная леди не слишком любезно заявила, что приехала поездом; не такой ведь он олух, чтобы вообразить, будто она добралась вплавь? И рады же они были, когда наконец приехали! Вагон был набит битком, и всю дорогу пришлось давать по рукам.

— Давать по рукам? Кому же это?

— Пьяницам, кому же еще! Только и думают о том, как бы облапить девушку.

Мистер Робинс намекнул, что ему такие мысли более чем понятны. Мисс Марджори заявила, что, значит, он понимает больше, чем ему положено понимать. Робинс выразил надежду, что она ошибается. Мисс Марджори ответила, что он, видно, вообще надеется на большее, чем может получить. Мистер Робинс сказал, что его стапет не только на это, но и на многое другое. И присовокупил, что если бы ему посчастливилось ехать тем самым поездом, то, при всем его почтении, он бы тоже и т. д. и т. п.

— Ах, вот как! — огрызнулась мисс Марджори.

— Ясное дело! — счел своим долгом сказать мистер Робинс.

¹ Боадница — британская королева, поднявшая восстание против римлян (1 век до н. э.).

² Английская поэтесса первой половины 19 века.

— Ну ладно, раз вы такой, я скажу, что я одному из них сделала.

Сделала она действительно нечто не слишком приятное.

— Леди! — воскликнул Джордж. — Надеюсь, со мной вы так не поступите?

— Это уж как вы себя поведете.

— А как вы желаете, чтобы я себя вел?

— А как положено вести себя, когда имеешь дело с леди?

— Смотря чего она от тебя ждет, — самодовольно выпалил Джордж.

— Ах, бросьте, — фыркнула она. — Вы ничуть не лучше других. А ведь на самом-то деле все зависит от того, чего ждут от меня. Съелп?

— Золотые слова, — подтвердил Джордж. — Вы девочка что надо.

— Вам это откуда известно?

— А что, разве не так?

— Хороша ли там, плоха ли — какая есть. Довольно вам этого?

— Если хороша, то не довольно.

Марджори выразила глубокое отвращение к его пониманию слова «хороша».

— Я и сам что надо, когда у меня *есть* что мне надо, — заверил ее Джордж.

— А я и так все про вас знаю, — сказала она, блестя глазами.

— Да ну? — вмешался Нэб. — Выходит, вам известно больше, чем ему бы хотелось, чтоб о нем знала его собственная мамаша.

Они дошли до поля, где происходили состязания. Там собралось великое множество народа, и букмекеры, окруженные охотниками биться об заклад, уже привели в боевую готовность свои подставки, ящики с карточками и прочее. Вокруг бегового поля расположилась праздничная ярмарка — балаганы, качели, карусели, тир и другие шумные и соблазнительные заведения. Беговую дорожку окаймляли зрители, настроенные одни проищески, другие восторженно. Состязания начались, их участники убегали и прибегали, букмекеры не сходили с места и вопли, шарманки плакали и ликовали, побежденные объясняли, почему они

потерпели фiasco в выражениях, вызывавших сострадательные усмешки на лицах победителей, которые, в свою очередь, объявляли, почему они одержали победу в выражениях, закигавших торжеством и гордостью глаза их болельщиков.

День был отличный, сверкающий, пахло зелению, кокосовыми орехами и серыми спичками. Среди прочих полуголых фигурок на беговой дорожке Марджори и Минни с трудом узнали молодых людей, с которыми пришли, и не сразу им удалось понять, что третий приз в беге на одну милю достался Джорджу. Как и все прочие победители, он стал предметом льстивых ухаживаний Джерри Чемберса, пройдохы кокни, живущего исключительно за счет изворотливости ума, — не очень-то спокойное у него было житье. Джерри, все проиграв, остался без гроша и в раздевалке палател на Бэрда и Робинса в надежде вытянуть у кого-нибудь из них хоть что-нибудь: много ли, мало ли — как повзвет.

— Послушайте, — таинственно шептал он, — в беге на милю победитель-то липовый.

— Что это значит — липовый? — спросил Нэб Бэрд.

— Что это значит? — Чемберс от души и очень визгливо потешался над безграничным невежеством юнца. — Да очень просто — он бежал под чужим именем, и у него было наверняка не меньше шестьдесят ярдов форы. Вот ты, Робинс, занял всего только третье место, а победитель-то липовый. Ты только положи мне на лапу, и я сделаю так, что его турнут за мошенничество. Я-то его знаю, я и отца его знал. Вот я что сделаю — добыюсь, чтобы второго призера тоже дисквалифицировали — как ты на это посмотришь? Гони мне крову, я сейчас заявлю протест, и ты заграбасташь первый приз, вот те слово, заграбасташь. Пять фунтов, неплохо? Я же ведь на тебя ставил, так какого же дьявола мне терять денежки из-за паршивого мошенника? Да, я ставил на тебя — десять фунтов против двух. Полкроны тебя не разорят. Не желаешь? Ну, твое дело, не хочешь — как хочешь. — Чемберс надвинул шляпу на один глаз и поскреб шею. — Уговаривать не стану. Одолжи десять шиллингов.

— Убирайся к черту.

— Ну, тогда хоть восемнадцать пенсов.

Они не дали ему и восемнадцать пенсов. Началась раздача призов, то и дело звонил колокольчик, выкликали имена, потом к столику у входа в павильон подошла некая титулованная леди, полная и весьма оживленная, и несколько человек ханжески зааплодировали. Это была первая титулованная особа, которую довелось лицезреть нашим друзьям, и ее громкое имя, а также тембр голоса подействовали на них магически вопреки ее внешнему виду — графиня графиней, но пузо у нее было, как у трактирщицы. Распорядитель, истый джентльмен по виду и рыботорговец по профессии, выкрикивал имена победителей: когда дошла очередь до Джорджа Робинса, он к великому своему удивлению, услышал: «Третий приз в беге на одну милю — У. Беллентайн!».

Робинс растерялся.

— О Джордж, они ошиблись! — охнул Нейбот Бард. — Перепутали!

На имя У. Беллентайна никто не отзывался, и тут Джордж неожиданно поменялся с другом головными уборами. Протянув Нэбу свою твидовую шапку, он одновременно схватил его котелок и нахлобучил на себя, хотя означенный убор был ему так мал, что на бюсте Гомера он и то выглядел бы лучше.

— Что... Джордж, что с тобой? — спросил его потрясенный друг, девушки захихикали, но Джордж Робинс, не тратя времени на объяснения, протискался сквозь толпу, подошел к столику и под именем У. Беллентайна получил свой собственный приз — один соверен. В знак благодарности он слегка приподнял свое неопишное головное украшение и высморкался в носовой платок внушительных размеров.

— Спасибо, Нэб, — сказал он, возвратившись к друзьям. — Теперь отдавай мою шапку назад.

Когда церемония была закончена, титулованная леди обменялась рукопожатием с джентльменом-рыботорговцем, и оба ушли — надо думать, каждый восвояси, и зрители отправились тоже кто куда, одни — повеселиться в балаганах, другие — домой пить чай. Джордж, с видом таинственным и озабоченным, предложил Нэбу и девушкам идти в какую-нибудь палатку, заказать там себе чаю и дожидаться его.

— Ладно, мы о нем позаботимся, — заявила Минни, беря Нэба под руку.

— О Джордж, куда ты направляешься! — воскликнул его пораженный друг, когда Марджори подхватила его под руку с другой стороны.

— Сейчас вернусь, через пять минут, не позже! — крикнул Джордж па ходу девушкам. — Покормите его кексом, да смотрите, чтобы он не перемазал себе физиономию.

И вот Нэб отправился с девушками пить чай и сказал:

— Не понимаю я, в чем тут дело.

— Правда, он замечательно бежал? — сказала Минни.

— Дивно! — подтвердила Марджори.

— Я не хочу чаю, — объявил Нэб. — Возьму себе парочку бутербродов с колбасой и порцию мороженого. А вы, девушки, заказывайте все, что вам по вкусу.

Они заказали то, что было в наличии, и наконец, как раз в ту минуту, когда Нэб в двадцатый раз вслух удивлялся, куда это запропастился Джордж, а Марджори в двенадцатый раз восхищалась тем, как он великолепно бежал, собственной персоной появился Джордж, сияющий от удовольствия.

— Джордж, куда ты ходил?

— Я ходил за своим призом.

— За каким еще призом?

— За бег на одну милю.

— За призом?

— А разве мне его не присудили?

— Но ты ведь его уже получил?

— По-твоему, я его получил?

— А разве нет?

— А разве да?

Нэб был озадачен, Джордж — весьма доволен.

— Сейчас все объясню. Слушай, Нэб. По недоразумению, этот приз присудили какому-то типу, по имени Беллентайн. Ладно, никакой такой Беллентайн приза не завоевывал. Его завоевал я — Джордж Робинс.

— Верно.

— Вот я и пошел к секретарю и сказал: «Будьте любезны, сэр, я Джордж Робинс. Мне достался третий приз в беге на одну милю, по случилось недоразумение,

и приз вручили какому-то Беллентайну. Как же мне теперь быть?». Ну, много было трепотни, и беготни, и совещаний с распорядителями, но в конце концов они убедились, что я говорю чистую правду, и выдали мне еще один свереп.

— Выходит, ты отхватил два сверепа? — воскликнул Нэб. — Два, подумать только!

Джордж скромно кивнул.

— И еще даже извинились передо мной за свою ошибку.

— Господи боже, какой же он!.. — восторженно сказала Марджори, обращаясь к Минни, и Минни как будто согласилась, что он и вправду такой. Но Нэб был смущен. Заявление Марджори, что па войне и в любви все средства хороши, он нашел неуместным и возразил:

— Война и любовь — это одно, а спорт — совсем другое.

— Нечего сказать, спорт! — вскричал Джордж. — Ты что, не знаешь этих профессионалов? Разве им можно верить? Возьми хоть Джерри Чемберса, — хотел бы ты с ним встретиться в темном переулке? Любой из них за пять пенсов глотку тебе перережет и глазом не моргнет. Он с тебя снимет обувь и стащит одежду, а шкуру оставит только потому, что больно она крепко к тебе приклеена.

— Знаю, Джордж, но ты-то обманул не их, а комитет.

— В другой раз не будут растяпами, вот и все. Это они перепутали, а не я. Не моя это ошибка, так ведь?

— Так-то так, но вроде бы похоже на то, как поступил бы Джерри Чемберс.

Тут вмешалась Марджори.

— А по-моему, это здорово придумано, а вы соучастник — вы ему дали свою шляпу.

— То-то и оно! Я ведь ее надевал, чтобы меня не узнали, ясно? Но я поделюсь с тобой добычей, Нэботик, так что перестань бурчать. На, держи полдобычи.

Джордж протянул руку, и Нэб увидел у него на ладони блестящий свереп.

— Давай полсверепена сдачи.

Девушки горячо одобрили это великодушное предложение, но Нэб, смущенно отвернувшись, сказал:

— Нет, Джордж, дружнице, спасибо, не надо.

И хотя все обступили Нэба, и упрашивали, и улецивали его, коротышка был тверд как алмаз. Очень мило со стороны Джорджа, но он не возьмет. Тем не менее они вышли из палатки все вместе дружной компанией, и Нейботу стало ясно, что сомнительный поступок его друга был в глазах девушек замечательным подвигом, а на его угрызения совести они смотрели как на нескромное выставление напоказ весьма сомнительной честности.

Смешавшись с толпой, они неторопливо спустились с холма и дошли до места, где образовалась пробка из зевак, сгрудившихся вокруг слепого нищего и его жены. Нищий наигрывал на жестяной дудке какую-то торжественную мелодию. В этом оборванце с жиденькой седой бородкой, нахлобучившем на себя пасторскую шляпу, в его прямой, высокой фигуре чувствовалось то не поддающееся определению достоинство, которое неотделимо от слепоты. Но его жена, явно старше годами, была совсем расслаблена и немощна; одной рукой она держалась за него, другой тянулась за скудными грошами, которые бросали сердобольные слушатели. Джордж и его друзья с немалым удивлением обнаружили, что перед нищим, повернувшись с явно насмешливым видом к толпе, стоит пройдоха Джерри Чемберс. Шляпу свою он бросил на землю и, стараясь привлечь внимание зрителей, как одержимый, махал простертыми к ним руками, одновременно пуская трели на манер уличного разносчика и строя уморительные рожи. Ему удалось достичь цели: благодушно настроенный праздничный люд останавливался и сбивался в толпу, загородившую дорогу. Ироническим взмахом руки Чемберс направил внимание зрителей на несчастную чету, стоявшую позади него.

— Посмотрите на них, — гремел, вопил и визжал он, — вы только посмотрите на них! Вам когда-нибудь в жизни случалось видеть такое?

Он помолчал минуту, потом заговорил тихим, вкрадчивым голосом:

— Братья мои, люди! Не ради себя ввязался я в это дело, и не ради льстивой славы, и не ради праздничной шумихи. Я жертвую пятью минутами своего времени ради моего компатрпарха и его благородной супруги. Посмотрите на них, люди! Я как поглядел на

них, так сердце у меня чуть не разорвалось. Послушайте, ведь вы не бесчувственные деревяшки, не такой у вас вид, и не мусор у вас вместо сердец, готов биться об заклад, что не мусор!

Старик прекратил свое торжественное дудение и презрительными глазами безразлично уставился на толпу, а спутница его, оглушенная и слегка напуганная, обеими руками уцепилась за него.

— Я сейчас спою комические куплеты, — снова заорал Чемберс, — а потом спляшу джигу, если мой преклопный компатриарх спзойдет и потрубит мне на своей дуде. А после пройдуся на четвереньках, и полаю по-тигриному, и в зубах буду держать мою покрывку, чтобы сыпался в нее золотые слитки для сего обедаемого семейства. Посмотрите на них, господа бога ради!

Покончив с песней — а пел он так хрипло, и куплеты были такие пелесые, что его великодушные старания ни к чему, можно сказать, не привели, — Чемберс встал в позу и приготовился танцевать.

— Порядок, дядюшка, давай начевай.

Но старик умел дудеть один-единственный гимн под названием «На пути в Сиоп».

— Боже милосердный! — взвизгнул обескураженный Чемберс. — Ну, люди, народ, братья мои, ничего не попишешь, вот моя шляпа, давайте-ка раскошелимся ради этих старых чучел.

И вот старик дудел свой гимн, а прохожа кокну клячил и требовал для него хотя бы несколько медных монеток. Зубоскала и увещевая, дошел он до Джорджа, и тут Марджори стала искать у себя монетку.

— Все в порядке, — шепнул Джордж, — все в порядке, — и показал блеснувший у него на ладони тот самый сомнительный sovereign. Марджори схватила его за руку, пытаясь удержать от столь безрассудной жертвы, но опоздала: Джордж уже опустил монету в шляпу Джерри и, приятно возбужденный, сразу отошел прочь, словно чего-то стесняясь.

— Мин, Мин, ты только подумай, что он сделал! — воскликнула Марджори, когда друзья двинулись за ним следом.

В глазах потрясенных девушек этот жест окружил Джорджа ореолом несравненной благости, и даже Нэб склонился перед величием такого поступка. И они ринулись прочь, словно сам дьявол гнался за ними, зажав этот сверен в руке.

Ну, а Чемберс? Его торжество тоже было велико. Он не упустил подходящего случая и получил подходящий приз, и радость его была неподдельна, хотя и выражена без лишнего нафоса.

— Леди и джентльмены, — провозгласил вселый пройдоха, пересчитав деньги, — благодарю вас всех и каждого за вашу доброту к этой престарелой чете, а также за великолепный сбор. (На, старина, — прошептал он, — восемь шиллингов четыре пенса, просто шикарно!) Все в порядке, благодарю вас, леди и джентльмены. Господь воздаст вам всем.

И, оставив обрадованных нищих наедине с их добычей, он зашагал прочь, бормоча себе под нос: «Прекрасный, прекрасный Сп-он!».

КОРИДОРЫ



котопромышленник Корни Барон, грузный сорокалетний мужчина, на вид вполне процветающий, сидел и ждал завтрака в столовой дешевой гостиницы, неподалеку от больницы. Постояльцы наезжали сюда обычно в связи с теми же печальными обстоятельствами, что и Корни, и все в этой столовой казалось ему безрадостным — и воздух, пропитанный запахом ланолеума, и огонь, еле тлеющий в камине, и накрытые, но еще не занятые столики, вид которых неизменно вызывает чувство отчужденности. Успокаивало Барона только одно — предстоящий завтрак. Несмотря на бессменные дежурства, усталость, горе, он хотел есть и стыдился этого, словно такое желание было сейчас равносильно предательству.

«Всеми нами правит желудок, и от этого никуда не денешься. Кругом смерть, а ты живешь, и желудок командует тобой. Господи, ну и денек! Бедная, бедная Мерри!»

За окном шел дождь, заливая унылый дворик, который не могли оживить ни клетка с кроликами, ни клумба с одиноким чахлым тюльпаном.

Горничная с фигуркой девочки и глазами зрелой женщины вошла и спросила, что он хочет на завтрак. Как выяснилось, он хотел все, что у них можно получить; с тех пор как Корни тут поселился, он уже два раза подряд не без удовольствия поглощал по утрам огромные порции все тех же блюд. Мучительные ночные бдения в больнице, казалось, только возбуждали в нем постыдный аппетит.

— Каша, треска, грудника, яйца, — негромко, почти шепотом повторила горничная. — Хорошо, сэр.

Сразу же после ухода горничной в столовую с шумом вошла хозяйка.

— Доброе утро, мистер Барон! — поздоровалась она.

У миссис Коттринг была фигура вполне зрелой женщины и не слишком детские глаза. Шаркая красными

суконными шлепанцами с серой меховой оторочкой, она подошла к окну и отдернула шторы.

— Ну и дождь!

— А, бог с ним! — отозвался мистер Барон.

— Ну и дождь! Есть что-нибудь новое?

Торговец скотом покачал головой. Он сидел, положив локти на стол и так сцепив пальцы, что, казалось, руки его вот-вот вступят в жестокую схватку друг с другом.

— Нет, — сказал он, — ничего нового.

— Вот беда-то! — вздохнула миссис Коттринг, шлепая к каминному коврику. — Беда, беда. Уж я-то знаю, что это такое. Мне ведь самой немало пришлось пережить.

Ее маленькие глазки уставились на Корни, словно выражая сочувствие, хотя на самом деле она просто горела желанием рассказать о собственных горестях.

— Посмотреть на меня, так это вам и в голову не придет, да и расскажи кто — вы не поверите. А ведь всего пять лет прошло. Даже если у меня до смерти больше никакого горя не будет, все равно я свое сполна получила. Десять тысяч фунтов!..

Вспоминания о невзгодах, с которыми она справилась, и горестях, через которые прошла, преисполнили миссис Коттринг гордостью. Глядя на своего молчаливого собеседника, она уперлась руками в округлые бока и упоенно вздохнула.

— Ведь не поверите, а?

Корни Барон был сельский житель, и теперь его нескладные руки мешали ему. Напряженно сжатые пальцы казались чересчур толстыми, красными и влажными, губы тоже. Зато рот у него был небольшой и всегда приоткрытый, усики светлые, и дышал он с какой-то нарочитой регулярностью, словно в каждую данную минуту позволял себе лишь строго определенное число вдохов и выдохов. В глубине его добрых глаз притаилась печаль.

— А когда становится совсем уж немого, никому до тебя нет дела, — продолжала хозяйка. — Друзья познаются в беде. Тьфу! — фыркнула она, презрительно щелкнув пальцами. — Как бы не так! Десять тысяч фунтов, без малого десять, и на тебе! Вы даже не представляете. Я бы с ума сошла или сделала что-

побудь над собой, да нельзя было, — сами понимаете, ребенок. Меня спасла только девочка, и теперь вся моя жизнь принадлежит ей. Каждый грош только для нее — понимаете? — для нее.

— Это уж точно, мэм, — кивнул Корни.

— Как чувствует себя пышче ваша жена?

— Ох! — простонал Корни. — Дело плохо, из рук вон плохо. Я это знаю, давно знаю, да вот все еще надеюсь. Она, видите ли, попала в хорошие руки. Это большая удача. Если бы и со мной стряслось что-нибудь такое... ну, словом, очень скверное, я бы тоже туда лег.

— Неужели? А вот я ни за что! — объявила миссис Коттринг и глубокомысленно улыбнулась. — Ни за что! Я знаю одну женщину — вернее, не знаю, а слышала о ней. Так ее положили туда и собралась вырезать какую-то опухоль, а когда разрежали живот, увидели, что это вовсе не опухоль. Просто она была... Понимаете, она просто ждала маленького.

— Господи! — изумился Корни. — Да как же это она сама не догадалась?

— Она вроде бы не была замужем, — пояснила миссис Коттринг. — Впрочем, я толком не знаю. А доктора звали Хедкорн.

— Хедкорн, — медленно повторил Корни.

— Извините, а у вас есть дети?

— Нет, мэм, нету. И за все семнадцать лет, что мы женаты, ни разу не было. Ни разу. — Скотопромышленник с улыбкой откинулся на спинку стула и сунул руки в карманы. — Когда мы поженились семнадцать лет назад, день был — хуже не придумаешь, до того хмурый, — мне прямо с венчанья надо было ехать на торги миль за десять — двенадцать. Я отправил жену домой и поехал. Купил партию скота на откорм и стельную корову, а когда собрался обратно, было уже поздно. На полпути от дома корова упала в придорожную канаву и стала телпиться.

Миссис Коттринг выдала из себя сочувственный вздох.

— Дождь лил как из ведра, — продолжал торговец скотом, — а тут еще корова, да то, да се, и домой я попал в два часа ночи. Бедная Мегги! Она была вне себя. Чего только не передумала — я и напился-то, и умер.

и помешался, и сбежал. А я вернулся хоть бы что, только вот новобрачный получился из меня плохой. Куда там! Бедная Мегги! Верно, из-за этого у нас и детей не было.

— Вы полагаете? — усомнилась миссис Коттринг.

— Да, мэм, — решительно повторил Корни. — Я всегда так думал, да и Мегги тоже.

Миссис Коттринг недоверчиво примолкла, но ее тут же снова прорвало:

— Странно! Ведь ребенок — это такое утешение во всех наших бедах, хотя, конечно, сам-то он ничего не понимает. Но все-таки... А уж друзья... Тьфу!

Дверь позади мистера Бэрона распахнулась, и в комнату заглянула маленькая девочка с торчащими косичками, туго перевязанными цветной лентой. На личике ее было написано любопытство.

— Ма, а бог живой?

Миссис Коттринг чутьочку сконфуженно посмотрела на дочь.

— Юджина, что у тебя за вид!

— Ма, он правда живой?

— Ну, видишь ли... — начала миссис Коттринг. — Как тебе сказать... Понимаешь, на это трудно ответить. Но я постараюсь узнать.

— А ты узнай сейчас.

— После завтрака, Юджина. Ты же видишь, сейчас я занята.

— И тогда ты мне скажешь?

— Скажу, скажу, глупышка, а теперь ступай.

Тут горничная принесла мистеру Бэрону завтрак, и миссис Коттринг выплыла из столовой вслед за своей вольнодумной дочерью. Скотопромышленник остался один.

Он страшно устал, но сон, этот целитель духа и плоти, бежал от него. Как ни насыщал он рыбой и мясом неуклюжее, грузное тело, мысленно Корни все еще был в больнице, где он проспел с полуночи до рассвета, ожидая исполнения приговора и все-таки надеясь на отсрочку. Все эти удручающе многочисленные палаты соединялись между собой бесконечными путанными коридорами, которые, казалось, никуда не ведут, а только расходятся, сходятся и снова поворачивают назад. Звук его тяжелых и таких чуждых здесь шагов

отдавался в них бесстрастным холодным эхом. Коридоры, коридоры, коридоры, угрюмые проспекты из начищенного до блеска металла и выскобленного камня; глухие, сверкающие лаком двери, запах эфира, редкие тусклые лампочки.

Эти немые стены так обескураживали Корни, что он то и дело сбивался с дороги. А ведь совсем рядом, за каждой дверью, были палаты, где по темному натертому полу без отдыха сновали сестры в белых паколках, обихаживая десятки простертых на койках тел. Уже дважды Корни оставляли на почь в вестибюле, по которому гуляли сквозняки, и он дремал там на скамье в ожидании последнего немислимого вызова. И обе почки напролет ему слышались в коридорах звуки торопливых приближающихся шагов, но каждый раз, когда он в страхе поднимал отяжелевшие веки, он не видел возле скамьи ничего, кроме люка в полу — к этому люку, смешно приседая на ходу, направлялись перебежавшие коридор мыши. Все время, пока он был в больнице — один или у постели Мегги, — мысль его непослушно уходила куда-то далеко-далеко, обращаясь к разным посторонним делам, повседневным заботам, обычным радостям. Его занимали предстоящие торги, виды на урожай, цены на скот и корма. Вспомнил он ледящую кобылу, нескладную и неуклюжую, которая постоянно теряла подковы и так разлепилась, что теперь не давала себе труда даже брыкаться. Но стоило Корни уйти из больницы, как в нем все переворачивалось, и он уже не мог думать ни о чем, кроме своей обреченной жены. Так было и сейчас, когда он сидел, насыщался и безмолвно горевал. В больнице, где он дежурил у постели Мегги или вышагивал по коридорам, он уже как бы делал этим все, что было в его силах, предоставляя остальное неизменно заботливым сестрам и судьбе. Но вдали от Мегги все менялось. Горе гналось за Корни по пятам, настигало его, терзало и снова бросало в темницу, где были одни только коридоры, бесконечные коридоры, лабиринт без путеводной нити, из которого только один выход — в могилу. Он прятал свое горе где-то глубоко внутри и нес его, как священное бремя, которое нельзя доверить никому другому. Да и как перелить в чужую душу хотя бы малейшую каплю такого горя?

Когда Корни впервые пришел в больницу, он в замешательстве остановился в дверях палаты, совершенно поглощенный тем, что увидел. Это была высокая длинная комната со множеством окон и рядами коек, на каждой из которых лежала женщина. Взад и вперед по проходу сповали молодые, крепкие, бодрые сестры. В обоих концах палаты, сверкавшей стерпильной чистотой и безукоризненным порядком, в больших черных чугунных печках пылал веселый огонь. Банки с нарциссами и тюльпанами, казалось, говорили, что весна еще погостит здесь — как, впрочем, и печаль. (О, только не слишком долго. Встаньте! Встаньте же!) Сестра в халате, туго перетянутом в талии и свободном в груди, подошла к нему, весело поблескивая глазами. Он сказал, что пришел навестить жену.

— Фамплия?

— Барон.

— Барон? — переспросила сестра. — Она давно у нас?

— Нет, — ответил Корни, — недавно.

Легко ступая, сестра пошла навести справки, по тут Корни сам увидал Мегги, которая лежа махала ему рукой, и на цыпочках тихонько прошел к ее койке.

Поначалу Мегги пришлось здесь не по душе буквально все — койка, страшная печь подле нее, другие больные, сестры, даже человек, который один-единственный раз, улыбаясь всем больным и отпуская шутки, прошел с лестницей через палату, чтобы завести часы. Особенно дожимал Мегги раскаленный уголь, который днем и ночью то и дело проваливался сквозь решетку и с грохотом падал на железный лист, — он прямо-таки не давал ей спать. Однако вскоре все переменилось. Сестры, врачи в белых халатах, другие больные, человек с лестницей — все были доброжелательны и дружелюбны, все ей нравились. Вот только к печке она никак не могла привыкнуть: всякий раз, когда кусок угля падал на железо, грохот вырывал Мегги из минутного забытья и ввергал в бездонную пучину ужаса. И пока случившаяся поблизости сестра не водворяла тлеющий уголь обратно, над подушкой Мегги висел такой едкий дым, что она боялась перевести дыхание. Этот постоянный страх не давал ей заснуть. Кроме грохота угля, были еще другие шумы: раздражающий

уши хор голосов, звон, доносившийся откуда-то издалека, стоны больных на соседних койках, пронзительный скрежет бельевых корзин, которые пиян волочат по полу, стук каблучков сестер, торопливо снующих между рядами коек. Вспомнившая тишину и покой собственного дома, Мегги сперва даже плакала, но в конце концов успокоилась, а один раз, когда ночная сестра, увидев мышь, задрала юбки и с визгом бросилась вон из палаты, Мегги чуть не умерла со смеху.

Сидя возле нее, Корни говорил о всяких пустяках, о чем угодно, только не о ее болезни.

— У меня сегодня ужасная слабость, — вздохнет Мегги.

Он тоже вздохнет и нежно поглядит на нее.

— Я тебе говорил, что давеча ветер завалил старый сарай?

— Да что ты!

— Верно, завалил.

— Такая слабость — даже не уснуть никак.

— Знаешь, два дня назад встречаю я старого Дэна Чегупдена, он и говорит мне: «Корни, помнишь тот неполноценный саженец яблони, что ты мне как-то продал?» — «Как же, говорю, помню». — «Я дал тебе за него полноценный шиллинг, — это он мне, — да только яблонька-то не прижилась». — «Ну, Дэн, говорю, чего же ты хочешь за шиллинг?» — «Его цену, Корни, говорит, цену, вот чего я хочу». — «Так ведь ты же ее получил, Дэн». — «Нет, Корни, не получил: яблонька-то долго жить приказала, померла, значит». — «Ну, говорю, а почему бы тебе не сделать из нее трость, а, Дэн?» — «А где мне взять наконецчик?» — это он мне. — «Господи, говорю, Дэн, что-то ты многовато хочешь за один шиллинг. Ну, он и примолк. «Постой-ка — говоришь и стал скрести лысину, — постой-ка, за что, ты говоришь, тебя простить?» — «Не за что тебе меня прощать, Дэн, говорю. Ты с меня ни гроша не получишь!» — «Ну что ж, господин Корни, — говорит он мне, — ступай, обделывай свои делишки!» Я пожелал, чтоб ему жилось, как рыбешку зимой, на том мы и разошлись — вежливо так.

Мегги слабо улыбнулась и снова чуть слышно выдохнула:

— Ужасная слабость — даже не уснуть никак.

Через педелю после операции состояние Мегги вдруг резко ухудшилось, наступил кризис. Корни Барона спешно вызвали из дому и велели оставаться поблизости от больницы. Бедная изрезанная Мегги потихоньку шепнула ему, что теперь помочь ей может только одно — широко разрекламированные таблетки от кашля, которые неизменно выручали ее уже не первую зиму.

— Принеси мне их, Корни, па них теперь вся надежда.

До их фермы было далеко, поэтому он спял комнату у миссис Коттринг, но так ею и не воспользовался. Конец был близок: смерть еще не постучала в дверь, но уже, шумно дыша, заглядывала в окно. Ночи Корни проводил на скамье в вестибюле больницы, а когда светало и, привычно подчиняясь однообразию раз и навсегда установленного таинственного распорядка, по коридорам начинали снова люди, ему разрешали посидеть у постели Мегги, пока не наступало время идти завтракать к миссис Коттринг.

Так случилось и в этот день.

Корни сидел в столовой миссис Коттринг, машинально поглощая еду и предаваясь горестным размышлениям, когда в комнату вошла пожилая дама в серой шерстяной кофте, тощая, как вязальная спица. Глаза у нее были близорукие, волосы лежали какими-то страшными завитками. Звали ее Флора Филд. Ни слова не говоря, она прошла к столу напротив и села спиной к Корни. Горничная подала ей апельсин, яйцо в розовом фланелевом чехольчике, тостер с гренками и чашку подогретого молока. Мисс Филд внимательно прочла несколько принесенных с собой писем и теперь сидела, глядя в окно. Неожиданно, но все так же не оборачиваясь, она сочувственно бросила:

— Какая неприятная погода!

— Н-да! — отозвался Корни. — Бог с ней.

— Конечно, конечно, — согласилась дама.

— Дождя за ночь выпало па полдюйма, — продолжал торговец.

— Неужели? — удивилась она.

— Это выйдет примерно четырнадцать тонн па акр.

— Господи! — воскликнула дама, расправляя салфетку. — Значит, па это есть своя причина.

А потом, когда мистер Барон досадал последний ломтик грудинки, а мисс Филд, сидя к нему спиной, занималась своим завтраком, каким-то образом выяснилось, что она по доброй воле постоянно и безвозмездно работает в больнице.

И в жизни и в делах Корни иногда сталкивался с весьма простыми явлениями, которые тем не менее с трудом укладываются в голову; поэтому, когда до него наконец дошло, что мисс Филд работает, не получая никакого жалованья, он счел за благо осведомиться, почему она избрала столь необычный род занятий. Может быть, она просто этим увлекается?

Мисс Флора весьма недвусмысленно пояснила, что она из хорошей семьи, получила воспитание, стоившее больших денег, и много путешествовала. Но путешествия больше ее не интересуют.

— Всю жизнь мне хотелось делать что-нибудь полезное, служить бедным людям. Я хозяйка своего времени, трачу его, как мне нравится, и очень довольна. Работа целиком захватила меня, и мне не надо никакой платы — моих средств мне вполне достаточно. Зато так приятно сознавать, что твои старания ценят, — мне ведь только это и нужно, а это совсем немного. Врачи действительно очень ценят такие вещи. Они замечательные, чудесные люди — прекрасные, неутомимые, преданные делу. Я знакома со всеми ими, и все они изумительны. Да вы и сами знаете: день-деньской, даже ночью, они всецело принадлежат ближним, и так из года в год. А что они получают взамен? Очень часто ничего, равным счетом ничего. Больные такие нечуткие, такие эгоистичные. Это, должно быть, так обидно.

— Ну, что вы, мэм! — возразил Корни. — Ведь не могут же больные помочь себе сами.

— Нет, могут, могли бы, если бы захотели, и притом довольно часто.

— Полно! Они затем и ложатся в больницу, чтобы им помогли, — продолжал Корни.

— Знаете, я часто не понимаю, зачем они вообще туда ложатся, — отрезала Флора Филд. — Пожалуй, только с одной целью — чтобы покритиковать то, в чем они ничего не смыслят, и поворчать на то, что выше их понимания.

— А чего от них требовать? — попробовал объяснить Корни. — Мы и в хорошее-то время сущие невежды, а уж как захвораем, так и вовсе теряемся — ни дать ни взять телята в церкви.

— И все-таки они могли бы выказывать побольше признательности, я уверена в этом, — отпарировала мисс Филд. — Они часто нам не доверяют, а уж если кто умрет, все валят на доктора.

— Больных нельзя за это винить, во всяком случае всех сразу.

— Конечно, нельзя. Их никто и не винит, — сказала она. — Это все из-за болезни. Но от врачей, от этих подвжжиков, требуют, чтобы они исцеляли мгновенно, одним мановением руки. А сами больные часто даже... Ну, словом, не думают ни о чем, кроме своих удобств. Не все, разумеется, не поймите меня превратно, по многу. Я часто удивляюсь, почему так много больных умирает ночью? Без сомнения, на это есть какая-нибудь серьезная научная причина, по все-таки странно.

За время беседы дама ни разу не повернулась к мистеру Барону. Где-то в глубине сознания Корни понимал, что совершенно безвозмездно взвалив на себя такое бремя, мисс Филд, каковы бы ни были ее финансовые обстоятельства, безусловно, совершила великолепный поступок: она отдает работе всю жизнь, а это, конечно, очень благородно. И все же где-то в еще более глубоких тайниках души у него возникло и росло смутное ощущение того, что даже в случае крайней необходимости ему было бы неприятно воспользоваться великодушным мисс Филд, хотя он и сам не мог бы сказать почему.

— Больница — замечательное учреждение, — продолжала она. — Здесь достижения науки и преданность делу соединяются воедино и служат на благо людям. Когда работаешь в больнице, — тут зубы мисс Филд, разгрызавшей гребок, щелкнули, как у рыси, когда та пожирает свое беззащитное лакомство, — чувствуешь, что рядом с тобой действуют... э-э... великие силы. А вы тоже бываете в больнице? — внезапно спросила она, в первый раз оборачиваясь к Корни.

— Я... Я навеещаю тут одного человека.

— Больного?

— Да, — после некоторого колебания ответил торговец.

— В какой палате?

— В женской палате. В женской, — повторил он, и мисс Флора снова устремила взгляд в окно.

— Кто ее лечащий врач?

— Доктор Хедкорн.

— Это просто замечательно! — взвизгнула дама. — Я его отлично знаю. Вам повезло. Такой милый, такой умный человек, и к тому же знаменитый хирург. Просто гений. Вам повезло, что ваша больная попала к нему. За частный визит он берет, наверное, не меньше сотни гиней.

— Что вы говорите!

Корни был потрясен столь огромной цифрой.

— Боже мой, пу конечно! Сто гиней, самое меньшее. Это именно тот человек, который вам нужен. Ему случается делать по десять операций за утро, даже больше. Он так предан своему делу, так добр. Святой, чудный человек! Сестры просто обожают его.

— Разумеется, для такого человека ничего не жалко. Дай ему бог всего хорошего.

— Да, просто обожают, — вздохнула мисс Филд.

— И сестрам дай бог всего хорошего. У них тоже работы выше головы, — с жаром продолжал Корни. — Я сам видел — трудятся день и ночь, день и ночь.

— Да, славные девочки, — неохотно согласилась мисс Филд.

— По-моему, они украшение рода человеческого, — убежденно сказал Корни.

— Знаете, со многими из них я на дружеской ноге, — вставила она.

— Но мне хотелось бы, — продолжал торговец, — очень хотелось бы, чтобы в палатах они не носили туфель на высоком каблуке.

— А разве они носят? — удивилась дама.

— Все до одной, — констатировал Корни.

— А что же им, по-вашему, носить? — осведомилась она.

— Шлепанцы, — ответил Корни, — мягкие, покойные шлепанцы.

— Ну, что вы! — запротестовала Флора Филд.

— И потом, если позволите, вот что еще нужно бы сделать...

И, положив локти на стол, Корни спокойно и деловито рассказал ей, как из печек с грохотом падает на пол уголь.

Мисс Флора выразила уверенность, что и на это есть своя причина.

— Не думаю, — возразил Корни. — Чтобы это устранили, достаточно куска проволоки стоимостью в несколько пепсов. И потом еще бельевые корзины. Зачем их непременно волочить по полу, чтобы они скрипели и скрежетали?

— Их трудно поднимать, они слишком тяжелые, — ответила мисс Филд.

— Не такие уж тяжелые, чтобы к ним нельзя было приделать колесики.

— Ах, поверьте, па все есть своя причина!

— Наверяд ли, — отозвался Корни. — Да и служили бы эти корзины куда дольше.

— Правда, в палаты я не захожу, — продолжала свои пояснения мисс Филд. — Я не касаюсь лечебной стороны дела. Моя работа состоит... Да вот, к примеру, уже целую неделю я чищу халаты, десятки халатов, вы даже не представляете себе — сколько. Вчера я перечислила огромную кучу — чуть ли не выше меня самой. Пуговицы, дырки, карманы, швы и прочее. И знаете, врачи тут совсем ни при чем — это всё прачки. Они так небрежно и неаккуратно обращаются с бельем, словно им дела ни до чего нет. Все-таки они ужасно тупые.

Тут дама громко чихнула.

— Малость простудились, мэм, — заметил Корни.

— Да, небольшой катар, — подтвердила она. — И, знаете, ничто не помогает. Я перепробовала бог знает сколько всяких лекарств. Врачи дают мне кучи рецептов, и пате вам — я просто неизлечима.

Корни достал из кармана пакетик прославленных таблеток, которые купил для Мегги.

— Попробуйте вот это, — сказал он, надрывая пакетик, и, подойдя к ее столу, выложил на него три темные горошины.

— Вы очень любезны, — чутьчку презрительно протянула дама, и что-то вроде удивления промелькнуло в ее блеклых глазах. — А они помогают?

— Очень, мэм, — заверил ее Корни. — Самое верное средство от кашля, простуды и всякой прочей хвори.

— Как они жгутся! — воскликнула она.

— В этом-то их и сила, — отозвался Корни. — И всего два пенса пакетик. Я купил их для Мегги, — добавил он, пряча пакетик в карман и отворачиваясь к окну.

— Ну, мне пора, — объявила мисс Филд и, устало вздохнув, вышла.

Через час Корни вернулся в больницу и снова заступил на дежурство в коридорах. Но мисс Филд он нигде не встретил. Она его тоже никогда больше не видела.

На другое утро, садясь завтракать, она спросила у горничной:

— Кто этот чудаковатый человек, что был здесь вчера утром?

— Вы говорите о мистере Барпе?

— Я не знаю его фамилии. Фермер или что-то в этом роде. Он сидел вон там.

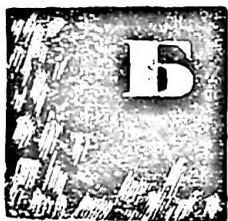
— Да, это мистер Барп. Он торгует скотом. Но он уехал рано утром, у него умерла жена.

— Умерла жена? Так это была его жена?

— Да, она скончалась пынче ночью.

— Вот-вот! Я так и знала. Как раз вчера я ему говорила, что все они умирают ночью. Так он уехал? Какая досада! Знаете, он дал мне прекрасные таблетки от кашля, и я хотела спросить, где можно достать еще.

ДВЕ НИНИ



Близнецы Джоузби и двое пепперкорновских ребятшек не были раньше знакомы друг с другом. Встретившись впервые, они тут же затеяли ссору из-за зеленой бутылки, выброшенной волнами на берег, и стали врагами. Их няни тоже не были раньше знакомы, однако с первой же встречи стали подругами. Да и что еще делать на море, как не водить с кем-нибудь компанию? Разве что купаться. Но ни та, ни другая не любили воды.

Няня близнецов Сэлли и Джимми, общительная пожилая особа с живыми глазами, была в ярко-синем домашнем платье, модных туфлях на босу ногу и старой шляпке. Вдовствующая миссис Джоузби поручила ей пестовать своих белокурых отпрысков на свежем деревенском воздухе, а сама укатила на лето на континент. Пепперкорновская няня тоже была немолода, но одевалась по всем правилам моды. Твердая походка и спокойный взгляд холодных глаз говорили о педюжинном характере. Темноголовый Реймонд и рыженькая Урсула оказались на ее попечении в силу сходных обстоятельств: их родители уехали в Шотландию.

Нэнна — так звали няню близнецов — бросилась в гущу схватки, растолкала орущих ребят, выхватила из цепких пальцев Джимми бутылку и швырнула ее обратно в море.

— Она мол! — завопил мальчик.

— Неправда! — взвизгнула Урсула.

— Нет, моя!

— Ничего подобного! Заткнись! — цыкнул Реймонд.

— Мне ее Сэлли дала.

— Врешь! — крикнула Сэлли, а Джимми размахнулся и огрел ее деревянной лопаткой по мягкому месту.

Нэнна вырвала у драчуна его оружие и отправила вслед за бутылкой в море.

— Сейчас же прекратите ссору, а то я и тебя кину в море, вот тогда заплачешь!

— Не заплачу! — выкрикнул мальчик.

— Это мы еще посмотрим, голубчик.

— А вот и не заплачу, — сердито повторил Джими, — я просто утопу.

— Ну и прекрасно, — отозвалась няня.

Тогда расплакалась Сэллп.

— Не падо, Нэнпа, ну, пожалуйста, не надо! — всхлипывая, умоляла она.

Няня обернулась и, увидев расстроенное, залитое слезами личико, громко расхохоталась.

— Ну, ну, будет, ступай умойся. Смотри, из посу-то как течет.

— А где мне умыться, Нэнпа? — осведомилась девочка.

— В море, где же еще, — ответила няня.

Сэллп беспомощно подергала рукава и в конце концов жалобно воззвала к няне:

— Нэнпа, засучи мне рукавчики, они у меня не держатся.

И вот подружки снова встретились на берегу.

Они приходили сюда каждый день и сидели здесь с полудня до обеда: пили чай из термоса, ели сэндвичи с малиновым вареньем.

Было время отлива, и прямо перед ними отступающее море обнажило длинную песчаную косу. Позади зеленело болото, через него тянулась насыпная тропа в деревню. Справа и слева по гребню дюн были разбросаны почерневшие, перекосившиеся кабинки, торчали редкие кусты чертополоха, пробившегося даже сквозь камни, валялись скорлупа кокосовых орехов и купальные туфли, отслужившие свой век. Как обычно, няни отпустили детей поиграть на песчаной косе, а сами сидели возле воды, судачили о своем житье, перемывали косточки хозяевам, вспоминали о былых развлечениях и следили, как набегают и бьются о берег волны, как купаются дачники и аккуратный старик фермер гонит с болота под навес скотину на полднице.

Нэнпа протянула перекориковской няне чашку чая.

— «Конечно, мадам, — говорю я, — да только как мне уследить за его галошами, если он то при мне, то без меня бегаёт, да ещё поровнит удрать подальше. Поверьте, он так и будет их терять, ведь ему всего-то пять годков, а уж я тут ни при чём, — это все я ей говорю. — А я их не брала. На что они мне? Себе на ноги не надеть, да я и вообще галош не ношу. Не съела же я их!» Хозяйка такая чудная, хоть и настоящая леди. Ой, посмотрите-ка! — вдруг прошептала она.

Пепперкорновская няня оглянулась. Около стоявшей неподалеку купальни сидел человек в красных плавках и, сосредоточенно нахмурив брови, ковырял спичкой у себя в пупке.

— Опять то же самое! До чего мил, верно? — хихикнула Нэнна.

— И зачем он только так делает! — отозвалась её подруга.

Солнце пекло. От камней шел жар словно от лепешек, только что вынутых из печи: тропь — обожжешься.

— Да, она настоящая леди, из самых что ни на есть аристократов, только вот как до галош дойдет, ничего слушать не хочет.

— Все они такие, — поддакнула пепперкорновская няня. — Вот, к примеру, мой хозяин... Да вы, наверно, о нем слышали: он поет в опере — в Ковент-Гардене, в Альберт-холле и в других тоже. И на пластинках он есть.

— Значит, из артистов?

— Да. Только вот попросите его спеть что-нибудь дома, и знаете, что он вам скажет? Прямо не поверите. Он такой красивый и не очень-то скромный, я кое-что на этот счет знаю. Так вот, он обязательно ответит: «Извините, не могу, не могу. Мне нельзя петь, не имею права. Я связан контрактом. А если желаете — вот перед вами мой черный двойник». И ставит пластинку с собственной записью.

— А что ж тут такого? Все лучше, чем ничего. И какая разница — что сам, что пластинка? — заметила Нэнна и вдруг тихонько добавила: — А этот-то все свое!

Пепперкорновская няня и сама это знала.

Мистер Уоллек был человек уже немолодой, лет пестидесяти, тучный, с волосатыми ногами и бледной кожей. Только лицо и лысина у него рдели от загара. Рядом с ним лежало большое голубое полотенце. Он явно собирался искупаться.

— По-моему, он очень приличный человек, — осторожно продолжала Нэнна. — Приехал за месяц до вас, и, знаете, с ним так просто себя чувствуешь: он такой вежливый, обходительный. И к тому же со средствами.

— Знаю, — последовал лаконичный ответ.

— Он вдовец.

— Знаю, — повторила пепперкорповская няня. — Он торговал вином.

— А теперь ушел па покой.

Пепперкорповская няня снова кивнула.

— Знаю.

— Он немного напоминает нашего дворецкого. Тот тоже очень приличный человек. — Нэнна потягивала чай, рассеянно глядя на волны. — Похож на артиста, только уже давно женат. Правда, детей у них нет.

— У мистера Уоллека тоже нет детей, — заметила пепперкорповская няня.

— Да, нету. Между нами говоря, это неплохо. Ну, что такой человек, да еще в его-то годы, стал бы делать с детьми? Я, к примеру, ни за что бы на такое дело не пошла. Вот уж на что славные детишки Сэлли и Джимми, ничего не скажешь, и если до того дойдет, так я за них жизнь отдам; да только, по правде сказать, и они тоже бывают страсть какие несносные. Ты их холишь, нежишь, кормишь, поишь, а что толку? Да если бы мне больше никогда ни одного ребенка в глаза не видеть, я бы земпо создателю поклонилась. И ничуть этого не стыжусь.

Пепперкорповская няня согласно кивнула.

— Собой они хорошенькие, — продолжала Нэнна, — да только такие лживые, такие драчуны — сущие змеи-ныши. С утра до ночи одно мученье. Хозяйка, ее счастье, всего этого не видит, а уж пришлось бы ей самой от них такое терпеть, так она бы прямо... Уж не знаю, что и сказать. А ты их люби да обихаживай. Конечно, я в них души не чаю, но все же, как станут они надо мной изгиляться, такое зло разбирает! Помяните мое

слово, не получится из них ничего путного, будь они хоть сто раз аристократы и богачи.

— Ну, вряд ли они хуже моих! — рассмеялась пепкорновская пня.

— Вы их еще не видали во всей красе.

— Жизни из-за них не видишь. Нет, так дальше не пойдет. Долго я на этом месте не проживу. Сыта по горло.

И обе заулыбались мистеру Уоллеку, который подпаялся на поги и приветливо помахал им рукой.

— Пошел окуцуться.

Грузный мистер Уоллек, осторожно ступая, шествовал к морю. Войдя в воду по щиколотку, он пригоризнями поплескал себе на грудь, а когда стало чуть глубже, сел на дно и стал бултыхаться.

— Во вкус вошел, а? — заметила Нэнна.

— Это ему полезно, — отозвалась ее подруга.

Мистер Уоллек плескался и барахтался на мелководье, а пняи смотрели на него, тихо переговариваясь, и беседа их принимала все более интимный характер.

Тем временем празднично разодетые пары — дамы в красивых платьях и джентльмены в начищенных до блеска полуботинках и свежих воротничках — подходили к дверям лучших домов деревни. Пока дама звонила в звонок или стучала дверным молотком, каждый джентльмен считал своим долгом самолично повозиться со щеколдой у калитки. Затем горничная отворяла дверь, и гости торжественно шествовали в холл.

О, их ждут — они приглашены к чаю. Отобрав у джентльмена шляпу, горничная проводит их в гостиную. Едва они успевают вполголоса отпустить несколько язвительных замечаний по поводу ислепой мебели и невыносимо яркого ковра, как в компану с распростертыми объятиями вплывает сияющая хозяйка, и начинается неподражаемо светский разговор о вещах, представляющих не больший интерес, чем прошлогодний снег.

Открывает его джентльмен.

— Я слышал, — говорит он, — и так далее, и тому подобное.

— Ах! — восклицает хозяйка. — Это просто возмутительно.

— Но это еще не все, — вступаст гостья. — Муж-то был совсем... — и так далес, и тому подобное.

— Что вы говорите! — раздается голос хозяйки. — Нсужели это правда? Ах, что за правы!

Потом входит горничная с подпосом, и благородное пегодование (но отпюдь не аппетит) у гостей несколько ослабеваает.

К этому времени мистер Уоллек уже вылез из воды и удаляется в кабинну, а пяни все еще сидят, предаваясь воспоминаниям.

— Мой муж мало бывал дома, — рассказывает Нэн-па Джоузби. — Он служил помощником и все время проводил в море.

— Помощником?

— Да, на судне. Понимаете, это не простой матрос, по еще п не капитан, а вроде того. Потом стал бы и капитаном. Он плавал по всему побережью, заходил в разные страны, в Бельгию, к примеру, и я его редко видела. Но ведь чего не знаешь, о том и не жалеешь, верпо? А как придет из плавапья, даже не приласкает, не то чтобы на шею броситься. Не такой он был человек. Зато тихий, добрый, не изменял мне никогда. Но уж обидчивый — не приведи бог! Любил, чтобы все в доме было прибрано, чистота наведена. Сидит, бывало, за ужипом — а поесть он тоже любил — и рассказывает, какие раньше возил грузы. А чтобы обнять или приласкать — это никогда. А как он мне предложение сделал! Мы тогда часто бывали вместе: он не то что ухаживал за мной — не такой он был человек, а просто мы ходили смотреть па витрины магазинов, на гавань. И вот как-то вечером сидим мы тихо-тихо, сами знаете, как это бывает, а он, чувствую, кладет мне на плечи руку, да вдруг и говорит: «Ну, что, хочешь быть моей возлюбленной?». Прямо так и сказал! Господи, а я-то и не поняла, что это значит и чего он хочет. И так громко сказал. Правда, вокруг ни души, темень, да все равно, так пельзя — вдруг кто-нибудь проходил бы мимо.

— И что же вы ответили? — поинтересовалась пеп-перкорновская няня.

— Я сказала, что со мной так еще никто не смел говорить.

— А он что?

— Ну, сами знаете, как это бывает. Мы ведь такие незащищенные, верно?

— А потом?

— А потом мы вскоре поженялись.

Пепперкорфовская няня улыбнулась, но улыбка вышла чуточку кривая.

— Да вы, должно быть, влюблены друг в друга были.

— Ясное дело. Уж я-то его ой как любила. И прожили мы с ним два года, хотя, конечно, он все больше в плавание ходил, и мне от него никакого беспокойства не было. Ровно два года. А потом он как-то ушел в плавание и утонул. В Северном море. А день был тихий — ни тебе прилива, ни отлива, да и берег совсем рядом. Они только забросили сети — шел косяк сельди, рыбы видимо-невидимо, а он возьми и упади за борт, да в сетях и запутался. Команда туда-сюда, а когда наконец вытащили, он уже зачехел весь. Два года, и ни разу не приласкал, а потом вот так... Правда, чего не знаешь, о том и не жалеешь. Ну, может, и жалеешь, но не так уж сильно.

От этой грустной исповеди пепперкорфовой няне стало немного не по себе. Ей захотелось утешить подругу.

— На вас это несколько не отразилось.

В голосе ее прозвучала теплая нотка.

— Ах, что вы! — запротестовала Нэнпа. — Разве я прежде такая была! Да, немало мне пришлось пострадать.

Она смахнула с колен крошки и сидела, погружившись в печальные размышления. Потом поправила на голове свою странную шляпку и неестественно громко рассмеялась:

— Как это он: «Хочешь стать моей возлюбленной?». Смешно, ей-богу. И до чего старомодно!

Отлив продолжался, и коса совсем выступила из воды. Вся ее песчаная поверхность была покрыта рябью, словно от непривычной наготы ее пробирала дрожь. Дети копались в сыром песке; какой-то чумазый мальчуган в чересчур свободных трусах пытался запустить спящего змея, а змей никак не хотел взлетать. Мистер Уоллек вышел из кабины. Теперь на нем были светло-коричневые бриджи и тенниска, а с руки свешивалось

голубое полотенце. Он подошел и присел рядом с пятами.

— Ну-с, дамы, я совершил великолепное омовение, просто великолепное.

Пепперкорповская няня палила ему чашку чаю.

— Благодарю вас, Алиса, — сказал он, — вы очень любезны.

— Сахару? — воскликнула Нэнна и протянула ему банку.

— Он пьет без сахару, — поспешно вставила ее подруга.

— Как это я не догадалась, — хитро улыбнулась Нэнна. — У вас же такие прекрасные зубы.

— Что вы, что вы, совсем наоборот, — растягивая слова отозвался мистер Уоллек. — Я теперь вовсе не употребляю сахару. Еще пять лет тому назад мой врач предостерег меня насчет всяких примесей и возможных фальсификаций. И должен сказать, такое воздержание пошло мне очень и очень на пользу. Несомненно, в некоторых вопросах врачи могут дать дельный совет. Просто диву даешься.

Он отпил полчашки.

— Прекрасный чай, прекрасный.

— Налить еще?

— Нет, нет, я не допил. Да и вообще, одной чашки вполне достаточно, благодарю вас.

Он посмотрел на море, потом перевел взгляд на небо.

— Очень милое местечко.

Затем поставил чашку на камни между ног и неожиданно продекламировал:

Летом здесь так хорошо,
Всюду цветут цветы;
Волны бегут (куда-то).
Ах, отзовись, где ты.

— Какие прелестные стихи! — прошептала Нэнна.

— К сожалению, я их плохо помню, — продолжал мистер Уоллек, — потому что они написаны на шотландском диалекте.

— Их сочинил Бернс, — пояснила пепперкорповская няня.

— Совершенно верно, — подтвердил мистер Уоллек и одним духом допил чай.

Нэнна мечтательно смотрела, как поблескивают его старательно начищенные ботинки на толстой подошве и густо розовеет не прикрытая одеждой кожа. Даже от вида украшенной пучком волос родинки на его виске сердце у нее сладко млело... Но она тут же очнулась от своих грез: пепперкорповская няня вдруг назвала мистера Уоллека по имени! «Джордж!» — сказала она. Остального Нэнна уже не слышала. Она так смутилась, так перепугалась, что вся одеревенела, а потом, так же неожиданно, обмякла. Пепперкорповская няня произнесла это имя вроде бы совсем естественно, но в голосе ее прозвучала подчеркнута собственническая нотка. Нэнне померещилось, будто мистер Уоллек обернулся к Алисе и спросил: «Что, дорогая?» — хотя и этого она не могла бы сказать наверняка. Впрочем, все, по-видимому, было именно так, потому что мистер Уоллек держал Алису за руку, а та смотрела на него и улыбалась. Нэнна слышала их голоса, но не понимала, о чем они говорят. Слова доносились до нее, но это был лишь отзвук ее собственных рухнувших надежд, неосознанных и все же так грубо попрашенных.

А потом мистер Уоллек и Алиса поднялись и, не сказав Нэнне ни слова, побрели вдоль берега. Правда, ушли они недалеко и скоро вернулись, но снова прошли мимо Нэнны, уже в обратном направлении. И так еще раз, и еще. И все время без умолку болтали и хихикали как дети.

Нэнна стала было кидать камешки в старую, ржавую банку, валявшуюся неподалеку, но, так и не попав, принялась укладывать в корзинку свою чайную посуду. Потом уложила Алисины пожитки в пепперкорповскую корзинку. Пока она занималась этим, мистер Уоллек ушел, и Алиса вернулась на свое место.

— Вы что, уже собираетесь? — удивилась она.

— Вроде бы пора, — кисло бросила Нэнна.

— Еще рано.

— А по мне так уже поздно.

— Что случилось?

— Ничего.

— Вы чем-то расстроены?

— А чего мне расстраиваться?

— Быть может, вы мне скажете, в чем дело?

— Ни в чем.

Они покричали детям, чтобы те собирались домой. Дети заупрямились, и няни неохотно отправились за ними на косу. Когда они подходили, раздались громкие крики — дети снова ссорились. Сэлли, пронзительно визжа, топтала песочный замок, возведенный Пепперкорнами. На нее тотчас обрушилась карающая длань Реймонда, и девочка растянулась в луже. Спасая честь семьи, Джимми огрел Реймонда по голове ведерком, за что тут же, к позору своему, получил шинок от Урсулы. Нэнна бросилась к Сэлли и вытащила ее из лужи.

— Ну вот, вымокла с головы до пят, словно лягушка. Ах, господи, господи! — запричитала она и бросила пепперкорнической пяльке: — Нечего сказать, воспитание! Могли бы все-таки научить своих вести себя получше.

— Чепуха! — отрезала Алиса. — Ваши первые начали.

— Ничего подобного. Это все ваши паршивцы. Заберите их отсюда. И зачем только мы с ними связались! Надо ж догадаться — утопить ребенка!

— Послушайте... — начала было пораженная Алиса.

— И слушать ничего не хочу, — пренебрежительно отмахнулась Нэнна и принялась выжимать оборки на платье Сэлли. — Говорить-то вы мастерица — за словом в карман не полезете.

Алиса поспешно отвела своих питомцев от Джимми, стоявшего в боевой готовности.

— Ну, ты, звереныш, сейчас же прекрати! — прошипела она.

— Очень мило так обзывать невинного ребенка! А еще в бога веруете! — немедленно набросилась на нее Нэнна.

— Скажите, пожалуйста, невинный ребенок! А верую я достаточно, чтобы у черта рога разглядеть.

— Оно и видно. Идем, Джимми, — позвала Нэнна, — идем скорее, голубчик, а то они еще какую-нибудь гадость придумают.

Оскорбленная сверх всякой меры, но от растерянности не нашедшая достойного ответа, Алиса гордо проследовала со своим выводком к берегу.

— Ох, уж мне эти выскочки! Так и поровит нос в чужие дела сунуть, — громко продолжала Нэнна. — Зато теперь мы знаем, как с ними себя вести, и в другой раз не оплошаем, верно, детки?

Реймонд и Урсла обернулись и высунули языки.

— Грубияны! — завопил деликатный Джимми.

Осыпая детей ласками, Нэнна вела их по песчаной косе, пока противник не скрылся из виду.

Начинался прилив. Волны стали снова набегать на песок, слизывая следы босых детских ножек. В канавках и лужах закружилась белая пена. А солнце безразлично бросало жаркие лучи и на коричневый парус застывшего вдалеке траулера и на белоснежную грудь крачки, стремительно несущейся к волнам.

Нэнне стало жаль, что она... Впрочем, чего теперь жалеть? Она поняла, как нязки бывают те, кто не знает границ дозволенного. А ведь эта особа не настолько уж моложе ее самой. И знакома с ним меньше месяца. Как будто не могла найти другого места — обязательно сюда надо было приехать, в чужие дела влезть.

— Поглядите, какое большое стало море! — обратилась она к детям. — По-моему, оно все растет и растет.

— Когда мы пойдем домой, я еще наподдам этому Реймонду, — грозно объявил Джимми.

— И не подумай, — остановила его Нэнна. — И вообще вы с ними больше не будете водиться.

— А я все равно ему наподдам. И Урсле тоже наподдам.

— Нет, ты у меня рукам воли давать не будешь. С меня довольно и того, что было.

Сэлли протянула пяне ладошки и, весело смеясь, запрыгала перед ней:

— Нэнна, у меня одна ручка хорошая, а другая плохая. Эту зовут Питер, а вот эту Пампки. Пампки — ужасный озорник. Знаешь, что он делает? Он скребет мне головку!

Милая девочка! Нэнна склонилась над близнецами, затем опустилась на колени и, вся трепеща от нахлынувших чувств, прижала их к груди.

— Ах вы, ненаглядные мои! Скажите, вы любите свою старую няню?

До чего же они были хороши! Во всем мире не было и не будет детишек прелестнее этих. Хоть землю вокруг обойди, все равно не найдешь. В этом-то, видно, все дело: только на привязанность ребенка и можно положиться. Конечно, не на этих рыжих ублюдков с их заплесневелой нянькой. Не так уж она молода, а туда же! «Милый Джордж!..»

— Мы с ними больше не станем водиться, верно, родные? Ишь, змея подколотная.

— Кто? — осведомилась Сэлли.

— А эта, их нянька. Ну, чистая гадюка.

— Гадюка?

— Ну да, того и гляди ужалит.

— Ужалит? — недоуменно повторила девочка.

— Любите меня, детки, любите меня!

И напевая, они отправились домой.

А в деревне расходились по домам парадно одетые пары — визиты закончились. Согбенный старик в соломенной шляпе, с лицом, словно засушенным ослепительно сверкавшим солнцем, подметал улицу. Вдоль дороги вырастали аккуратные кучки пыли.

СТАРЫЙ МОШЕННИК



а уж, конечно, Томас Бодами был старый мошенник, как же иначе его пазвать, если он пил без просыпу, бракопьерствовал и безобразничал напропалую; и когда такому человеку стукнет семьдесят, можно биться об заклад, что по меньшей мере добрых полвека он был примером того,

что не перевелись еще велпкие грешники, которым уготованы вечные муки. Спору нет, смолоду человек должен перебеситься, пусть себе бесится на здоровье, по когда-то надо и за ум взяться, и тогда все будет прощено или позабыто; однако Томас Бодами так и не взялся за ум, ничто ему не было прощено, и ничто не было позабыто. Как ни верти, а чем дольше живешь на свеге, тем чаще думаешь о том, что близок час, когда придется за все держать ответ, и хотя не скажешь, что от Саксунда до пеба теперь рукой подать — до неба по-прежнему высоко, — а нет-нет, и призадумаешься, что пришло время, пришло, мол, время и о душе позаботиться.

Настал черед призадуматься и Томасу Бодами. Тому самому Бодами, который глядел на мир из-под густых лохматых бровей, ходил в свисающих плюсовых штанах, с крепкой старой палкой в руке, а священника и полицию в грош не ставял. Однако приходит время, когда все на этом свете делается тебе мило, потому что понимаешь, что скоро со всем этим надо расставаться. Тогда даже то, чему ты раньше не придавал цены, ни во что не ставял, начинает казаться не таким уж плохим, а то и попросту хорошим — словом, случись теперь что с тобой, найдется о чем и пожалеть. И когда для Бодами настал черед призадуматься, мысли его были похожи на последний октябрьский щебет птиц в воскресный дождливый вечер — повеселые это были мысли.

И вот отправился Томас Бодами к священнику и попросил его о помощи.

— А! — сказал священник. — Ты, очевидно, хочешь покаяться, сын мой?

— Нет, сэр, — сказал Бодами, — не хочу я каяться. Да и в чем мне каяться?

— В своих грехах.

— А какие мои грехи?

— Это должен сказать мне ты, — пояснил священник.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся старый Том. — Не на такого напали, меня по этом не поймаешь!

Священник оторопел, услышав эти речи от такого человека, да и при таких обстоятельствах.

— Веди себя пристойно, Томас Бодами! — воскликнул он.

— Ах, ваше преподобие, не сердитесь на меня. У меня и без того на душе кошки скребут, навалились на меня мои года, как ни считай, а семь раз по десятку — в аккурат семьдесят выходит, против арифметики не пойдешь. Я и подумал, не найдется ли у вас для меня капельки утешительного, чтобы от сердца отлегло.

Священник ответил, что не в его силах помочь ему, раньше чем Том не облегчит свою душу покаянием.

— Но, ваше преподобие, что было, то прошло и позабыто. Чего там старое помянуть!

— Ничто не прошло, и ничто не будет позабыто до тех пор, пока ты не покайся. Ты стар, Бодами, и тебе надлежит очистить душу перед днем Страшного суда.

— Ну, — сказал Бодами, — у меня еще до этого не дошло.

Так он и ушел ни с чем, думая про себя: «Я сделал все, что мог, пусть-ка другой попробует сделать больше». И он напрямик отправился в таверну «Веселый Джордж» и загулял там всюду, но прошел день, другой, и снова дали о себе знать почечные колики. И тогда он опять пошел к священнику.

— Ты раскаялся? — спросил его священник.

— Да, сэр! Как есть во всем раскаялся. Ей-богу, сэр, во всем дочиста.

Священник смерил его взглядом.

— Нет, — сказал он, — это не так. Я в это не верю. Твое раскаяние не чистосердечно. Меня ты не проведешь. Сейчас ты еще хуже, чем был, да ты попросту пьян, еле на ногах держишься. И как только тебе не стыдно! Ступай отсюда, ступай. — И он выставил Бодами за порог. Но не успел тот отойти на несколько шагов, как священник окликнул его.

— Постой... Приходи-ка опять через неделю.

Тот оглянулся и спросил:

— Через неделю, говорите?

— Да, через неделю, — ответил священник.

— И вы будете ждать целую неделю, ваше предобие?

— Да, — ответил священник, — да, я буду ждать.

— Ладно, — сказал Томас Бодами, — можете па меня положиться. Я не подведу.

И это были не пустые слова. Вовсе не пустые. Ему не терпелось, чтобы настал долгожданный день. Но по мере того как шло время, первоначальный пыл его угасал и решимость ослабевала, и когда из семи дней прошло четыре, он пришел к мысли, что дело это не такой уж большой важности и что, пожалуй, можно обойтись и без священника. Вы, верно, скажете, что Томас Бодами стремился исправиться или встать на другой путь, только когда ему туго приходилось, по в конце концов это и есть подходящий момент для раскаяния. Вели ему священник прийти в любой день при одном условии, чтобы он был трезв, Томас Бодами, наверно, думал бы о спасении своей души не больше, чем он думал о своих грехах, он попросту забыл бы об этом; но условленная встреча — вещь не шуточная, и чем она ближе, тем исотвратимее.

Когда миновала неделя и настал назначенный день, Томас Бодами отправился к священнику. Подошел он к дому священника — а дело было вечером — и в темноте постучался в дверь. Священник отворил ему. Увидев Томаса, он сказал:

— Ба! Да это ты, Томас Бодами.

— Да, сэр, — сказал Бодами, — это я.

— Чем я тебе могу быть полезен?

— Сэр, вы сами велели мне прийти через неделю.

— Вот как? Ну что ж, заходи, заходи.

И священник провел его в свой кабинет, холодную и мрачную комнату, где стены были увешаны картинками на сюжеты из священного писания.

— Ну, — говорит он, — надумал ты наконец покаяться?

— Да нет, сэр, — говорит Бодами, — еще нет. А вот я подумал — вы уж не взыщите: может, вам охота отведать доброй зайчатины?

И, запустив руку за пузуху, он вытащил убитого зайца и вручил его священнику.

— Помилуй бог! — воскликнул священник. — Ну и заяц, всем зайцам заяц, мистер Бодами!

— А вот и добавок к нему, — сказал старый Том, извлекая из глубин своих карманов пару куропаток.

Священник принял птиц и стоял, держа на весу в одной руке зайца, в другой куропаток, словно сравнивая их. Он посмотрел на зайца, посмотрел на куропатку и перевел взгляд на Бодами.

— Это очень любезно с твоей стороны, — сказал он неуверенно, — очень, очень любезно! Но... гм... видишь ли... право...

— Да вы же сомневайтесь, ваше преподобие, — сказал Том. — Они мне достались честным путем, безо всяких этаких штук. Держите их. Они ваши, сэр.

— Гм... хорошо... Но, понимаешь ли, Бодами, я не могу потворствовать... Я ни в коем случае не могу потворствовать...

— Да уж, конечно, ваше преподобие, как не понимать, но, ей-богу, все было чпп чипом. Вот этот заяц, этот самый заяц, заскочил в мой сад прошлой ночью — они ведь скажут где попало, эти зайцы, беда с ними, да и только. Я его и раньше предупреждал, этого косоного: «Смотри, дескать, допрыгаешься, угодишь в жаркое!». А раз было ему уже предупреждение, я и уложил его на месте. Ну, а что до куропаток, сэр, насмотрелся я на них. Уж такие это безобразницы! Вот я и вымочил горсть зерна в бредни, как следует вымочил, да и рассыпал там, где они хороводятся. Ну, они и приманились и мигом склевали зерно, будто это путряное сало, и через пять минут так наклюкались, что их шатало. Тут я, конечно, подоспел и прикончил их.

— Ну и ну! Бог мой, Бодами, где же это все произошло?

— А в моем саду, сэр, на моем клочке земли.

Священник призадумался.

— Да. Удивительный случай! А тебе они самому не нужны?

— Мне! Я зайчатину и дичь в рот не беру. Какое там! Меня бы сразу скрутило. Понюхайте их клювы, сэр.

Его преподобие приблизил свой нос к куропаткам.

— Чуете запах бредни?

— Как же! Как же! Ну, благодарствую, благодарствую. Это чрезвычайно любезно с твоей стороны. Я сейчас же препровожу их на кухню.

Священник отнес дичь, а когда вернулся, потирая руки, то слова завел речь о покаянии, так что пришлось наконец старому Тому высказаться начистоту.

— По правде говоря, сэр, покаяться я однажды. Было со мной такое один-единный раз, и дал я тогда сам себе клятву никогда больше не каяться. Ведь вы, верно, не захотите, чтобы я нарушил клятву?

— Расскажи мне об этом.

— Дело было так, я был славным малым этак годков пятьдесят назад, но сотворил я большую глупость. Отдыхал я как-то вечером, прислонившись к стогу. Я только расставил парочку силков для кроликов. Холод был собачий, да и ветрище. Вот я и присел передохнуть, укрывшись за этим самым стогом ячменя, и закурил трубку. Докурил я, значит, трубку и потихоньку побрел домой. Не прошло и получаса, как слышу, бегут люди и кричат. Я к окну, вижу — в небе зарево. Где-то пожар случился. Коротко говоря, загорелся стог, тот самый стог, у которого я покуривал: должно быть, искра какая залетела туда непароком, не иначе, вот стог и загорелся. Уж как это получилось — не знаю, но получилось. Пыхало так, будто весь мир в огне, все осветило — и небо и леса па много, много миль вокруг. Я был сам не свой, по помалкивал, как воды в рот набрал. Мне бы и дальше так, куда было бы лучше. Но я не смог, не смог, и все; потому как на завтра же схватили одного беднягу, бродячего лудильщика, и обвинили, что учинил он пожар по умыслу — что это был поджог. А у него жена и дети мал-мала меньше. А в ту пору поджоги стогов были как злое поветрие, и законы на этот счет были лютые. Ему бы никак не выпутаться, несдобровать бы бедняге. Сколько он ни клялся, что к стогу и близко не подходил, доказать-то не мог. Что мне тут было делать, да и всякому, в ком совесть есть. Я знал, что он ни при чем, знал, и не мог позволить, чтобы за мой грех, хоть и невольный, невинная душа пострадала. Засадил бы его за решетку, и все тут. Был я молод и не трус. Собрался я с духом и объявил всем, что моих это рук дело и моя, мол, это вина, что стог загорелся. Я покаяться, сэр, —

а к чему это привело! Мне-то они поверили, но не поверили ему. Констебль чего-чего только не показал под присягой. И мы — я и лудильщик — па пару угодили в тюрьму, и закатали нас на два года — и меня и его. Суд плохо рассудил, сэр. Лудильщик был чист, что твой повороченный. Я-то все объявил, чтобы вызволить его, но лучше бы мне молчать и дальше. Был я виноват, хоть и без вины. Но на два года! Обоих! Уж это было чересчур, это меня и доконало, и поклялся я тогда, что больше из меня слова не вытянут, пусть хоть суждено мне родного отца убить. Вот как я пришел к этому, сэр.

Священник, повернувшись к стене, внимательно разглядывал одну из своих картинок.

Бодами продолжал:

— Не захотите же вы, сэр, чтобы я парушил свою клятву.

— О мой бедный Бодами! — воскликнул священник. — Это не причинит тебе зла, а послужит только ко благу. Что значит суетная клятва по сравнению с вечным блаженством!

— Я свое заплатил, — сдается мне, заплатил полной мерой. Но для людей я с той поры все равно что клейменный. Как был, так и остался. А что до всего прочего, я как есть во всем раскаялся, во всем, в чем был виноват по своей и не по своей воле. Раз или два подбили меня, и правда, на недоброе, но давно это было, я и позабыл о том, да теперь и не смог бы, рука бы не поднялась. Как же быть, сэр, можете вы мне чем помочь?

— Чем же я могу тебе помочь? — в раздумье спросил священник.

— Благословите меня, ваше преподобие, — произнес старик с надеждой. — Это ведь вам не повредит.

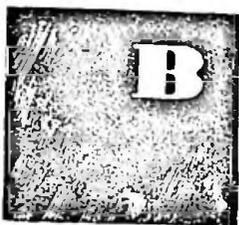
Его преподобие улыбнулся и приподнял руку.

— Пусть будет па тебе мое благословение, коль скоро я не могу призвать на тебя благословение божье.

— Отец мой! — радостно воскликнул Бодами. — Да мне ничего другого и не надо. Я очень вам благодарен. Теперь со мной все в порядке. Все в порядке, отец?

— Ступай себе, Томас Бодами, — сказал священник и погладил его по плечу. — Лилли расцветают и в сточных канавах, хотя им больше пристало цвести в чистых, прозрачных прудах. Ступай себе с миром и впредь не греши.

КАМИН ГРОГГО



давние времена, еще до того, как дом англичанина стал его крепостью, жил на свете старик по имени Грогго. Был он полон жизненных сил и душевного довольства, а я утверждаю, что нет ничего отраднее для глаз, чем вид эдакого старого весельчака с огромным цветком в петлице —

Грогго же никогда не забывал о цветке.

— Эх, соседи, — говорил он, когда они подтрунивали над этим его обыкновением, — дайте мне вволю натешиться цветами, травой-то я успею порастить, когда мои кости будут тлеть в сырой земле.

Спору нет, была здесь доля правды, этого не отрицали и соседи, зато не было ни капли здравого смысла.

— А по мне, коли правда, значит, и смысл есть, — говорил Грогго.

Так уж счастливо сложилась его судьба, что он жил один у себя в саду и что добрых соседей у него было хоть отбавляй. Стоял у него в саду захудалый домишко, который с грехом пополам защищал его от ветра и дождя, но по части иных жизненных удобств мало чем мог похвалиться. Не было у Грогго ни жены, ни кухарки, ни служанки, чтобы внести уют в его убогие владения, и не было очага, чтобы обогреть голые стены его жилища, а когда у старого Грогго являлась необходимость в огне, он пристраивался на корточках за порогом своего дома перед охапкой горящих поленьев.

— И взбрдет же человеку в голову жить на такой дурацкий лад, — возмущались соседи. — Разумные люди живут в степенях своего дома и вкушают радости домашнего очага. Есть у тебя дом, и кровать, и даже подставка для горшков с цветами, и в доме все принаровлено для жизни, но ты только спишь там, а целыми днями бродишь как неприкаянный под открытым небом, не имея защиты от ненастья и непогоды и от всякой

ползающей и летающей печисти, которая подстергает тебя па каждом шагу.

— Что еще за нечисть такая? — недоумевал Грогго.

Тут соседи со вниманием оглядывали его сад, поросший золотыми поготками, ибо, по правде говоря, они не слишком задумывались над тем, что вызывало их воркотню, а просто им необходимо было поворачивать — все равно по какому случаю.

— Ну, вот хотя бы эти слизни! — говорили они.

— Слизни? — восклицал Грогго. — Да они и близко-то подползти ко мне не смеют, а если какой п осмелится, я мигом смахну его в огонь.

— Ты должен, — говорили соседи, — обзавестись камином и вывести трубу наружу.

— А для чего? — кричал Грогго.

— Чтобы жить в стенах своего дома.

— А это для чего?

— Чтобы жить как люди, уважая себя и других.

— А это еще для чего?

— Так делают все, и так надлежит делать каждому. Таков закон, такой сложился обычай, и так уж в мире заведено. Ты должен обзавестись камином и греться у домашнего очага.

— Должен! Должен! Должен! — бурчал Грогго. — Да приди ко мне кто угодно п спроси: «Нужен тебе камин, Грогго?» — я бы ответил ему со всей вежливостью: «Еще чего не хватало!». Послушайте, что я вам скажу: нельзя заводить свои часы чужим ключом. Не о том ведь речь, что я должен пметь, а о том, пужно ли мне это.

— Нет, Грогго, пменно о том, — вразумляли его соседи. — Да, да, о том, что правильно, а что неправильно, и что хорошо, а что дурно. И бог нам свидетель, мы поступаем правильно п хорошо, иначе чем бы мы были, как не жалкими париями, и раз все мы этому следуем, стало быть, это правильно. Вот что значит судить здраво и со знанием дела, так почему же ты один идешь против всех? Время у тебя есть, споровки хватает, и камней полным-полно в камеполомне.

— Вот еще! Вам бы только сболтнуть что-нибудь, и ладно. Но я-то дожил до седых волос безо всякого вашего камина, и па что он мне сдался! Мне вольный

воздух падобен, да пусть дым от моего костра вверх поднимается, и не по душе мне вовсе дель-дельской возиться с совком и сажеей, чтобы держать в чистоте каминную трубу.

— Но в каждом доме должен быть камин, и каминные трубы надо чистить.

— Шли бы вы, — говорил им в сердцах Грогго, — шли бы вы себе подобру-поздорову.

Миновали теплые дни, и вот уже завывли холодные ветры, а Грогго все сидел в своем саду, глядя, как медленно клубится дым над его костром.

Как-то зашел к нему священник и обмелчался с ним приветствиями.

— Брат Грогго, есть у тебя дом, это верно, но он холоден, пуст и заброшен. Четыре стены у тебя есть и тростниковая крыша, но все это стоит необжитое, а ты бродишь как непркаяный под открытым небом, и глаза твои разъез едкий дым, и ты слеп к тому сокровищу, которое разольет благодетельное тепло, стоит только тебе высечь искру.

И он попытался убедить Грогго, что ему необходим камин.

— Сэр, — ответил Грогго, — не лежит у меня душа к этому делу. На что мне камин?

— Чтобы у тебя в доме был живой огонь.

— А у меня живой огонь под открытым небом.

— И когда ты выглянешь в каминную трубу, то днем увидишь звезды.

— На что они мне днем, когда па небе светит ясное солнце? Ну, а по ночам я и безо всякой вашей трубы вижу их все до единой.

Так они спорили добрый час.

— Хорошо, а как же трубочист? — спросил священник. — Если бы все думали как ты, что было бы с трубочистом?

— Обхожусь же я без трубочиста, пусть и он обходится без меня.

— Себялюб! — вскричал священник. — Да если бы все думали, как ты, что было бы со священником?

— Ах, ваше преподобие, — ухмыльнулся Грогго, — не тяните меня за язык. Если бы все думали как я, уж и не знаю, понадобился ли бы им священник.

— Ты полон сомнений и скверны, — сказал ему священник, — и нет благости в твоём пути.

— Порой от того, в чем есть благо, тошно приходится.

— Да глупая ты голова, разве может быть тошно от того, в чем есть благо?

— А слабительные средства? — сказал Грогго. — А воздержанье? Есть же на свете и они, уж я не говорю про коптящие камни.

— Теперь я вижу, — грустно сказал священник, — что ты закоснел в своих заблуждениях и слишком самонадеян, а попросту говоря, ты осел.

— Брат, — ответил ему Грогго (ибо был он великий шутник), — я слишком самонадеян, только когда речь идет о моих сомнениях.

— Возведи себе камин, — оборвал его священник, — а уж я позабочусь о том, чтобы ты его чистил.

— Шли бы вы себе, — сказал Грогго, — шли бы вы подобию-здорову.

Так он и жил, как прежде, до тех пор, пока снова не расцвело лето, и тогда стал он бродить между скал по берегу моря. Холмы уходили вдаль, то спускаясь полого, то круто вздымаясь к бескрайнему небу, и здесь-то Грогго и полеживал, следя за плавным полетом чаек и слушая, как с бесплодным пылом шумят морские волны и как ветер крадется в зарослях скрипучей блестящей травы, и над островками клевера, и над румянкой, и над заячьей капустой.

Как-то повстречался ему тут приходский констебль и обменялся с ним приветствиями.

— Грогго, ты должен построить себе камин, пока не пришла зима.

— До зимы еще далеко.

— Но ты должен построить его загодя. И никаких твоих отговорок, — дескать, потом, да на будущий год. Берись за дело без проволочек.

— Я отдал бы бушель вишен, только бы не слышать больше про этот камин, — ответил Грогго.

— Эка невидаль — вишни! Да нынче, Грогго, на них такой урожай, какого я и не припомню. Ветки просто гнутся под их тяжестью. Пока соберешь эти вишни да перетаскаешь, всю спину разломит.

— Ну, пусть это вас не заботит, господин констебль. Я не припомню, чтобы и скворцы вылуплялись так рано, как нынче, а это такие ловкие сборщики вишни, что лучше и не сыщешь.

— Но я разумею человека, Грогго, человека с лестницей и корзиной.

— Скворцы-то без корзины управляются, и ни разу не довелось мне видеть, чтобы скворец нес лестницу или чтобы ветка у него сломалась, не говоря уже о спиче. Они вам дочиста оберут вашу вишню, и я готов поручиться, что дело обойдется без ломоты в костях, господин констебль.

— Так вот, Грогго, — начал констебль, — что касается твоего камня...

— Мне пора, — прервал его Грогго. — Мне пора идти.

В скором времени получил он уведомление от местных блюстителей закона, где говорилось, что противозаконно дому не иметь камня, и предписывалось Грогго поставить себе камень без всякого промедления и впредь жечь в соответствии с законом, со сложившимся обычаем и с тем, как в мире заведено. А в противном случае притянут его к суду, и там либо он найдет доводы в свое оправдание, либо понесет кару.

К слову говоря, Грогго, который не питал особого уважения к чужим мнениям и взглядам, весьма почитал закон, и тут он понял, что не под силу ему больше противиться такому высокому попечению.

— Увы, увy! Выше головы не прыгнешь, плетью обуха не перешибешь. Так и быть, заведу себе камень. Ладно.

Таков был его ответ блюстителям закона. И вот, пока еще дни стояли длинные, взялся он за работу, а к тому времени, когда дни укоротились, над крышей его дома выросла, словно мартовская луковица, превосходная труба. В день, когда работа была закончена, созвал к себе Грогго своих соседей. И вечером пришли они к нему попить по этому случаю. Соседи сказали: «Грогго, мы пришли разжечь огонь в твоём камне». И они положили в новый очаг поленья и подожгли их, а старый Грогго вышел за порог и смотрел, как вьется дым из его трубы и долго тянется дорожкой в лунном небе. Потом он выпил полпинты джина и пустился в пляс.

— Браво, Грогго! Ай да молодчина!

И они объявили, что заблудшая овца наконец-то вернулась в стадо.

Некоторое время все обстояло благополучно. Никто и никогда так не усердствовал в заботах о камне, как старший Грогго. В своем рдении о нем он перешел всякую меру, и чистил его в любое время дня и ночи, была в том надобность или нет. Первое, что бросалось в глаза поднявшимся спозаранку соседям, это метла, торчащая из трубы Грогго, да и почным гулякам порядком паскучило его рвенне. Необъяснимы пристрастия, свойственные душе человека. Но что же породило это пристрастие? Был ли то неистовый пыл новообращенного, или горделивый восторг обладателя дымовой трубы, или, быть может, уважение к блюстителям закона? Нет, совсем, совсем другое! Угли в камне никогда не прогорали, Грогго словно дал обет свято оберегать их, и сам камень был предметом неусыпных и тщательных забот, однако огонь, пылающий внутри дома, породил в старике неведомый ему доселе ужас: одна искра от догорающей головешки — и вот его тростниковую крышу охватывает пламя, рушатся стропила, и он погребен под ними или задохся в дыму... Здравый смысл уступил место постоянной тревоге, и не раз глубокой ночью Грогго просыпался в холодном поту, вскакивал и, охваченный паникой, выбегал на улицу, пугая соседей воплем: «Эй, гарью пахнет!». Они кричали ему: «Успокойся, успокойся, Грогго! Нигде ничего не горит!». Но хотя и впрямь ничего не горело, Грогго не утихонмиривался и так часто выкидывал эдакие колена, что раздосадованные соседи стали проклипать день и час, когда Грогго поставил у себя камин. Спору нет, осмотрительность принадлежит к числу добродетелей, но неумеренная осмотрительность вредна для тела и пагубна для духа.

Что же можно сказать о Грогго и терзавших его страхах? Подчинясь он тайному желанию своего сердца, он сбросил бы с крыши трубу и своими руками разрушил бы камин. Но Грогго был настоящий человек, кремень! Флюгер, который вертится по воле ветра, не ведает о гордости человека и о достоинстве, которым тот наделяет своих богов. Могущественна воля к жизни в человеке, но дух его подобен стервятнику, подстер-

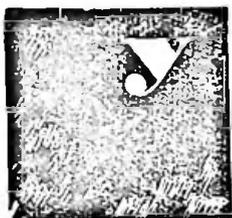
гающему добычу: гордость помешала Грогго вернуться к милым его сердцу привычкам, и похвалы соседей слишком запали ему в душу, чтобы он мог теперь от них отказаться. Однако эта гордость не помешала Грогго пристроить лестницы к чердачному окну, обеспечить себя множеством запасных выходов, изобрести решетки для защиты от искр и попоставить во всех углах кадки с водой, в которых с успехом можно было бы развести уйму рыбы! И он повесил к стропилам прямо над своей кроватью бочку, наполненную водой, собираясь опрокинуть ее на себя с помощью веревки, если пожар застигнет его во время сна.

Увы, это и погубило Грогго, ибо как-то ночью, обуреваемый ужасом, он судорожно ухватился за веревку, она оборвалась, бочка рухнула и проломилась ему череп. Тут-то и пришел конец Грогго.

А пожар просто померещился ему — у страха глаза велики.

— Экий полоумный! — воскликнули соседи, когда обнаружили его тело. — Лучше бы такому дураку и вовсе не знать благодетельного домашнего огня.

ТАКОВА ЖИЗНЬ



него было редкое имя — Себастьян или что-то в этом роде, но они звали его Сэм. Ее отец, Джордж Харман, работавший табельщиком на фабрике, привел его домой однажды вечером — парень был из той же части Йоркшира, земляк старого Хармана. Сэм бродяжничал и уже совсем было дошел до точки, когда однажды, заглянув случайно на фабрику, получил там временную работу по ремонту и переоборудованию. Такой уж это был парень — ни денег, ни жилья, да и одежды путной у него не нашлось бы, но он был уроженцем тех же мест, что и отец его подружки Мег, для старика этого было достаточно, и он привел парня к себе домой. Они отдали ему постель Фреда — брата Мег, и кое-что из его одежды. Незачем было дольше хранить все эти вещи, потому что скверная история стряслась с беднягой Фредом. Не так давно какой-то человек, выдать нездешний, вызвал старика за фабричные ворота.

— Не хотите ли пройтись со мной по улице? — сказал он. — Это... ну... ненадолго... не отнимет у вас и минуты; прошу вас.

Джордж Харман был на работе и потому ответил, что никак не может, и спросил незнакомца, чего ему надобно.

— Был у вас сын, не так ли? — осведомился тот.

— У меня есть сын, Фредом его звать, — ответил старик.

— Известно ли вам, где он теперь?

— Фред в Северном море, он рыбу ловит, — сказал отец.

— Выходит, вы и не знаете ничего, а ведь его нет в живых!

— Ну, видит бог, не знал я этого!

— Да, — подтвердил незнакомец, — так оно и есть. Они просили, чтоб я сообщил вам эту печальную весть.

Он утонул, ваш Фред. — И незнакомец рассказал отцу все в подробностях.

— Ну вот что, малый... — Джордж Харман потер себе лоб с безутешным видом. — Сделай доброе дело, сходи расскажи все Мегги, дочке моей. Только, смотри, осторожно, — добавил он.

Незнакомец сказал, что ладно, он сходит, и Джордж Харман вернулся на фабрику и занялся своим делом.

И двух месяцев не прошло с тех пор, как этот самый Сэм очутился в доме и, можно сказать, шагнул прямо во Фредовы башмаки. Харманы жили в хибарке, стоявшей на грязной улице, с каждой стороны которой торчало штук по сорок пять совершенно одинаковых домпшек. Отец, уже овдовевший, был немного сутуловат и носил усы желтовато-белого цвета. Его дочь Мегги все еще в девках сделала, хоть и было ей под тридцать; она сохранила молодость, но всякие там ухаживания не прельщали ее: она все дома сидела да присматривала за своим папашей. Нет, ей ни к чему ухажеры; это была уравновешенная, даже, пожалуй, надменная девица, не имевшая пристрастия к щеголеватым приказчикам, которые, папомадив прически, подпирали двери окрестных лавчонок, ковыряя спичкой в зубах. Возможно, она была чересчур высокого мнения о своей особе; во всяком случае, она показала это, когда отец привел в дом бродягу Сэма и предоставил ему временное пристанище просто потому, что оба они были родом из одних и тех же краев Йоркшира.

На первый взгляд, Сэм решительно ничего не представлял собою, и Мег отвортила нос, да еще фыркнула тихонечко. Лицо его уже много дней не знало бритвы, и подбородок весь зарос золотисто-желтым пухом; но когда он смыл грязь, побрился и натянул воскресный костюм Фреда, то оказался не так уж плох. У него были голубые глаза, и, надо сказать, малый силен был, как медведь.

— Устраняйся как у себя дома, парень, — сказал Джордж Харман, — и давай выкладывай свои новости.

Но молодой человек был немногословен; что уж там мог он поведать, а то, что мог, никому здесь не было интересно. Неделя за неделей ходил он на фабрику, вел себя степенно и благоправно, и понадобилось

те больше месяца, чтобы он почувствовал себя совсем как дома, можно сказать — членом семейства Харманов. Однажды вечером он принялся ухаживать за Мег и поцеловал ее. Она оттолкнула его, но не рассердилась.

— Обойдемся без этого, молодой человек, — сказала она. — Каждый должен знать свое место, а уж мое то всегда при мне останется.

Он усмехнулся.

— Чего уж там воображать из себя, Мег, дорогая. Она не ответила.

— Ведь вы сами меня на это вызвали, — добавил он.

Кухня была маленькая, свободного места было не много, и там сновала Мег, делая свои дела. Потолок в комнате провис, огромный камин занимал целую стену, по бокам возвышались поставцы. Большая черная кухонная плита пмела щегольской вид — топка была спешно-белая, решетка мерцала, подобно шеренге хорошо вычищенных пожей. Два-три пустых оловянных кувшина на высоком платяном шкафу поблескивали по обе стороны часового циферблата с опрятностью, говорившей о добросовестной бережливости хозяйки.

Джордж Харман все вечера проводил в рабочем клубе. Время от времени от уговаривал Сэма составить ему компанию, но молодой человек чаще всего предпочитал оставаться дома и играть в шашки либо крибедж с Мег или слушать радио, пока девушка занималась шитьем или вязала. Случалось, он приглашал ее в кино или они ходили гулять, и тогда он покупал ей помадных конфет, книжку за два пенса, а то и какую-нибудь безделушку пенсов за шесть. Чувство его к ней на самом деле становилось все сильнее и глубже, да и Мег он тоже начинал нравиться; так все и шло, мило и благоправно, порядочно времени.

Но всему на свете приходит конец — такова жизнь! — подошла к концу и работа Сэма на фабрике. Был он когда-то бесшабашный, лихой парень, этакий перекачиполе, теперь он поневоле остепенился и даже приберег фунт-другой на черный день. Но утрам вставал он как можно раньше и принимался рыскать по городу в поисках новой работы. Но тем же самым занимались еще девятьсот девяносто девять вконец от-

чаявшихся мужчин, и все они были против него; против него было время, против него была удача, казалось, дьявол собственной персоной ополчился на него. «Нет бога, не то уж я бы выколотил у кого-нибудь хоть какую-то работенку!» Но работа не падала с неба в его протянутые руки, и приходилось только сожалеть о том, что надо собираться и уходить. Сбережения скоро растаяли, никаких надежд отыскать работу где-нибудь поблизости не оставалось, а он все не решался уйти от Харманов и поискать свое счастье где-нибудь еще. Теперь Мег платила за них обоих в кино и покупала ему сигареты. Джордж Харман сталовился все более скуп и намекал дочери, что, дескать, пора бы Саму сдвинуться с места. Мег не слишком доброжелательно принимала эти намеки — теперь ей не хотелось потерять юношу. Но по мере того как недели шли одна за другою, а Сэм по-прежнему был без работы, да и без надежд получить ее, отец перешел к прямым и недвусмысленным высказываниям по поводу полной никчемности Сэма.

Однажды воскресным утром Сэма не было дома. Мег чистила картофель в кухне, Харман был тут же — брлся над раковиной. Он надел чистую клетчатую рубашку, спущенные подтяжки свисали с его бедер. Тсс-тсс-тсс — скребла бритва. Он вытер пену с лезвия и сказал:

— Что до мистера Сэма, то с меня хватит. Лучшо бы ему убраться отсюда, не то как бы один из нас в беду не попал.

— Ну куда он уберется! Право же, отец, не может он уйти от нас, — вступилась Мег.

— Никто его здесь не держит, — возразил папаша, вновь берясь за бритву.

— Ему некуда идти, даже в Йоркшире у него никого не осталось. Во всем мире у него нет дома, отец!

— Вот и пускай построи себе, дочка. И ладно будет.

— Но ты должед помочь ему пристроиться здесь, — замолилась она.

— Нигде он не пристроится, Мег. У таких, как он, не получается это. Знаю я их, дочка! Тунеядство одно, вот что я тебе скажу.

— Он так мало ест, что едва ли стоит нам денег.

— Ой ли! В хорошие деньги встанет нам этот парень.

— Разве что лишней пепни, отец, только и всего. Уж я-то позабочусь об этом.

Он перестал бриться и пристально посмотрел на нее; щеки его, выбритые наполовину, были красны, на лезвии сохла пена.

— Послушай-ка меня, дочка. Я свой шиллинг подделю с кем хочешь, только бы характер был у того человека, да так я и делаю, а ты перестань кудахтать... Тунеядство одно!

— Но он никому не мешает, — сказала она жалобно.

— Не мешает, говоришь? — Он окинул ее пронзительным взглядом. — Я не так уж уверен в этом.

— Говорю, он не мешает нам, — повторила Мег.

— Ну и что? Раз я не хочу — значит, все! Скажешь ему — пускай убирается.

— Нет! — возразила она резко. — Говори с ним сам.

В общем, он поговорил с Сэмом, и тот ответил:

— Ладно, хозяин, спасибо вам за все; я уйду.

Но он не ушел — ни в тот день, ни завтра, ни послезавтра, и каждый вечер, возвращаясь домой с работы, Харман все еще заставал Сэма поблизости от Мег — бывало, она сидит за вязаньем, и они так уютно беседуют с глазу на глаз либо в шашки играют друг с дружкой. Харман не возобновлял разговора об уходе Сэма. Наступил четверг. Придя домой, Харман застал привычную картину — дочь за вязаньем, и молодой этот рядышком с ней. Поднявшись с места, Мег сняла с плиты сковородку, и вскоре перед отцом очутилась тарелка с сосисками. Харман был голоден и ел с жадностью. Раздражен он был сверх всякой меры.

— Всё еще здесь? — обратился он к Сэму; голос его звучал угрожающе.

Сэм беспомощно взглянул на него.

— Я все насчет работы пытал, мистер Харман, так старался найти хоть что подходящее, да, видно, нет ее для меня в этом городе.

— Ах, вон оно как, значит, — протянул Харман. — Ну вот что, парень, мне тошно, прямо-таки тошно от

всего от этого. Попятно тебе, что это значит? Я папрянк говорю.

Сэм пробормотал, повесив голову:

— Вот уж не знал я, что вы так считаете... Вы всегда были добры ко мне. Я думал... ну, думал я, в общем...

— Мало ли чего ты думал, — выпалил Харман грубым и резким тоном. — Хоть думай, хоть нет — мне все равно. В твоём миссии тут не нуждаются, парень.

Мег вмешалась спокойно:

— Ладно, отец, это я сказала ему, чтоб оставался.

— Ты?! — заорал Харман.

— Да, я.

Сэм поднялся с места.

— Уж лучше я пойду, — сказал он.

— Вот уж и верно, что лучше, — огрызнулся Харман, задыхаясь от возмущения.

Мег, спокойно продолжая вязать, промолвила тихо, но с какой-то непостижимой уверенностью в голосе:

— Что ж, отец, если он уйдет, и я с ним. Садись, Сэм.

И Сэм уселся на свое место. В этом не было никакого вызова, просто он автоматически подчинился приказам женщины, удостоившей его своей любви; но Джордж Харман пришел в совершенную ярость.

— Вставай и убирайся отсюда немедленно! — заревел он, показывая на дверь вилкой.

Сэм не тронулся с места. Он даже ухмыльнулся, что было не очень-то благоразумно с его стороны.

Тогда Харман вскочил и, громко выругавшись, пхвирнул в него чайник, полный только что заваренного чая. Сэм увернулся. Чайник разлетелся вдребезги, оставив на стене мокрую кашлицу чапнок; от них все еще шел пар. Схватив столовый нож, которым резали хлеб, Харман остервенело кинулся вокруг стола вдогонку за Сэмом. Парень отступил к кампу.

— Отец! — пронзительно завизжала Мег. — Папа! Что ты делаешь!

Харман в ярости бросился на Сэма. Отступать было некуда, и Сэм, схватив сковородку, стоявшую на плите, опустил ее старику на голову в тот самый миг, когда Харман бросился на него. Удар не был по-па-

стоящему сильным, на самом деле Сэм панес его лишь для того, чтоб Харман не пырнул его ножом, но, видно, все же он попал в наиболее уязвимую часть черепа, потому что старик рухнул на пол. В течение нескольких секунд он лежал на боку, задыхаясь, перекосив разинутой рот и высунув язык; глаза его почти что выкатились из впадин. И вдруг все кончилось. Мег замерла, глядя на него широко раскрытыми глазами, прижав руки к щекам. Отец не шевелился. Какое-то странное, тягостное молчание воцарилось в кухне. Сэм стоял, все еще сжимая в руке сковородку; капли сала стекали с нее на линолеум... Вдруг Мег метнулась к отцу и выдернула нож из его судорожно сжатых пальцев. Выбежав в коридор, она бросила его там. Когда Мег вернулась, Сэм стоял на коленях позади старика, лежащего все так же безмолвно.

— Ну же, вставайте! — упрямил он его. Но Харман не подавал признаков жизни, не слышалось ни звука, ни стопа. — Что это с ним, Мег? Не так уж я его сильно стукнул. По-моему, едва-едва... Ничего не понимаю. Что это с ним, Мег, как ты думаешь?

— Принеси воды, — велела она.

Они брызгали водой на его лицо и затылок, но это не оживило Хармана, вливали ему воду в рот, но она вытекала обратно. На голове была рана; сквозь седые пряди волос сочилась кровь.

— Беги за доктором, живо! — закричала она.

Пришел врач и опустился на колени, чтобы осмотреть пострадавшего. Он сделался очень серьезным. Мег дотронулась до руки Сэма и тихонько вывела его из комнаты. В коридоре она шепнула:

— Тебе надо бежать, скорее, немедленно, беги куда хочешь!

Оставив его, она вернулась к врачу.

— Боюсь, что я ничем не могу помочь. Этот человек мертв, — сказал он. — Как это случилось?

Она рассказала ему, что произошла ссора и был нанесен удар. Послали за полицией. Полицейские, придя, обнаружили Сэма сидящим на ступеньках лестницы.

— Дурак! — прошептала Мег. — Почему ты не ушел сразу же, как я велела тебе?

— Ладно, — ответил он строго, — оставь меня в покое.

Он все рассказал полицейским, ничего не скрыл и не отрицал.

— Но я был вынужден так поступить, — сказал он. — Все беды на меня навалились разом.

Полиция арестовала его. Его заперли в тюремную камеру.

Следствие началось спустя двое суток, и для дачи показаний был вызван врач. Он дал их. Удар по голове, после которого старик скончался, по его словам, был нанесен тяжелым предметом; и все же, продолжал он, сам по себе этот удар был настолько слабым, что не мог стать причиной смерти, которая в действительности последовала от удушья. Большое количество мяса и хлеба закупорило пищевод, и Харман задохнулся. Он умер от удушья.

Дело обернулось неожиданной стороной. Иной раз истина оказывается причудливее любого вымысла, и очень часто в нее бывает трудно поверить. Но врач был настолько убежден в своей правоте, что его оказалось невозможно сбить с позиций, и, таким образом, поняты в главе со следователем вынесли заключение о смерти в результате несчастного случая.

Позднее, когда Сэм был доставлен в полицейский суд, выяснилось, что судьи не могут опротестовать показания врача и заключение следователя. Без сомнения, поступок обвиняемого способствовал несчастью, тем не менее нет оснований к возбуждению судебного преследования. И арестованный был освобожден из-под стражи.

Без единой улыбки покинул Сэм скамью подсудимых. В вестибюле суда он увидел Мег — она поджидала его. У него не было никаких намерений; он не знал, ни как себя с ней вести, ни что им теперь надлежит делать, но понял, что она ждет, и сердце его бешено заколотилось при виде ее. Она была в трауре, лицо ее казалось таким бледным, таким печальным — даже улыбки не нашлось у нее для него; она стояла там, и глаза ее не светились приветом. В вестибюле было полным-полно народу, и все таращились на него и на нее, выжидая, что же произойдет между молодой женщиной и этим парнем, который прикончил ее папашу.

Когда он подошел к ней, Мег не проронила ни звука. В ладонях безвольно повисших рук она комкала белый носовой платок. Она не поздравила его — не могла; она не сумела даже сказать, что радуется тому, как легко он отделался. В том, что это всего лишь несчастный случай, не было утешения; содеянное было непоправимо, и черная тень его навсегда пролегла между ними.

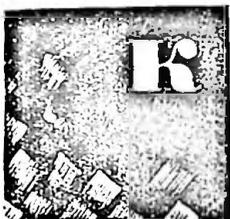
Мег протянула руку и пробормотала:

— Прощай.

Но не успел он дотронуться до ее руки, как она круто повернулась и пошла от него прочь.

Было что-то в этом ее движении, помешавшее ему пойти вслед за ней.

ЛОЖЬ, ВСЮДУ ЛОЖЬ.



огда человек в отчаянии бросается в кресло с единственной мыслью о смерти, нетрудно догадаться, что у него неприятности из-за денег или женщины; впрочем, это может объясняться и сущностью человека, способного так терзаться из-за какой-нибудь чепухи, поглощающей все его мысли. Тут неприятности были из-за женщины, милого и очаровательного создания, и Пауэлл — из фирмы Ханнафорда и Сноуфолла, процветающих пивоваров средней Англии, — Эрик Пауэлл, я бы сказал, чувствовал себя так, словно у него вырвали желудок из того привычного вместилища, где он спокойно пребывал всю жизнь, так, словно сердце его вот-вот остановится и он превратится в бездыханный труп, распростертый в кресле. Много страшных видений пронеслось в его голове, срывая с губ проклятия, и он подумал, что было бы весьма забавно умереть вот так, с проклятьем на устах. Проклинающий труп! Гм! Ну что ж, множество людей поступают и так и этак, выкидывают что-нибудь еще почище — можно и впрямь помереть со смеху от всего этого. Но так или иначе, без слез тут не обходится.

Большую часть недели Пауэлл провел в деловой поездке по северу Англии и, вернувшись, просхал прямо на службу — с зонтом и саквояжем; квартиру он снимал в живописном пригороде, в миле или двух от пивоваренного завода. Он предполагал, что дома его дожидается письмо, очень важное письмо — ведь он написал Елене еще перед поездкой. Но дело есть дело, и Пауэлл никогда не пренебрегал им — дело для него было превыше всего. И все же ожидание становилось нестерпимым, и Пауэлл отправился домой раньше, чем обычно. Он сбросил в холле пальто и шляпу, взбежал вверх, в спальню, поставил саквояж и взглянул в окно, выходившее в сад.

За время его отсутствия расцвятилась хрупкими спешными звездочками живая изгородь из диких груш и порозовела на апрельском солнице цветущая коринка. В соседнем саду мужчина, опустившись на колено, фотографировал своего колли. Коренастая, широкобедрая служанка протягивала псу кость. Собака, сидя на задних лапах, приплюхивалась к ней. Через минуту-другую мужчина направился к дому с аппаратом в руках. Собака побежала следом. Служанка швырнула кость в грядки с капустой и вытерла пальцы о передник.

Пауэлл повернулся к зеркалу и стал причесываться. Долго всматривался он в свое отражение в зеркале, прикладывая носовой платок к щекам и остался доволен: лицо вполне устраивало его. Затем он прошел в просторную комнату рядом, обставленную мебелью светлого дуба, с креслами, обитыми кожей, и картинами на религиозные и патриотические сюжеты.

Письмо лежало на кампне. Тщательно заклеенное, скрепленное личной печатью, оно, как Пауэлл и предвкушал, заранее улыбаясь, дожидалось его.

Но это не был ответ, на который он рассчитывал. Боже мой! От того, что он увидел в конверте, было не до смеха. В письме не было ничего приятного, оно ошеломяло, повергало в отчаяние. В нем таились семена бедствия. В потрясенном воображении Пауэлла семена эти дали уже всходы и превратились в дерево, казавшееся ему зловещим знаменем, — оно вот-вот станет виселицей и вздернет его тело, колеблющееся и еще живое, на посмешище ветрам.

Да уж, с женщинами вообще лучше не связываться. Один-единственный невольный, случайный жест может вмиг подвергнуть смертельной опасности вашу свободу, ваше будущее, ваше благосостояние, и все из-за какого-нибудь нелепого пустяка. Есть что-то бессердечно-жестокое в отношении женщин к мужчинам. Оказывается, достаточно легкого дуновения ветерка, чтобы поколебать самые основы дворца, столь древнего, как Эдем, откуда и пошли все беды! Да вот, взгляните! Вот оно, это письмо. Его нацарапали карандашом кое-как, на клочке бумаги, второпях засунули в конверт, и... п... и... с глаз долой!

«Эрик,

Он узнал. Всё. Будь осторожен. Молчи, пока не увидимся. Напишу еще при малейшей возможности.

Елена».

И ничего больше. Нет даже даты. Вот вам привычный треугольник: муж, жена, любовник, и все уже вопиет о позоре и насилии.

Эрик Пауэлл — холостяк лет сорока, высокий, худой и перешителый. Службу на пивоварне он начал с мальчишка на посылках, и цепь счастливых случайностей, скорее нежели его личные качества, привела к тому, что через двадцать лет он уже заправлял тут всеми делами. Он был теперь управляющим пивоварней и прочно сидел на своем месте. Это был человек ума небольшого, но достаточного для его поста; именно так, и не больше, — никаких особых достоинств, требующихся для решения иных проблем, не связанных с солодом и хмелем, бочками и бочонками, бутылками и приправами.

И тем не менее несколько месяцев назад он страстно влюбился в даму необыкновенной красоты и высокого положения, лет на семь-восемь моложе его самого, и она ответила ему взаимностью. До сих пор все, казалось, шло хорошо. Но, когда это случилось, Елена Бэннон была уже замужем, и, как бы хорошо все ни обстояло пока, дело заходило далеко — слишком далеко, чтобы не потерять спокойствия, чувствовать себя в безопасности, соблюсти благопристойность, чтобы хоть в какой-то мере сохранить чувство собственного достоинства. Слишком далеко — при любых обстоятельствах, но тут, я бы сказал, это было все равно, что забрести ночью в дремучий лес, кишящий дикими зверями. Эта метафора вовсе не имеет целью бросить тень, даже малейшую, на обаяние миссис Бэннон, которая и в самом деле была очаровательна и неотразима. Метафора эта относится к самому мистеру Бэннону, который по-своему был даже более неотразим, хотя и отнюдь не обаятелен. Это был человек чрезвычайно богатый, достаточно старый, чтобы сойти за отца миссис Бэннон, дородный, слегка заикающийся, заметно потливый, лысый, несколько похожий на еврея и — пусть

это будет отмечено особо — весьма влиятельный, хотя и предпочитающий оставаться в тени, компаньон фирмы Ханнафорда и Сноуфолла. Уже по одной этой причине он, что называется, носил худородные права Пауэлла, этого служащего на жалованье, под ободком своей шляпы. Стоило ему только в досаде сорвать ее с головы, и от мистера Пауэлла остались бы одни клочки, да и те были бы бесцеремонно сметены с пола пивоварни и развеяны в прах. Что бы еще ни означало письмо Елены, в представлении мистера Пауэлла оно прежде всего и главным образом означало этот самый ужасный из возможных исходов.

Он бросился в кресло, задыхаясь от укоров самому себе, в голове теснились самые отчаянные предположения. Что?! Когда?.. Как?.. Где?.. На заводе ему ничего не сказали. Штемпель на конверте трехдневной давности. Что это значит? И если уж непременно должен грянуть гром — где и когда раздадутся его удары? Нет, это было выше его сил — ждать вот так, ничего не зная, не имея возможности ничего предпринять, ждать и ждать, в то время как судья, быть может, уже прилаживает па голове новенькую, с иголки, черную шапочку¹. Жаль бедную Елену, ей, конечно, придется нелегко, но что будет с ним! Если в ее письме хоть доля правды — он пропал. Писал ли он в своем письме что-нибудь такое, что могло ему повредить? Там была уйма намеков, уйма, он знает, по что же все-таки он написал? Хоть убей, он не мог припомнить. Он бросился к бюро и отпер выдвижной ящик. Там было несколько писем от Елены. Он перелистал, а потом внимательно перечитал их. Боже! Если он писал ей в ответ хоть что-нибудь в этом духе, ни у кого не останется никаких сомнений! А он писал! И хотя он не мог припомнить выражений, которые употреблял, и из ее писем было совершенно ясно, как близки они были, близки беспредельно. Он швырнул письма в огонь и смотрел, как они скручивались и горели — все вместе и каждое в отдельности.

В ящике хранились и другие вещи — счета, чековая книжка, паспорт, дневник. Открыв его наугад, Пауэлл

¹ В Англии судья, оглашая смертный приговор, надевает черную шапочку.

прочел несколько записей и потом стал читать их подряд, одну за другой.

«А-а! Нет, этого никто не должен видеть».

Он схватил перо и перечеркнул, а потом и вовсе вымарал некоторые записи, имевшие точные даты, и затем в состоянии какой-то прострации написал на первой странице:

«Уничтожено мной.

Эрик Пауэлл. 5-е апреля».

- Что там еще? Паспорт? Он тоже может что-то сказать? Паспорт давал ему возможность путешествовать по всей Британской империи, если бы он того пожелал, или даже поехать в любую страну Европы, включая Советскую Россию и Турцию. Вот его подпись и фотография, он взглянул на нее, и ему показалось, что он выглядит на ней как с похмелья — уши огромные, а нос, его ровный, прямой нос, напоминает скорее луковицу или гриб. Нет, ничего подозрительного в паспорте не было, а впрочем, они ведь встретились как-то в Париже, заранее условясь об этом. Тут стоят даты его пребывания в Париже, и ее паспорт (в этом можно не сомневаться) подтвердит ее присутствие там в то же самое время! Он сунул паспорт в карман, потом схватил дневник, швырнул его в огонь, и склонясь над камином, ворошил бумаги до тех пор, пока от дневника не осталось и следа.

Поднявшись с тяжелым вздохом, он пристально взглянул в зеркало в резной оправе над камином и усмехнулся самому себе. Собственно, ничего особенно неприятного не было в его отражении, но предубежденный глаз видит только то, что он хочет увидеть. И как Пауэлл ни хмурил брови, ни щурил глаза и ни кривил рот, его испытующий взгляд не становился ни проницательней, ни точней.

«Гм! Хотел бы я знать, из-за чего весь этот переполох? Но, боже милостивый, как у меня разболелись зубы!» Он стал раскачивать пальцами один из зубов, за которыми так тщательно ухаживал, и ясно почувствовал, что зуб шатается. «Боже мой, боже ты мой! Что же все-таки делать?» Ему хотелось думать, что он полюбил Елену высокой и чистой любовью, вследствие присущей ему душевной тонкости, и, уж во

всяком случае, им руководили мотивы более высокие, чем те, что связываются обычно с подобными вещами. Впрочем, убедить себя в этом теперь была задача не из легких, хотя, когда он пытался воскресить в памяти обстоятельства их сближения, ему становилось ясно, что инициатором всего была она, именно она, так что его вины, в сущности, тут не было — сам бы он на это никогда не решился!

Часы пробили шесть, и он позвонил горничной.

— Приходил кто-нибудь, пока я был в отъезде? Спрашивали меня?

— Нет, сэр.

— Ничего не случилось?

— Ваши удочки принесли.

— Ну да! Я же посылая их в ремонт.

— Кто-то звонил вам по телефону сегодня утром. Они не назвали. Спросили только, когда вы будете дома.

— Вот как? А-а... И что вы сказали?

— Сказала, что вы будете приблизительно в это время, и они собирались позвонить еще.

— Ах, вот как! А-а... — Он вспомнил, что телефон у них влизу, в холле, и разговор могут подслушать. Этого нельзя допустить!

«Но я могу выйти, — размышлял он. — Это идея! Я так и сделаю — уйду немедленно, и тогда мне не надо будет отвечать на звонок». А вслух он сказал:

— Какая жалость! Мне придется отлучиться из дому. И к тому же у меня так разболелись зубы! Если позвонят еще, скажите, что я очень, очень сожалею. И пусть напишут. Да, и спросите, кто звонит, хорошо? Экая досада!

И он принялся ходить по комнате с озабоченным видом, пока горничная не ушла. А когда дверь за ней закрылась, опять опустился в кресло. Новая тревожная мысль пришла ему в голову. Ведь этот Бэннон — старый охотник, отличный стрелок, и, чего доброго, еще вздумает его пристрелить! Или вдруг решит вызвать на дуэль? Есть люди — это, конечно, абсурд, совершенный абсурд, — но есть такие люди, ходят они среди нас, — им сам черт не страшен, если им взбредет в голову кого-нибудь убить. Но он и за сорок мистеров Бэннонов не даст втянуть себя в подобную историю. «Ну уж, нет, милостивый государь, — скажет он. —

Вы, без сомнения, понаторели в таких делах, можно сказать, вскормлены на них, а мне надо было бороться за существование, и у меня просто не было времени для интелетов, ядов или чего-нибудь еще из арсенала вашей фантазии, и поэтому я почтительнейше отклоняю ваше любезное предложение». Гм! Нет, нет и нет! О не-ет! Елена? Ну что ж, он готов отказаться и от Елены, он пойдет на это — ради нее самой, разумеется. Если только она не преувеличивает? Ну конечно же, она преувеличивает, конечно, ибо, когда имеешь дело с женщинами, нельзя забывать, что в них есть что-то от детей, даже если это жены богатых и жирных мужчин.

Но что же все-таки случилось? Что делает теперь эта бедняжка? Раз уж так случилось, он не оставит ее до самой смерти — и пусть убираются ко всем чертям люди вроде Бэннопа. Но ведь никуда не денешься и от того, что он во власти Бэннопа и тот может запросто его погубить, и не то что из-за Елены, а просто потому, что он босс.

— А-а, — застонал Пауэлл, — здорово же он меня подцепил.

Перепуганный, он вскочил с кресла, в котором сидел скорчившись, и запахал по комнате, рассеянно перебирая безделушки, и вся его высокая, внушительная фигура так нелепо контрастировала со слабостью его духа.

«Чем все-таки Бэннон превосходит меня? И отчего он так неизменно удачлив и денег у него полным-полно? Сумел бы он преодолеть все сложности службы у Ханнафордов и подняться на вершину лестницы, как это сделал я?»

Такова уж твердая уверенность каждого клерка, надзирателя, мастера или управляющего, уверенность, присущая, впрочем, не только этому классу, — безграничная уверенность в том, что его дело не по плечу никому другому — ни в отношении ума, точности, опыта, навыков, искусности, ни в смысле произволения свыше — и выполнить его с той же степенью совершенства не в состоянии никто другой. В самовлюбленности, как и во многом другом, существуют градации, но есть десятки тысяч людей, чья вера в бога куда менее пылка, чем их уверенность, что никто другой не может исполнить их долг хотя бы наполовину так же хорошо, как они сами. А сколько людей готовы расплыться в

сочувственной улыбке при виде беспилия соперника выполнить их работу, хотя бы на четверть так же уснешно, как это делают они. Вот с подобной верой в душе и бредет день за днем каждый клерк к своему столу и к своей судьбе. Эрик Пауэлл не был просто заурядным клерком; он возвысился, высоко взлетел, и оттого эта вера у него была пезыблемой. А все эти Бэнноны, эти жирные надсмотрщики, были словно скользкие зубья на зубчатом колесе мпра. Даже если их разглагольствованпя и трескучие фразы произносились ежедневно с минимумом усилий и эффекта, их власть смещать, попирать, уничтожать оставалась непрерываемой, и держалась эта власть богатством. У Бэннопа не было ничего, кроме денег, по денег у него было слишком много, денег не по заслугам, не по разуму, не по особой одаренности, и вместе с тем не на шутку много. Слишком много — это плохо, однако слишком мало — еще хуже.

Стук в дверь испугал его. На пороге стояла горничная:

— Вас хочет видеть какая-то дама.

Это была она, Елена; она нагнулась, чтобы поставить саквояж.

— А-а, добрый день! — воскликнул он с наигранной любезностью, устремляясь вперед и протягивая руку. А когда горничная удалилась и дверь за ней захлопнулась, прошептал тихо и встревоженно:

— О моя бедняжка...

Елена оглянулась, желая убедиться, что они остались одни.

— Поделуй меня, — сказала она. Но Пауэлл точно не слышал.

Тогда, слегка растерявшись, она принялась стаскивать перчатки.

— Все кончено, ты понимаешь?

— О! Что значит кончено? — сказал он натянуто. — Этого не может быть.

Елена пожала плечами и с недовольной гримасой раздраженно швырнула перчатки на стол. Пауэлл схватил ее за руки и подтолкнул к креслу.

— Садись сюда! И рассказывай, рассказывай все!

— Письма... Я как дура хранила их...

— Я тебе говорю, — прервал он, — не делай этого. Твои я уничтожил.

— А твою я предпочитала хранить, — сказала Елена холодно. — И он их обнаружил. По-видимому, кое о чем он догадывался раньше и устроил за нами слежку. А теперь он украл мои письма — твои письма. Я готова убить его. Проклятый старый козел!

Для очарованного взгляда Пауэлла среди прочих жемчужин она все еще была лебедем — с плавной, величавой грацией изящной ее фигуры, с матовой бледностью кожи и безупречными чертами лица, которое вспыхивало порой такой любовью. И оттого, несмотря на весь его страх и несчастливый поворот событий, ее отчаяние ранило Пауэлла в самое сердце.

— Ну полно, полно, моя дорогая! — И, присев на подлокотник кресла, он, как будто ничего не произошло, снял с нее шляпку, плотно сидевшую на голове. Елена, в темном меховом жакете, откинувшись на спинку кресла, провела ладонью по его щеке, и на прекрасных ее пальцах сверкнуло с полдюжины колец, а от ее груди повеяло едва уловимым запахом фиалок. Она поцеловала его, словно желая рассеять свои сомнения, и сказала с печальной улыбкой:

— Все кончено, говорю я тебе.

— Кончено?

— Ты знаешь, я ушла от него.

— Ушла? Где же он?

— Я должна была это сделать. Он в городе. Я решила — приеду сюда, и мы поговорим с тобой обо всем.

— Обо всем? Ну конечно, Лена, ты поступила правильно!

— Правда? — спросила она. — Ты уверен? А ты можешь меня приютить?

— Приютить тебя?! Ты имеешь в виду — здесь? О-о, по я, право, не знаю... Боюсь, что нет... Мне в самом деле очень жаль, но я... Пожалуй, я не в силах этого сделать...

Елена взглянула на него насмешливо:

— Не в силах?

Он ответил не сразу, он находился в состоянии какого-то психического шока. Все это было так стремительно... И как это похоже на нее, такую порывистую и пылкую, стоит ей воодушевиться. Боже мой, но это же безумие!

— Ты хочешь остаться здесь, у меня? Нет, Елена, об этом не может быть и речи! Моя хозяйка — ужасная поборница благопристойности. Можно не сомневаться, что она уж не упустит случая обронить такой прозрачный намек относительно твоего пребывания здесь со мной насдине, бьюсь об заклад!

— Твоя хозяйка? Ха! Но ты же можешь снять другую квартиру!

— Да... Но на это потребуется время, как ты сама понимаешь. А я прожил тут не один год, и она относится ко мне как к родному сыну.

— Бедняжка! — сказала Елена спокойно. — Что же ты предлагаешь? Что нам делать?

Пауэлл не имел об этом ни малейшего представления.

— А что ты намерена делать? — спросил он.

— Я же говорила тебе, — сказала Елена.

— Да... Но... Тебе не следует так поступать... Во всяком случае, не так поспешно. Люди не поймут этого, Лена... А может быть, тебе вернутся к нему?

— Нет! — сказала она резко.

— Всего на несколько дней, Лена.

Она взглянула на него так испытующе, что он весь сжался.

— Дай мне сигарету, — попросила она.

Он протянул ей сигарету и дал прикурить.

— Эрик, дорогой, — проговорила она, несколько раз порывисто затянувшись. — Я попала в беду.

— Как и я, — вставил он.

— О, я понимаю, и ты тоже. Но если говорить начистоту, он выгнал меня. Не я ушла от него, а он выгнал меня. Буквально на улицу, — пояснила она. — Ты понимаешь теперь?

Понимашь! Он почувствовал вдруг отчаянное головокружение. Пауэлл знал, что голова его по-прежнему сидит на его собственной шее, но у него было такое ощущение, что она вдруг завертелась с неистовством волчка и, неподвижная, гудела, как будто рядом ревел водопад. Он услышал, как из его собственных уст вырвалось, словно слабое эхо:

— Выгнал тебя!

— В три шен.

— Но... Уж этого он не мог сделать, Елена.

— Как видишь — сделал. Я здесь.

— Боже мой! — взорвался Пауэлл. — Какая скотина! Экая постыдная низость! Да что он думает — кто ж ты такая?

Елена усмехнулась.

— Он думает, что я... ну... то, что я есть.

— Подлец! Негодяй! Когда это случилось?

— Три дня назад. Я ушла сразу.

— Конечно. Само собой разумеется. Но...

— Не валяй дурака, Эрик. Ты думаешь, я хотела?.. Я же сказала тебе — он меня выгнал.

— Три дня назад! Что же ты делала все это время?

— Думала, — ответила она.

— Думала? А говорил он что-нибудь обо мне?

Елену, казалось, утомил этот допрос, и она отвела глаза от его напряженного взгляда.

— Говорил, — сказала она отворачиваясь. Она рассеянно взглянула в окно, на бюро, на стоявшего на каминной полке белого фарфорового слона с подушечкой для булавок и добавила: — О да, и немало!

Эрик подождал, но она, по-видимому, не собиралась продолжать, и он нетерпеливо спросил:

— Да, так что же?

— Ну, не все ли равно — всего и не вспомнишь. — И закончила с шутливым вздохом: — Сказал, дойдет черед и до тебя, мой милый Эрик.

— О боже! — простонал он, мрачно уставившись на ковер. — Я погиб. Это совершенно ясно!

— Вздор! Ты пока еще жив, дружок. И, если уж на то пошло, ты великолепно можешь подыскать себе другую работу.

— Ну нет, если он меня вышвырнет. Да, уж он, черт побери, позаботится обо всем этом, поверь мне. Ты должно быть, и не представляешь, в какой я зависимости от него, с его связями во всей стране. Он может нажать на такие тайные пружины, против которых я бессилен. Вот увидишь!

— Нет, если только ты не позволишь ему.

— Не позволишь ему! Да ведь я целиком в его руках, вот какое у меня положение. Да он мокрого места от меня не оставит. Нет, я пропал!

Она села напротив него и сказала сдержанно:

— Ты не прав. Послушай меня. Мы оба слишком много знаем о нем. Он, конечно, хотел бы это сделать, я понимаю. Но то, что он хотел бы сделать, не имеет значения. Надо еще учитывать его положение. Ты пойми: человек он очень честолюбивый, собирается выставить свою кандидатуру в парламент и всякое такое. Вот по этой-то причине он просто не осмелится затеять скандал такого рода.

— Но, милая моя девочка, разве это остановит его? Ведь право на его стороне, не так ли? Он разведется с тобой, и тогда мы сможем пожениться...

— Ты в самом деле хотел бы этого, милый? — спросила она, вся просняв. — В самом деле?

— О, но ты же знаешь! — сказал он с пафосом. — Ты все знаешь. Бог мой, я еще потягаюсь с ним. Я смогу тогда что-то для тебя сделать. Ведь мы будто созданы друг для друга... п... Моя мечта, ты это знаешь, чтобы ты была моей, только моей. Елена, милая, когда ты будешь свободна...

— Он не согласится на развод, — поспешно перебила она, снова откинувшись в кресле.

— Но он должен будет!

— Да, но он не согласится. Он не может. Это поставило бы под угрозу всю его карьеру, а она для него куда важней, чем я или кто-нибудь еще. Он просто хочет избавиться от меня без лишнего шума, и мы можем держать его в руках, если правильно разыграем наши карты.

— Наши карты?

— До чего же ты глуп, Эрик! Пойми, он может меня выгнать, что он и сделал. Но он миллионер, и я могу заставить его — да, да, да, заставить его — сделать так, как я хочу, иначе я сама потащу его в суд.

— О нет, Елена. Нет, я не могу позволить тебе поступить подобным образом.

— Почему?

— Нет, нет, ни в коем случае. Мне это совсем не нравится. И думать не хочу ни о чем подобном. Это просто отвратительно!

— Ну не будь же ты дураком, Эрик! Чего ты боишься?

— Я ничего не боюсь.

— Ты трусишь, Эрик, — сказала она резко. — Ты боишься не за меня — за себя. Разве это не так? (О боже мой, боже мой!

— Нет, я не трушу! Так или иначе, развод он тебе даст. Как ты не понимаешь — именно в этом выход. Фактически для нас теперь это единственный выход.

Елена повернулась и прислонилась щекой к холодной коже кресла; золотистые волосы рассыпались легкими волнами.

— У нас нет и этого выхода, Эрик. Я не его жена. Он женат на другой.

Пауэля будто примерз к подлокотнику ее кресла, на котором сидел, а она между тем продолжала:

— Вот как мы сможем заставить его быть благо-разумным — я имею в виду, конечно, по отношению к тебе. А если он попытается чем-нибудь тебе навредить — вот увидишь, я ему покажу!

— Не... его... жена...

Она вздохнула:

— Боюсь, что нет, мой милый.

— Хорошо, тогда мы можем пожениться, не зате-вая этого гнусного дела с судом.

— Это исключено! Это тебя бы устроило, но, видишь ли, я тоже замужем — за другим человеком. Потому-то я и имею такую власть над Бэнноном — на тот случай, если он пойдет слишком далеко.

— Но ты жила с ним до самого последнего вре-мени?

— Да, во грехе. Разве ты не знал?

— Ты никогда не говорила мне об этом.

— Ну, это такая вещь, которую не стоит особенно афишировать, не так ли? Он живет отдельно от жены, я от мужа. Фактически же Бэннон выплачивает ему определенное содержание, чтобы он не поднимал шума, а миссис Бэннон делает вид, что ничего не знает о нас. У нее вилла где-то в Италии.

— Но... Елена! Ведь он ужасен!

— Не более, чем мой муж. Но зато Бэннон богат.

— И оттого ты в него влюбилась!

— А ты можешь представить себе какую-нибудь другую причину?

— Причипа! Любая другая! — Отталкивающая лживость этой женщины потрясла его, а ее изощренные попытки превратить его в своего партнера в чем-то очень похожем на шантаж вдребезги разбили былую нежность к ней; он буквально задыхался. Ничего более ужасного он и представить себе не мог.

— Угораздило же тебя попасть в такую беду, — усмехнулся он. — Ничего не скажешь.

— Я думаю, беда моя — это ты, Эрнк.

— Но я ведь ничего не знал — тебе-то это хорошо известно. Ничего не знал о другой стороне дела. Ты сама это отлично знаешь. Ты так меня обманула! Я был в совершенном неведении, и незачем теперь пытаться впутать меня во что-то еще.

— Обманула тебя? Какой вздор!

Елена резко поднялась с кресла и, остановившись перед резной каменной доской, привычным и точным движением отбросила назад свои волнистые волосы. — Если уж на то пошло, — сказала она, надевая шляпку, — ты и представить себе не можешь, как ты обманул меня.

— О чем ты говоришь? — горячо запротестовал он. — Конечно нет. Никогда я тебя не обманывал.

Казалось, она была настроена даже несколько шуточно.

— Нет, нет. Он даже представить себе этого не может. Бедняга! Как, шляпка сидит хорошо?

— Да, — пробормотал несчастный.

— Как видишь, — сказала она, натягивая перчатки, — тебе печего бояться Бэнпопа, ни в малейшей степени, можешь быть совершенно спокоен на этот счет. Ты был мил со мной до поры до времени, ты это знаешь, но все это становится тяжело для тебя — слишком тяжело, не правда ли? А я так устала от той жизни, какой жила до сих пор, я стыжусь ее, мне хочется стать другой; пусть одиночество, лишения, опасности — все, что угодно, только не эта отталкивающая низость; мне хочется вырваться из того, что меня окружает теперь. У меня была какая-то надежда, что это возможно с тобой, хотя я и боялась, что ты не решишься, — о, я догадывалась, я знала, но я должна была попытаться. Мужчины не любят беспокойства, не правда ли? И, кажется, перевелись на свете герои! Они уже

не решаются встать лицом к лицу даже с малейшей опасностью. Я тоже далеко не героиня, но я не могу жить так дальше. Я хочу все изменить, начать все сызнова, и я это сделаю! Но уже не с тобой, Эрик, не с тобой.

Она направилась к двери.

— Ты видишь, — сказала она с усмешкой, — я даже захватила с собой чемодан.

Пауэлл постарался взять себя в руки.

— Послушай... э-э... куда же ты?

— Назад, в Лондон, — ответила она.

— Да куда же ты, на почь глядя? Тут полно гостиниц.

Не поворачиваясь к нему, держась за ручку двери, она переспросила:

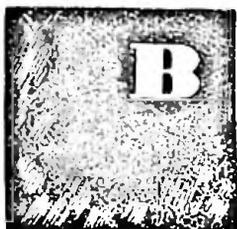
— Гостиниц? И ты пойдешь со мной?

— Я не это имел в виду. Нет, — проговорил он в смятении. — Здесь это было бы небезопасно. Меня тут слишком хорошо знают.

Елена бросила на него последний иронический взгляд.

— О, ты человек известный, — язвительно сказала она удаляясь.

КОММЕНТАРИЙ ДИКСЕНА



последнее время жизнь стала порядком тяготить меня, часы и дни кажутся нестерпимо длинными. Невольно с грустью думаешь, что все мы стареем с каждым днем, вернее сказать — с каждой ночью, потому что, по всей видимости, это самое старение происходит именно по ночам. Утром,

когда я встаю, я выгляжу совсем не так, как мне бы хотелось, и не так, как я выглядел прежде, одним словом — мое отражение в зеркале мне теперь совсем не нравится. И чувствую я себя не так, как прежде и как бы мне хотелось чувствовать себя снова. Взять хотя бы бритье: ну какого черта, спрашивается, мне еще бриться, в мои-то годы; я уже стар, мне шестьдесят пять лет, я больше не пекусь о своей внешности — и все-таки изо дня в день упорно соскабливаю щетину, которой природа украсила мой подбородок полвека назад. А к чему это? Я не хочу раздражать себя такими скучными мелочами, я хочу сохранять покойствие духа, хочу наслаждаться тем безмятежным существованием, которое без устали воспевают и прославляют поэты и сказочники: ленивой праздностью щедрого лета, почками, напоенными музыкой, когда в небе сияет огромная луна, а мысли о бедности погружаются в спасительный омут забвения, — словом, райской жизнью, хотя это рай грез, рай, в котором все мгновенно, тленно и брэнно, кроме нашего существования. И все-таки мне этого мало. Уверяю вас, мало, хотя я убежден, что стоит добавить сюда что-нибудь еще, и сразу станет слишком много. Во всяком случае, для меня. Конечно, это звучит вопиющим парадоксом — зачем, спрашивается, противиться неотвратимой перемене, когда впереди вечное однообразие? Ну что же, на это трудно ответить; знаю только, что не хочу уходить в мир грез, они слишком быстро припедаются. Видит бог, недалеко тот час, когда мне придется уйти навсегда, в полном смысле слова. Для этого достаточно

и доли мгновения, то есть такой малости, что прямо кошкам на смех, хотя мой собственный кот, нахальное рыжее животное, еще никогда ни пад чем не смеялся. Быть может, он связан узами родства (не представляю, впрочем, какими) с котом какого-нибудь епископа — чрезвычайно набожным и довольно чопорным. А может быть, мой кот просто выжидает случая: ведь сейчас, я убежден, ему жвется совсем неплохо. Уход от житейских волнений не приносит счастья, и умиротворение не сулит радости, если оно приходит с пустыми руками. Представьте себе, что какой-нибудь обыкновенный человек вроде меня вступает на исходе лета в густой ароматный лес, и вдруг листья вокруг него начинают осыпаться — и вот уже остаются одни голые сучья, и лесного аромата как не бывало.

Из всех живых существ кошки — самые счастливые, а моему коту так просто нельзя не позавидовать. Вот он дремлет, греясь на солнышке, в самом покойном кресле, лапы у него поджаты, хвост загнут крючком, и кажется он забавно простодушным. Но это впечатление обманчиво, он совсем не глуп, хотя, конечно, Гектором его тоже не назовешь. В дни своей кошачьей юности он не рвался на волю, как это свойственно пылким представителям его неукротимой породы, а обосновался у меня, рассчитывая, что я возьму на себя роль провидения, и хотя он ничем ни разу не проявил благодарности, ни разу не удостоил меня признательным мяуканьем, я с тех пор служу ему верой и правдой. Сейчас он наслаждается полной свободой. Всех диких животных, будь то птица, зверь или рыба, подстерегают опасности, изобретенные коварным человеком, — ружья, капканы, сети, не говоря уже о более трагических бедствиях — о бурях и наводнениях; их домашних собратьев — свиней, овец, коров — заботливо растят на убой. Но кошкам ничего подобного не грозит, ни одно другое существо не пользуется такой неприкосновенностью, безопасностью и таким неограниченным суверенитетом, как мой рыжий разбойник. Он сам себе господин. Ничто не может удержать его дома, если ему чужно уйти, и ничто не заставит его уйти, если он расположен оставаться дома. Поскольку он не обременяет себя заботами о пропитании, обязанность обеспечивать его едой, питьем и всевозможными

удобствами целиком лежит на мне. Мое единственное преимущество перед ним состоит в том, что я в десять раз старше его и имею некоторое представление о земном притяжении, Гладстоне и эмансипации католиков. Единственное преимущество! А какой мне в этом толк? Что касается всего прочего... взять хотя бы сферу кошачьих страстей: в этом отношении (видит бог!) он пользуется полной свободой, однако довелось ли кому-нибудь наблюдать, чтобы, ухаживая, он был деликатен или прибегал к нежным уговорам? И в то время как ему обязаны своим появлением на свет бесчисленные котята, паводняющие нашу округу, он расточает свои милости, нимало не заботясь о приличиях и не чувствуя никакой ответственности.

Однако чего ради я все время болтаю о своем коте? Неужели жизнь и в самом деле стала мне в тягость? Да нет же, разумеется, нет, жизнь несколько не тяготит меня, все это вздор. А может быть, это я надоед жизни? Или просто надоед сам себе? Еще бы, ведь теперь меня не обременяют никакие заботы, а когда-то, и не так давно, их, смею вас заверить, было великое множество. И представьте себе, они как-то воодушевляли меня и словно придавали мне бодрости. Мне нравилось, да, да, положительно нравилось, теперь я это понимаю, когда на меня грозили обрушиться неприятности, когда приходилось напрягать волю, собираться с силами, решаться на что-то, когда нужно было пробивать себе дорогу, — в этом я находил самого себя.

«Если решение принято, ничто не заставит меня отступить от него, — так говорит Эли Портер. — Ничто. Мне, — говорит он, — наплевать на все. Пусть хоть двадцать тысяч чертей видят, что я делаю, и слышат, что я говорю, что бы я там ни говорил. И пусть десять тысяч из них орут «нет!» и пробуют меня остановить, что бы я там ни делал, — я все равно докажу, что я прав, — говорит Эли Портер, — я не посмотрю и на десять тысяч чертей. И не потерплю, чтобы мне мешали».

Упрямый парень, не правда ли, да ведь он и скуп так же, как и упрям. Ему ничего не стоит увезти тайком навоз с соседнего поля, чтобы удобрить им свой собственный сад. Может быть, настоящим воровством это и не назовешь, но вряд ли такой поступок можно

объяснить чем-нибудь иным, кроме как врожденной низостью. Но об Элп я расскажу вам потом; а сейчас он становится для меня такой же помехой, какой до этого был кот, и может испортить весь рассказ. Что же касается выражения моей духовной сущности, то теперь я вижу, что впереди мне ждать нечего, все одно и то же, путь пройден, прошлого не вернешь, а рай обернулся пустыней. Вот я и мечусь в своем маленьком мирке, придумывая, что же теперь делать, хотя сделать уже ничего нельзя, и в конце концов начинаю подумывать, а не пойти ли к парикмахеру и не попросить ли его перерезать мне горло.

Но вместо этого я спускаюсь в деревню, бреду без определенной цели, просто прогуливаюсь или, может быть, отдыхаю от своего кота. Одним концом улица упирается в полуразрушенную церковь, другим — в полуразрушенный деревянный мост над речкой, которая не отличается ни глубиной, ни величавостью. Вечерет, сгущаются унылые серые сумерки, низко-низко над заросшим кувшиниками прудом пропосытятся ласточки, клочки бумаги трепещут под ветром и летят вдоль дороги; похоже, будет дождь. Во дворе фермы женщина печально вертит ручку маслобойки, шепчется с кем-то паренек в дверях дома, два котенка затеяли возню перед входом на почту, а в кузнице меняют подковы чалой кобыле учителя. Я иду через кладбище и паляюсь на священника, который, сняв пиджак, сгребает в кучу сорную траву у двери церкви. Он пристает ко мне со своей болтовней о грехе и позоре, сокрытых под одной из могильных плит, и кудахчет от непонятного веселья; но вот падают первые капли дождя, и, захватив грабли, он скрывается в церкви. Я следую за ним.

— Скажите мне, — провозглашает он грозно (господь наградил его голосом великой звучности, и он любит увещевать). — Скажите, скажите же мне! Извольте немедленно сказать, где мне раздобыть пятьсот фунтов стерлингов? — Он впивается в меня взглядом. — Немедленно! — повторяет он.

Я не могу дать ему никаких указаний на этот счет; да и зачем ему опять деньги? Что снова произошло? Дело в том, что он вечно клянчит и требует денег, вечно во все вмешивается, силясь что-то улучшить,

а когда все хорошо, он и тут навязывает свою помощь — песносный человек.

— Взгляните на меня, — стонет он, — посмотрите, до чего я дошел: выпалываю сорняк на кладбище! Разве это порядок? Разве так должен я служить пастве? — И, пронически фыркнув, продолжает: — Какой-то злой рок, везде сплошной беспорядок, все идет вверх дном.

— Так что же случилось на этот раз? — спрашиваю я.

— Да разве вы сами не видите? Поглядите на церковь. Она вот-вот обвалится, кляпуть вам, вот-вот. А крыша на моем доме? На нее тошно смотреть. Я стыжусь ее! А все остальное — лампы, орган, печь!

— Н-да, действительно неприятно! — говорю я.

— Чертовски неприятно, смею вас уверить. А что делать, я спрашиваю. Где искать отзывчивость, щедрость, братскую поддержку? С таким же успехом блоха может взывать к сфинксу. Видит небо, у меня скоро лопнет терпение, взаправду лопнет. Пропади все пропадом! Кончится тем, что я сойду с ума.

Я разрешаю себе заметить:

— Ну, сэр, будем надеяться, что небо всем нам ниспошлет утешение.

И, поспешно покинув разбушевавшегося священника, продолжаю свой путь, не обращая внимания на дождь.

Тут я снова вспоминаю Эли Портера; ведь замечание насчет неба — это его слова, его любимое изречение. Я знаю Эли чуть ли не всю жизнь и все-таки люблю его. Ни я ему ничем не обязан, ни он мне, и все же он застрял в моей жизни, как кость в горле. И так с самого детства. Просто какой-то злой рок. Мы с ним почти ровесники, но даже мальчиками не дружили, а потом не виделись годами, однако в конце концов неизбежно встречались снова. Теперь он величает меня «сосед», — он принадлежит к тем людям, чьи манеры и привычки всегда раздражают окружающих, во всяком случае меня. «Сосед то, сосед это», — я не люблю его, но я слишком долго его терпел и в конце концов уверовал, что и сам-то я ничуть не лучше; не то чтобы я был такой же, нет, — боже сохрани! — по просто столь же достоин жалости. Ведь он сам не сознавал своего

счастья, имея такую жену, как Лия, такую милую и добрую, что ему и король мог бы позавидовать, не то что я. Она умерла молодой и оставила ему трех дочерей, всех трех — и Люси, и Филиду, и... Фрэнсис. Я знаю, что иначе и быть не могло, что был единственный разумный выход, по душа моя возмущалась тем, что ему безраздельно принадлежит та, на кого я не мог заявить свои права. Он прекрасно знал еще до смерти жены, что я люблю Лию, но его, глупца, это не огорчало и не тревожило, и когда однажды я поведал ему о своей жгучей зависти, он только заметил:

— Что ж, сосед, зато вас господь наградил богатством и благородной душой.

С досады на его глупость я стиснул зубы.

— Много мне от этого радости, — сказал я.

— Эх, сосед, сосед, чем же вы недовольны? — спросил он.

— Вы все равно не поймете, — ответил я.

Я как будто и сам верил, что он не поймет, хотя, намекая я ему, в чем дело, он бы прекрасно все понял. Но он ничего не подозревал, и его замечание насчет благородства моей души подействовало на меня как удар кнута. Я спрашивал себя: «Как излечиться от любви?». И сам отвечал: «Только любовью. Но зачем лечиться от нее?». Так было до смерти Лии.

Он ничего не подозревал тогда, не подозревает и теперь, но я бы дорого дал, чтобы узнать, что он на самом деле думал обо мне в те давно прошедшие дни; сейчас-то мне все равно: ведь Лия умерла, а девочка... ну, да об этом я расскажу после. Уже тогда я был очень самоуверенным, бог знает почему, и никогда ни в чем не сомневался, хотя в то время понятия не имел о множестве вещей, да и по сию пору в них не разбираюсь, но ни за что не признался бы в этом Эли Портеру. Он любит распространяться о благородстве моей души, однако ему ничего не стоит заявить: «Я вовсе не хочу обижать вас, Диксен, но, по правде говоря, вы порядочный осел!». При этом он имеет в виду женщин. Нельзя не признать, что женская любовь — таинственное сокровище, ее трудно завоевать, но завоеванная, она не приносит счастья. Быть может, никакой

тайны тут и нет, а все обыденно и скучно, как дважды два — четыре.

Неповторимая прелесть Лии, казавшаяся мне лучезарной, нисколько не трогала Портера. Во всяком случае, мне так представлялось, хотя на заре их совместной жизни он не мог не любить ее. Как же случилось, что это чувство потеряло для него всю свежесть и заглохло? При жизни Лии он часто говорил, причем даже мне:

— Я, как и всякий нормальный человек, испытываю весьма естественное желание стукнуть жену по голове, когда меня что-нибудь в ней раздражает, ну, скажем, если она не выпускает из рук газету, когда мне самому хочется ее прочесть, и без конца изучает объ- явления. Но у меня хватает христианского милосердия сдержаться. Я просто вырываю у нее газету — и все!

Одни лишь разговоры о том, что он мог бы ее ударить, хоть и говорилось все это в шутку, пробуждали во мне ненависть к Эли, однако Лие они, казалось, доставляли какое-то странное удовольствие, и она смеялась над моим возмущением, утверждая, что у него и в мыслях нет ничего подобного. Она вообще никогда на него не жаловалась, я не слышал от нее ни одного упрека, ни даже вздоха по его адресу, хотя он обращался с ней довольно бесцеремонно, забывая об элементарной деликатности.

— Если бог когда-нибудь пришлет ко мне ангела, — любил он говорить, — надеюсь, это будет особа женского пола.

В этих словах чувствовалась скабрёзность, ставшая для него характерной, хотя я должен признать, что никаких других оснований подозревать его в предосудительном поведении он не давал. Лия всегда уверяла, что я ошибаюсь в нем, что я вообще его не понимаю. Для меня же умение одного человека понять другого и степень этого понимания всегда были непостижимой тайной.

Не прошло и года после смерти моей бедной Лии, как Эли женился на довольно вульгарной женщине из Уэльса, с которой он наслаждался радостями брачной жизни около десяти лет, а затем снова остался вдовцом. Могу поклясться, что вторую жену он любил куда больше, чем первую.

Однако я снова забегаю вперед в моем рассказе о себе, о Лии, о ее младшей дочери Фрэнсис; Эли Портер опять вторгается в мои воспоминания и нарушает замысел, созревший у меня в голове. В то время он меня не интересовал, и о нем и не думал, для меня существовала одна Лия, которую я любил. Пока она жила среди нас, я слепо и беззаветно поклонялся ей, а она всегда оставалась спокойной, дружелюбной, благоразумной и, мило улыбаясь, подшучивала надо мной, охлаждая мое поэтическое обожание. До чего же оно было нелепо, как я теперь погляжу! А после ее смерти я продолжал любить нечто, представлявшееся мне ею, хотя ее самой, конечно, уже не существовало. Что же это было такое, столь упорно продолжавшее жить? И что случилось с моим впустую растраченным чувством? Но полно, действительно ли оно было растрчено впустую? Быть может, как-нибудь незримые пчелы собрали его и будут хранить в вечном, никогда не иссякающем улье? Та, кого я люблю, умерла, а образ, который я бережно посил в своем сердце, был явно лишь моим собственным романтическим вымыслом, проявлением моего эгоизма, а совсем не ею, — ведь ее уже не было в живых. Однако если это все, что осталось, то что же было прежде? Неужели буйное цветение любви только самообман? Неужели самообманом была и моя любовь?

Возможно, все возможно, и все же... ради этого чувства я готов был пожертвовать жизнью. Да полно, так ли это? Одно я знаю твердо: Фрэнсис — моя дочь, наша дочь, а не Эли Портера, о чем он не догадывается и никогда не узнает. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Поздно казнить себя из-за события, которое произошло четверть века назад; я не стану надевать на себя власяницу или посыпать голову пеплом раскаяния, хотя бы потому, что я никогда в этом не раскаивался. Никому не даю увидеть собственный призрак, хотя каждого преследует какая-нибудь мрачная тень, какая-то тайна, о которой он молчит, но которая гложет его всю жизнь, да, всю жизнь. Такая тайна есть и у меня. И все же, когда я обращаю свой взор к зеркалу, я вижу только слабого, стареющего человека, которому не дано увидеть свой призрак. Быть может, впоследствии, если я и сохраню способность видеть, я

не увижу даже этого, не увижу ничего, кроме вечной пустоты. А сейчас я не испытываю никаких сожалений, никаких угрызений совести и с огорчением вспоминаю только одно: появление ребенка отняло у меня любовь Лии. Не то чтобы она лишила меня своей привязанности, вовсе нет, по я отошел на задний план; всю нежность она перенесла на ребенка. Лия обожала девочку. Элп в ней души не чаял, а меня распырало от тайной гордости, — так она была прелестна. Фрэнсис была воспитательным ребенком, и первые годы я мог следить за игрой и проказами моей крошки, мог наблюдать, как она улыбается, прислушивался к ее лепету. Я покупал ей подарки, я готов был осыпать ее всевозможными сокровищами, если бы Лия постоянно не напоминала мне, что это может навести на подозрения. И, несмотря на все, девочка так и не привязалась ко мне, она не любила меня, ни разу не улыбнулась мне, хмурилась и надувалась в ответ на все мои нежности и явно предпочитала Элп. Я очень страдал от этого, так как простодушно считал, будто ребенок, любой ребенок, инстинктивно и неизбежно тянется к своему настоящему отцу, подобно ягненку, который безошибочно находит мать в огромном стаде. Но с моей дочерью так не случилось, и заставить ее любить меня, а не этого неостесанного человека, было выше моих сил. А ведь у Элп Портера не было образования, в том смысле, в каком понимает это слово любой культурный человек. И тогда я был уверен, что он мне не ровня. Я и сейчас уверен в этом, но мне редко выпадает случай показать свое превосходство. Иногда он высказывает неожиданные и смелые суждения о вещах, в которых я считал себя знатоком, а его невеждой. У него живой ум, хорошо подвешенный язык и поверхностные сведения обо всем понемногу; к тому же он умеет разобраться в любой машине, лечит животных, мастерит рамки для картин, разводит сады и может организовать концерт, а я в таких делах решительно ничего не смыслю. Как-то раз во время спора я попытался поразить его ссылкой на Геракла и его двенадцать подвигов.

— Подумаешь, Геркулес, — заявил он. — По мне, так во всех его затеях нет ничего особенного. Взять хотя бы эту историю про олея с медными ногами, или про кабана в снегу, или про то, как он распугал птиц

трещоткой. Ясно, ему все было пипочем; ведь как-никак он самому громовержцу приходился сыном.

Ну подумайте, опять я разболтался об этом человеке! Почему он не идет у меня из головы? Это смешно и глупо и даже, пожалуй, немного загадочно. Если верить в оккультные науки, то вполне можно приписать это навязчивой провнии судьбы, по воле которой то, что когда-то казалось таким незначительным, теперь по-немому мстит за себя. Если только верпеть. Пожалуй-ста, не вообразите, будто я и вправду верю. Конечно, я вспоминаю об Эли Портере только из-за Лии. К тому же я так давно знаю его, больше пятидесяти лет, а теперь мы с ним соседи, и я вижу его почти ежедневно.

Когда девочке исполнилось три года, Лия умерла от какой-то пустяковой, но запущенной болезни, и я был совершенно потрясен этой неожиданной утратой. Невозможно описать горе по памяти — ведь это было так давно; знаю только, что отчаяние, словно удав, сжимало меня в своих тисках. Я не решился присутствовать на похоронах из страха обнаружить свои чувства перед несчастным вдовцом. К моей искренней скорби примешивалось еще сознание полного крушения надежд, ведь в глубине души я всегда смутно верил, что придет время, когда я смогу открыто заявить свои права па ребенка и Лия соединится со мной. Таково было папе молчаливое соглашение, не подписанное, не скрепленное клятвами и даже не обсуждаемое, так как Лия настолько привыкла к своему союзу с Эли, что единственная возможность осуществить это соглашение была связана с его смертью, а об этом нельзя было не только думать, но даже украдкой мечтать. Две другие дочери — Люси и Флида — в то время еще учились в школе, и Эли пришлось дать в газету объявление, что он ищет экономку для присмотра за детьми. Вот так и появилась в его доме эта женщина из Уэльса по имени Олуэп — фамилии не помню. Мне она не понравилась: хозяйничая, она тряслась над каждой копейкой, а детей держала в строгости; меня возмущало ее грубое обращение с моей маленькой Фрэнсис, но я не решался вмешиваться; ведь, в конце концов, она, безусловно, желала девочкам добра, хотя и была неласкова с ними, и нельзя отрицать, что при ней дети стали более послушными, были чисто и опрятно одеты и всегда сыты,

пока Эли не вздумал жеппться на пей. И тогда — увы! — деспотическая строгость новой миссис Портер очень быстро смягчилась, п девочки, в особенности Фрэнсис, оказались предоставленными самим себе. Воспользовавшись предложом, что Фрэнсис придется мне крестницей, я как можно тактичнее попросил разрешения устроить девочку в пансион для детей благородных родителей, чтобы снять с Олуэн заботы по ее воспитанию. Но ни Олуэп, ни Эли не пожелали п слушать об этом. Они души не чаяли в Фрэнсисе, а она в них. (Мое дитя, которое я не мог назвать своим, не вызвав скандала!) Следаемый отцовской тревогой, а может быть, ревностью, я стал подумывать о том, чтобы похитить ее у них, но не представлял себе, как это осуществить, да к тому же Фрэнсис совсем не благоволила ко мне. Должен признаться, что, доведенный до отчаяния, которое я уже не мог скрыть, я решил бежать от них всех, сдал свой дом п уехал с твердым намерением никогда не возвращаться в эти места. Я отсутствовал лет семь или восемь, п за это время мы с Эли обменялись лишь двумя-тремя письмами, в которых сообщали друг другу всякие новости. Он ни разу не упомянул о детях, п поэтому, когда я однажды случайно заехал к ним, я был поражен тем, как выросли п изменились Люси п Филпда, по разумению моему не было предела, когда я увидел, каким прелестным цветком стала моя крошка, несмотря на грубое окружение, в котором она росла. Грациозная, застенчивая, с ясными глазами, скромная п привлекательная в общении, десятилетняя Фрэнсис обладала тем, что я мог определить только поэтически, как «нежное благоухание человеческой души». Что я хочу этим сказать? Какой смысл вкладывал я тогда в эти слова? Я уверен, что в то время только так п можно было охарактеризовать ее. А теперь? Да, ответить на это трудно. Я был в таком восторге от Фрэнсис, что решил немедленно возвратиться домой п снова поселиться рядом с Портерами, чтобы быть поближе к моей дочери п охранять ее, мою малеспкую фею, мою заветную тайну, пусть даже моя отцовская гордость останется никому не известной. Сказано — сделано. Со дня смерти Липи прошло уже двадцать лет. Маятник времени качается взад п вперед п дарит нам то радость, то горе. За двадцать долгих, однообразных

лет многое изменилось, а мы и не замечаем этого. Двадцать лет прошло, а я все еще здесь. Уехала Фрэнсис, уехали обе старшие девочки, каждая из них ушла своим путем, и мы с Эли остались одни.

Я вернулся с единственным желанием — завоевать привязанность Фрэнсис, клянусь, ничего другого я не хотел. У меня и в мыслях не было открывать свою тайну или посягать на честное имя семьи Портеров. Только Фрэнсис, только она одна занимала все мои мысли. Но, боже мой, это маленькое создание питало ко мне неприязнь. Она боялась меня, словно я был страшной обезьяной, поразившей ее детское воображение. Без всякой видимой причины она избегала и чуждалась меня. Так же, как тогда, она избегала меня потом, избегает и сейчас! И эта враждебность проявлялась только по отношению ко мне. Я никак не мог побороть ее предубеждения; правда, когда она выросла, она, кажется, стала считать меня каким-то чуждым существом, над которым можно только смеяться. Сделавшись взрослой женщиной, она стала относиться ко мне иначе, и тогда, тогда мне суждено было узнать, что я ей неприятен! Такова моя жалкая участь! Есть страдания, которые невозможно описать, они слишком мучительны. Что происходит с вами, когда вас допрашивает зубная боль? Вы не можете говорить, а от мыслей боль тоже не проходит. Какой позор! Быть неприятным ей, своей дочери!

Две старшие девочки — Люси и Филпда — относились ко мне дружелюбно; сам Эли всегда встречал меня радушно; даже Олуэн нельзя было упрекнуть в недостаточном гостеприимстве. Года через два или три после моего возвращения Олуэн умерла. Люси и Филпда уже не пуждались в помощи экономки, и отец их не стал никого приглашать. Фрэнсис еще год или около того ходила в школу, а когда она ее окончила, ее сестры уже были привлекательными молодыми женщинами. Она и сама утратила милую прелесть детства и очаровательную невинность цветка. Временами я томился желанием открыть ей тайну ее рождения, но не мог решиться на этот шаг, видя ее чуждую привязанность к Эли, полное пренебрежение ко мне и совершенное равнодушие к памяти слишком рано умершей матери.

Сначала вышла замуж Флпда, за пей Люсп; вместо со своим мужьям они разъехались в разные стороны, а Фрэнсис осталась приглядывать за отцом. Флпда вышла замуж за фермера п, как говорится, хорошо устроилась; не менее счастливой была и Люсп, которой достался в мужья агент по продаже зерна. Обе они, можно сказать, сделали выгодные партни, но они и заслуживали всего самого лучшего, ведь обо были такие славные, искренние девушки. Фрэнсис недолго сопротивилась романтическим призывам жизни, она вышла замуж за парикмахера по имени Людо, человека, с моей точки зрения, черствого и легкомысленного, который, вместо того чтобы, как положено порядочным людям, подумать о прибавлении семейства, уже через год после свадьбы открыл новый салон, где Фрэнсис завивала, укладывала, красила и палила волосы. Я никогда не стану обвинять судьбу и проклинать силы, по воле которых происходят подобные вещи; когда я думаю об этом, я теряю терпение. И меня приводит в неистовство Элп, который, распространяясь о своих домашних невзгодах, внушает себе, что его бессердечно бросили собственные дочери. Все представительницы прекрасного пола покинули его: обе жены умерли, дочери разъехались! Действительно, он стареет, это верно, по таков удел всех. Он моложе меня, по быстро опускается, превращаясь в какого-то старого брюзгу. Послушайте, например, что произошло па днях.

Мы отирались в Траскомбс, куда иногда ходим вместе. Траскомбс — это большой лес, где Элп собирает хворост для растопки. Лес этот в нескольких милях от нас, и у Элп нет никакой надобности забираться так далеко, он ни копейки па этом не выгадывает, но Элп хлебом не корми — дай пожввиться чем-пбудь бесплатным: грибами, ягодами, хворостом и тому подобным. А уж что до того, чтобы настрелять тайком дичп... Но об этом мне, пожалуй, действительно не стоит говорить.

На полдороге, пройдя с миле, не больше, мы остановились у живоой пзгородп.

— Не будем спешить, Диксен, — сказал он отдуваясь.

— Что, неужели устали? — удивился я.

— Да нет, просто я уже не так молод, как прежде.

— Вы хотите сказать, что состарился, — ответил я, — по все равно вы моложе меня на пару лет, не так ли?

— Нет во мне прежних сил, Диксен, — заявил он, — хорошо вам, холостякам, живете себе, не зная неприятностей и хлопот. И разочарований тоже.

И он принялся жаловаться на Люси, Филиду и Фрэнсис, называя всех трех бессердечными, неблагодарными девками: особенно он негодовал на Фрэнсис, выскочившую замуж, когда ей и восемнадцати не было. Эли тогда слышать об этом не хотел. «Нет! — бушевал и неистовствовал он. — Нет и нет! Я этого не позволю, не потерплю, вот тебе мое последнее слово!». И бедной Фрэнсис пришлось бежать из дому.

Стоял день, какие не часто выдаются в марте. Можно было ходить в одном пиджаке. Время от времени налетал случайный ветерок, тянуло холодом, грустно шелестела живая изгородь, и выглянувший из-под земли первый дерзкий подснежник вздрагивал, словно напуганный собственным одиночеством.

Сердясь на покинувших его дочерей, которым надлежало быть его опорой в старости, Эли находил в них сходство с дочерьми безумного короля Лира, с той лишь разницей, что ни одна из них не была Корделлей. Однако он только впускал себе, что так думает; на самом же деле он тайне мечтал, что кто-нибудь из них окажется маленькой Нелли или даже терпеливой Гризельдой, но они не оправдали его чепелых надежд, и это — что ж, разве не так? — это было предательством.

— Кого же они предали? — возразил я. — Таков закон природы. Вы сами были неправы, и не их вам следует винить.

— А кого же, черт возьми? — вскипел он.

— Самого себя, — ответил я. И я объяснил ему, что ни дочери, ни человеческая природа здесь ни при чем и время вовсе не строило злых шуток над Эли Портером; просто его ввел в заблуждение слащавые истории, которые он почерпнул из книг. Конечно, действительность не менее обманлива, чем эта лживая страпня, но его-то — мне было неприятно говорить ему об этом — одурачили именно романы и бесчестно подвела поэзия.

— «Подвела!» — проворчал он. — Говорю вам, Диксен, меня надули.

— Не знаю, может быть, — ответил я, — во всяком случае, такой ценой приходится расплачиваться.

— За что? — воскликнул он.

— Да за то, что вы именуете культурой, — сказал я, — за честь, долг, красоту, самопожертвование и тому подобное. По временам с ними можно заключить честную сделку, но чаще всего приходится идти на риск.

— Что же, по-вашему, Диксен, все эти прекрасные чувства — один обман?

— Может статься, — ответил я, — хотя мне, право, очень жаль.

Мы прошли через большой зеленый луг, посреди которого росла громадная липа, и направились к ветхому деревянному мосту, перекинутому через речку. Дальше тянулась унылая пустынная равнина, на которой никогда ничего не росло, а за ней начинался Траскомбс. На мосту мы снова остановились.

— Вот вы, например, Диксен, — заговорил он опять, — вам всегда везло: ни семьи, ни забот, ни огорчений. Всевышний хранил вас от всех этих неприятностей.

— Но, Элп, ведь у вас теперь тоже нет семьи, в чем же разница?

— Да ведь поэтому я и горюю, — ответил он, — разве не ясно? У меня должна быть семья, я имею право на то, чтобы кто-то из них остался со мной, так ведь? Я же их вырастил. В мои годы тяжело быть одиноким. Я заботился о них с самого детства, разве не так? И мне это нравилось, заметьте; а они меня бросили. Какой же смысл быть мужем и отцом? Я большой человек, Диксен, у меня душа болит.

Его вечные жалобы так надоели мне, что хотя отчасти мне и была понятна его досада, я не мог ему сочувствовать.

Я сказал ему.

— Портер, — сказал я, — я ведь куда более одинок, чем вы, — намекнул на горести и разочарования, невдомые ему. — У меня никогда не было семьи, — продолжал я, — и я не знал этой радости.

— Хороша радость, — насмешливо фыркнул он, приняв мои слова за злую шутку. — Ну уж нет, Дик-

сеп, это вы оставьте. Ведь вы богаты, верно? Сколько людей вам завидуют, ни забот, ни хлопот...

— Ни любви, — добавил я.

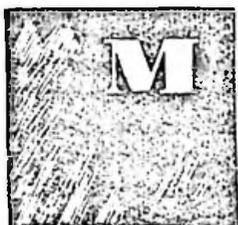
— Но зато вам не довелось пережить такой жестокий удар, Диксен, — проворчал он, — а меня все покинул, и никто не захотел со мной остаться, чтобы скрасить мне жизнь или хотя бы просто из милосердия. Что вы на это скажете? Да разве вы что-нибудь понимаете в таких вещах, вы, холостяк? Раз вы этого не пережили, вам этого не понять. Нельзя потерять то, чего никогда не имел.

Внезапно мое сердце словно захлестнуло горячей волной. Я готов был убить его за эту насмешку, грубую и несправедливую, хотя откуда же ему было знать, насколько она несправедлива. Разве мог он знать, как томилось мое сердце по любви, на которую у меня не было ни прав, ни надежд? Я мог бы сбросить его с моста в воду, но какой от этого толк? Речка была такой безобидной, такой узкой и мелкой, с мягким илистым дном. Убить его? Но я не так уж силен, да и нечем было его ударить. О, как ужасно, как унижительно это бессилпе, которое словно глумится над одряхлевшим телом и делает человека беспомощным! Кто, как не Эли, лишил меня моей дочери? Фрэнсис была моей дочерью, но никогда не принадлежала мне. Могут сказать, что я сам не решился заявить о своих правах на нее ни тогда, когда она была еще ребенком, ни потом, когда она стала взрослой, но я молчал не из боязни. Я, конечно, не герой, но не страх удерживал меня от признания: я выполнял завет Лии, ее предсмертная просьба наложила на меня печать молчания, я был исполнителем ее воли. Стоило ли сейчас ворошить эту старую историю? Вспыхнувшее было во мне безумие улеглось, и ярость сменилась привычной апатией. В далеком прошлом я свалил дурака да так дураком и остался, но не такой уж я феноменальный глупец, чтобы в сердцах на собственную глупость выцарапать себе глаза.

Поэтому я ничего не сделал Эли. Ничего ему не сказал. Мы пошли в лес и принялись собирать хворост. Эли сложил вязанку, тщательно обкрутил ее толстой веревкой и взвалил на плечо. И мы побрели домой.

И, верно, все так и будет тянуться и тянуться без конца.

ПЕСНЬ В МИРЕ ТИШИНЫ



ой двоюродный брат Джок влюбился в глухую девушку: «Влюбился и женился...», словом, сваял дурака; знаю, не пристало так говорить про свою родню, некрасиво это, к тому же девушка была славная и оба они мне нравились, но она и впрямь была глуха — глуха, как стенка. Палп хоть из пупки у нее над ухом, она и внимания не обратит, ничего не услышит, ни единого звука. Но обернулось все в конце концов не так уж плохо, потому что по всем другим статьям Элинор Парсонс была здоровая и красивая девушка, не глухонемая, а только глухая, и говорила как все, без всякого затруднения, ну, а с ней приходилось пзъясняться па пальцах или она читала по губам, а нет — так можно было написать ей па клочке бумаги или па грифельной доске, которую она всегда держала под рукой. И глухой Элинор была не от рождения, а приключилось с ней это несчастье пз-за того, что она еще ребенком, свалплась почти что с верха мельницы, куда вздумала карабкаться по крутой лестнице. Целых два дня пролежала она без памяти, сотрясение у нее было и все, что бывает при этом, и скоро стало ясно, что маленькой Элинор никогда в жизни не услышать больше ни звука — в этой жизни, во всяком случае.

Когда Элинор выросла и уже не ходила в школу, она стала работать в парниках своего отца, он был мельник и огородник, выращивал овощи на продажу — горы огурцов, помидоров, винограда и всего прочего. Ну и чудак же был этот старик Дэн Парсонс! Бывало, ни за что не станет сеять в пятницу и обязательно дождется, пока луна не начнет прибывать. Так вот, мой двоюродный брат Джок подрядился водить грузовик отца Элинор и стал приударять за ней; что па него нашло, не знаю, но ухаживал он за ней по всем правилам, а иначе и быть не могло. Хотя просто ума не приложу, как подступиться к девушке, которая ни слова не слы-

шит, даже если ей орать во все горло! Ну, к примеру, спросит она что-нибудь, не предназначенное для чужих ушей. Надо же ей ответить! Или наоборот — надо ее спросить что-нибудь потихоньку. Не станешь же выписывать все это на доске, а потом дожидаться, пока она разберет. Все ты да ты, а что она думает, никак не угадаешь, да, большая это помеха, какое уж удовольствие от такого ухаживания! Как бы то ни было, в тропцу повенчали их, и стала она миссис Джок Ратленд, и по сей день так зовется. Джок, мой двоюродный брат, вот уже несколько лет как умер, и Элинор теперь вдова, одиноко ей живется на свете, дети повзростали и разлетелась в разные стороны, а ей под пятьдесят, старость подошла. Но в свое время была она ладная и пригожая женщина, и на нее приятно было смотреть, к тому же, сами понимаете, тихая, как мышка. Редко кому слово скажет, разве что мужу, хотя, надо полагать, было у нее, как и нам с вами, о чем поразмыслить и поговорить.

Обвенчались они в тропцу и поселились в уютном домишке, который принадлежал Дэну Парсонсу и стоял на его земле на отшибе; вам, наверное, не раз случалось проходить мимо, там еще палисадник перед крыльцом и три больших дерева: каштан, развеспстая старая яблоня и высокая сосна; на сосне дощечка приколочена, а на ней имя — Брпскет. А кто такой этот Брпскет, никому не известно: должно быть, давным-давно покинул этот мир, а имя свое на дереве оставил, оно и сейчас там.

К Михайлову дню стала Элинор заметно округляться — да, все шло как положено, и под вторяк на масляной неделе родила она близнецов, парочку, двух разом, двух девочек. Элинор надышаться на них не могла, насмеется, бывало, и наплачется, пяпча своих ненаглядных крошек. Господи, представить себе нельзя, как она носилась с ними, чуть с ума не сошла от радости! Джок, мой двоюродный брат, тоже, конечно, был доволен, но головы не терял, всем известно, мужчины не так чувствительны, а вот счастье этой женщины никакими словами не опишешь, уж поверьте, что никакими. Одно только омрачало ее, и она с грустью говорила, что не дано ей слышать их голоса, их лепет.

Примерно с год Элинор блаженствовала, так и сваяла вся — понятное дело, дети. Мужа она и близко к ним не подпускала, никому не давала к ним прикоснуться и не сводила с них глаз; бедняге Джоку даже не разрешалось брать их на руки, позабавиться с ними. До рождения они были неотделимы от нее, теперь же она от них была неотделима и не допускала мысли, что может быть иначе; Элинор не призвала ничего вмешательства, никому не доверяла, не могла да и не желала никого слушать. Джек был прямо-таки потрясен всем этим, он видел, что он позабыт, что его оставили, что от него отмахнулись как от чужого, словно его дело сторона. Самы знаете — такое бывает, и уж тогда бесполезно бороться с материнским инстинктом, мужчине с этим не совладать, он тут беспсилен, это все равно, что с голыми руками идти на льва. Поймите меня правильно, я не хочу сказать ничего обидного для Элинор, с ней произошло то, что может случиться и с лучшей из женщин, к тому же Элинор из-за своей глухоты была как стеной отгорожена от тысяч вещей, которые обычно доставляют людям радость. Рождением близнецов было для нее величайшим событием, они стали смыслом всей ее жизни; и она хотела бы век прижимать их к своему сердцу. Но сосунки подрастают, и вот они уже готовы пренебречь самым любящим сердцем ради какого-нибудь жалкого огрызка на полу, к которому они могут подползти. Лишь только близнецы Элинор выучились кое-как ходить и лепетать, маленькие негодницы стали рваться из объятий матери к отцу: их сбивало с толку, что мать не слышит, когда они зовут ее или просят о чем-нибудь. Элинор предоставлялась купать, кормить, ласкать их — это было для нее и насущной потребностью и величайшей радостью — а потом они все равно карабкались на колени к отцу, потому что только он мог слышать, понимать, забавлять их и откликаться на их слова. Близнецы, как и полагается детям, любили мать, но у отца они находили то, что не могла дать им она. Как Элинор ни послалась с ними, как днем и ночью ни пеклась о них, как ни боготворила их, Бэрл и Пегги — близнецы, открыто и явно боготворили Джока, своего отца, который прямо и явно при этом. И так они росли, похожие друг на друга, точно две капли воды, принимая мать и ее любовь

как должное, но отдавая всю свою нежность, внимание и восхищение дорогому папочке. Кто бы удивился или поставил Элино́р в упрек, вздумай она ревновать, но она не ревновала. Когда близнецы пошли в школу, на первых порах им правилось, выводя каракули на грифельной доске, делиться с ней школьными новостями, но эта игра скоро наскучила им, стала их утомлять — насколько же проще было подбежать к отцу и выболтать ему все! Они вырывались из цепких материнских объятий, протпвились им, пренебрегали ими, не давались Элино́р в руки, и бедняжка смотрела вслед своим детям и недоумевала, чем она это заслужила.

Бэрл и Пегги водой было не разлить, они, как и все близнецы, были неразлучны. Соглашаясь с чем-нибудь, они в один голос громко и весело кричали «да!», если же сомневались в чем-нибудь, то сомневались обе, и, обменявшись взглядом, прежде чем ответить, одновременно говорили твердо: «Нет». Они были на одно лицо, одинаково одевались, одинаково вели себя, словом, невозможно было отличить одну от другой, но командовала всем Бэрл — у близнецов всегда кто-нибудь один командует. Шло время, и связь девочек с их глухой матерью стала ослабевать; две маленькие егозы подросли и, не выдерживая трудности общения с Элино́р, раздражаясь ее непонятливостью, совсем отбились от рук. А она любила их все так же, ничуть не меньше, ни на йоту.

К десяти годам они были во всем под стать одна другой — голубоглазые, светловолосые, румяные, к тому же премилые певуньи. И Элино́р, никогда не слышавшая их голосов, неутешно горевала, что ни разу их шепот или хотя бы малейший звук не проник сквозь глухую стену, отгораживающую ее от детей. Как ни печально, но именно их пение нарушило мир в семье. У близнецов были нежные, тоненькие голоса, и пели они, как два небесных ангелочка, не дуэты, а просто песни на два голоса. Пегги вторила Бэрл, и Джек очень гордился их пением, как, впрочем, и всем, что они делали. Из вечера в вечер, когда Джек возвращался домой, Элино́р видела, как он помогает им учить уроки или дурачится с ними и смеется над их болтовней. Кое-что он записывал для Элино́р на грифельной доске, и накажи меня бог, если она не переписывала все это

В свою большую ученпческую тетрадь, чтобы потом читать и перечитывать. Ни единое слово не прошло через ее слух, ни единое, все вокруг нее было безмолвно, безмолвно, безмолвно! Она постоянно терзалась от того, что не знает и никогда не узнает их голосов, ее вечно угнетала невозможность слышать их пение, смеяться над шутками, которыми они перебрасывались с отцом. То, что она ни разу не слышала голоса Джока, беспокоило ее меньше; она понимала, что отец так близок детям, как ей, отгороженной от них глухотой, никогда не быть; понимала она и то, что они все больше отходят от нее и становятся все равнодушнее. До чего же они были милы, эти две козявочки, когда стояли, вытянувшись в струнку, заложив руки за спину и устремив широко открытые глаза к потолку; и с какой серьезностью они пели: «Купите устрицы, живые устрицы!», а тем временем обожающий их отец сидел, обмирая от восхищения. И Элинор видела, правда, не слыша этого, как он с неистовым восторгом бьет в ладоши.

Она была одержима желанием услышать их, это были ее дети, она родила и вскормила их, и эта одержимость усиливалась под действием удивительных снов — в них обретшая слух Элинор слышала голоса, похожие на чистейшие голоса оперных певиц, разливающиеся в песне, и хотя она не могла разобрать ни слова, тем не менее твердо знала, что это голоса ее детей, что божественная музыка льется из их уст. Эти-то сны и вселили в нее слепую веру, что, несмотря на долгие годы глухоты, слух вернется к ней. С неистовой убежденностью она рассказывала Джоку о своих снах и о своих надеждах. Джек недоверчиво покачивал головой: упущено время, говорил он, уже слишком поздно. Но Элинор выходила из себя — видит бог, если она слышит музыку во сне, то что же может помешать ей услышать ее и наяву, стоит только понять причину глухоты и устранить ее, а в этом нет ничего невозможного. Отчего же не попытаться? Вскоре эта мысль овладела Элинор всецело: если только ее возможно вылечить, значит, она во что бы то ни стало вылечится. Джек и Дэн серьезно обсуждали это. Они не представляли себе, как отзывается в Элинор ее собственный голос, когда она говорит, как же, если она сама себя не слышит, отражается он в ее голове? Допосится ли до

пее каким-нибудь образом звук или это все равно, что бить кулаками по воздуху?

— Если она ничего не слышит паяву, откуда же ей знать, что во сне она что-то слышит? Должно быть, это просто ее фантазия.

Когда они объясняли ей это, она ожесточенно падала на них.

— Но я знаю! Знаю! Не могу сказать вам откуда, но знаю! Понимаете — знаю!

Они пожмали плечами и жестами старались ее успокоить.

— Откуда ты можешь знать это?

Она резко обрывала их:

— Но я же не родилась глухой!

Это было резонно. И тем не менее Джек писал ей на грифельной доске: «Может статься, тебе это мерещится». Она внимательно следила за его рукой, выводящей эти слова, а потом крпчала, задыхаясь от возмущения:

— Что ж, по-твоему, я рехнулась? Ты это хочешь сказать?

Ее увещевали, а она настойчиво твердила им в ответ:

— Все равно будет по-моему, я своего добьюсь!

В поисках средства, которое могло бы произвести чудо, Элипор случайно нашла на способ излечения своей глухоты — это была операция, тонкая и сложная, требующая большого искусства, с сомнительным исходом и к тому же опасная для жизни. Элипор могла умереть тут же на месте — но при серьезной операции всегда есть такой риск. Или она могла начисто лишиться рассудка — одно другого не лучше! Не говоря уже о том, что никакой уверенности в успехе не было, Элипор могла остаться глухой и вдобавок навеки искалеченной: ведь в ход пойдут молоток и долото, а чья же голова выдержит это! Вероятнее всего было, что слух восстановится лишь на небольшой срок, а потом она снова оглохнет; врачи на большее и не рассчитывали, они надеялись лишь на время вырвать ее из безнадежного безмолвия, в которое она потом снова погрузится. Вот что ожидало Элипор, если она хотела хотя бы на миг услышать голоса своих детей, но она не испугалась, не дрогнула, потому что при всем том

какой-то шанс у нее все же был, и она не желала его упускать. На мой взгляд в этом есть здравый смысл и логика, хотя, прямо скажем, я не силен по части пауков и не терплю излишнего мудрствования.

Джок отказался от попытки убедить или, вернее, разубедить Элинора, и Дэн тоже оставил ее в покое, когда понял, что она решилась и теперь будет твердо стоять на своем. Хоть и очень они за нее беспокоились, но сдались, видя, как храбро она смотрит в лицо тому, что ей предстоит.

— Услышать, как они разговаривают и поют, для меня все равно что живой в рай попасть.

Ни Джок, ни Дэн даже вообразить не могли, как много это значило для Элинора.

Не спрашивайте меня, что это была за операция, я не сумею вам этого объяснить, я и сам не знаю; но Элинора выдержала ее без единого стопа, впрочем, ее, конечно, усыпили. После операции, полная надежды, она долгие недели пролежала в больнице, не зная, как все обернется — ведь голова и уши у нее были туго забинтованы; но вот настал день, когда ей показалось, что наконец она что-то слышит, что-то вроде скрипа или птичьего попискивания — не болес, и откуда-то издалека, но все же слышит! Потом это повторилось, звук не исчез, перешел в невнятный шум, в котором она ничего не могла разобрать; шум приближался, становился все явственнее, нарастал и нарастал, пока наконец весь мир не обрушился на нее грохочущей волной, ошеломляющей и сводящей с ума.

Что тут было! Радость этой женщины никакими словами не передать! Сначала любой звук казался ей непереносимым, приходилось его приглушать, чтобы она могла его выдержать, потому что после двадцати с лишним лет безмолвия каждое слово было для нее как стрельба над ухом. Тем не менее — и удивляться тут не приходится — Элинора так не терпелась услышать голоса детей, что она хотела сейчас же подняться и отправиться домой, но ей не разрешили, она была еще слишком слаба. Элинора молила, чтобы детей пустили к ней, но они были далеко, на время болезни матери их пристроили у родни Джoka. Джок и старый Дэн постоянно навещали ее и вполголоса беседовали с ней; шум и разговоры людей вокруг так болезненно били

по ее первам п слишком чувствительному слуху, словно она стояла посреди арены, на которую в конце представления обрушивается грохот ревущего цирка. Окружающие замечали, что Элипор пугается, вздрагивает и ежится при каждом звуке, как будто он причиняет ей боль, — так оно на самом деле и было.

Джок п ее отец скоро поняли, что совершили огромную ошибку, позволив ей подвергнуть себя такому испытанию, хотя, впрочем, они не в силах были этому помешать; пропня судьбы заключалась в том, что теперь, когда к Элипор вернулся слух, звуки причиняли ей такую боль, которую она не в силах была выдержать. Вот к чему все это привело! Должно быть, лучшим выходом для нее был возврат к прежнему, к полному безмолвию. Пока что муж п жена переговаривались почти шепотом, по врачи обещали им, что через неделю-другую все придет в порядок. Что ж, так оно, пожалуй, и вышло, потому что Элипор подчинялась врачам п была терпелива, п когда пришло ей время возвращаться домой, она слышала все так же ясно п отчетливо, как Джок, хотя разговоры чуть подлиннее до того утомляли ее п вызывали такую нестерпимую головную боль, что приходилось их ограничивать.

И вот Элипор опять дома. Джок снова был в отличном настроении. А там скоро п близнецы пожаловали, но их приезд дал ей лишь крупицу того, чего она ждала с таким терпением п не принес ей счастья, о котором она мечтала. Вы, вероятно, думаете, что близнецы безмерно обрадовались? Нет, они безмерно растерялись, сторонились матери п были холодны к ней. Пожалуй, они боялись Элипор — это ее-то дети! Вырванная из оков глухоты, она так изменилась, что казалась им совсем чужой, как если бы то была мачеха. Если раньше дети не проявляли к своей глухой матери особой нежностью, чего, наверное, пельзя было п ожидать от них, то теперь они перестали ее любить, начисто перестали, хотя п слушались беспрекословно.

И в этом была не только их вина. В жизни случается такое, чего п не выдумаешь. Вам, как п всякому, кто никогда не терял слуха, должно быть, это покажется диким п нелепым, по излечение Элипор привело к печальному следствию: голоса ее детей казались ей грубыми, резали слух, терзали ее; хуже того: когда

Элино́р впервые услышала, как близнецы поют о призраке, который катит тачку по широким мостовым и по улочкам кривым, это оказалось для нее таким адским мучением, что, защищаясь, она зажала уши и вскрикнула. Бедняжки близнецы были отчаянно напуганы, они выплакали себе все глаза, пока Элино́р не утешила их, сделав вид, как и подобает любящей матери, что ее уши и голову неожиданно пронзила острая боль. Это объяснение на какое-то время успокоило детей, но Элино́р не находила себе места: ведь в годы своей глухоты она слышала лишь ангельские голоса, и опи-то таинственным образом убедили ее, внушили ей веру, дали силы претерпеть пытку операции — и вот все оказалось обманом. Устремляясь в своем воображении к небесам, она упала на землю, как бы очнувшись на сырой и холодной станции подземки. Немало можно было бы сказать об этом, исписать стопы бумаги, но при таком обороте дела что проку толковать? Остается лишь руками развести, один звук разрушил рай. И все только потому, что она обрела слух — ну, как тут было не сойти с ума? Кто мог бы предвидеть такой исход? Кто мог бы в это поверить? Одна лишь Элино́р, но она прятала от себя правду, слишком она была поражена, пристыжена и потрясена; слишком униженным для нее было бы признать эту правду, которая камнем лежала у нее на сердце и отравляла ей душу. То, о чем она так мечтала, оказалось хриплым дребезжаньем, которое убило в ней всякую нежность, и близнецы тут были ни при чем. Даже наедине с собой она не винила их, это была не их вина.

Элино́р стала чуждаться детей, сделалась раздражительной и нетерпимой. Когда муж пытался обнять ее, она холодно отстранялась, что было так на нее непохоже; любовь ушла из ее сердца, глаза уже не светились улыбкой и застенчивой нежностью. Джек был безутешен. Он умолял ее, сердился, бранился, но все было напрасно. Прямо скажем, не сладко ему пришлось.

— Элли, голубушка, что на тебя нашло? За что ты сердиться на меня? Я в чем-нибудь провинился? Или у тебя голова болит?

— Да, — отвечала Элино́р.

— Скажи, ты больше не любишь нас?

— Нет, — говорила она.

— Но почему? — спрашивал он.

Задавать такой вопрос женщинам — пустая трата времени и величайшая глупость, они никогда не знают почему. И, однако, при такой щекотливой ситуации, какой мужчина его не задаст? Элинор отвечала, как испокон веков отвечают все женщины: «Не знаю, не спрашивай. Ничего я тебе не могу сказать. Не приставай ко мне!». Но какой уважающий себя мужчина, а тем более муж, на этом успокоится? Рассчитывать на это не приходится. Любовь легко упустить, но трудно удержать. Джек подступался к Элинор и так и эдак, досажая своими «отчего» да «почему».

— Что я тебе сделал? Я разве что-нибудь сделал? Да что я тебе, в конце концов, сделал? Я ведь всегда был так добр к тебе.

Она ничего не отвечала.

— Ты просто бесишься ни с того ни с сего.

Элинор по-прежнему хранила молчание и, отвернувшись, упорно смотрела в камин.

— Ты что ж, не любишь меня больше?

Она молчала, как каменная.

— Выходит, что не любишь? — настаивал Джек. Не получая ответа, он выходил из себя. — Отвечай, что у тебя, язык отнялся? Ведь ты слышишь теперь, почему же ты не отвечаешь?

Тут уж она не выдерживала и приходила в неистовство.

— Оставь меня! Оставь меня в покое! Мне этого не вынести! Убирайся!

Потрясенный этим взрывом ярости, Джек смягчался.

— Да не злился ты, Элли, перестань.

Но потом он всю неделю ходил с хмурым видом и целых семь дней не смотрел в ее сторону, а бродил словно в воду опущенный, бормоча себе под нос: «Ей до меня дела нет. Теперь ей до меня нет дела. И это после того, что я был так добр к ней! Она не переносит меня. Что с ней стряслось?».

Джек не знал, но она-то, увы, не могла не знать, что погружается снова в пучину глухоты, как это и предвидели врачи; и ей страшно было думать об этом — словно живой присутствовать на собственных похоронах. Она гнала от себя эти мысли, но боли усиливались, и Элинор в самом деле дошла до полного отчаяния:

«Что это за проклятие надо мной!». С ее головой происходило что-то неладное, она даже на какое-то время помрачилась в рассудке. Ненадолго и не полностью, но этого было достаточно, чтобы получить передышку и перенестись снова в те счастливые времена, когда она прижимала к груди своих ненаглядных младенцев. Элинор всегда была доброй, приветливой женщиной, покорной женой и любящей матерью, теперь же, после своего помрачения, она резко изменилась, и ее бесчувственность удручала всю семью. Постепенно слух ее слабел, боли усиливались. Она помирилась с Джоком, и он, полный сочувствия и раскаяния, клялся, что все еще поправимо, что врачи вылечат ее, и на этот раз по-настоящему, что он готов выложить тысячу фунтов, сорок тысяч, если на то пошло!

Он-то был полон решимости, мужества, веры — а Элинор? Элинор при одном упоминании о новой операции приходила в такой неистовый ужас, что Джек опасался, как бы она не наложила на себя руки.

— Хорошо, хорошо, Элли! — говорил Джек. Раз уж она так настроена, не станет он с ней спорить, он на все согласен.

— Никогда! — кричала она. — Никогда и ни за что!

— Как ты скажешь, Элли, так оно и будет.

Ничего другого от нее нельзя было добиться, и ничем нельзя было предотвратить надвигающуюся глухоту. Элинор уже слышала то, что так страстно жаждала услышать, и была обманута в своих ожиданиях. Джек остался в полном неведении, Элинор ничего не сказала ему, а кто же, кроме нее, мог ему это объяснить? Временное помрачение прошло, но прежний ясный ум к ней уже не вернулся. И все кончилось тем, что как-то утром она проснулась совсем глухой; мучительные боли прошли, но и слух покинул ее.

Потом все вошло в свою колею. Опять Элинор была глуха, как стенка, опять приветлива со всеми, покорная жена и любящая мать, гордая своими детьми; чудесный сон был позабыт, от него в памяти остались только ангельские голоса. И теперь уже ничто на свете не может поколебать ее святой веры в то, что эти дивные голоса были голосами ее детей.

ЛЮДИ В РОЗОВОЙ КОФТОЧКЕ



расскажу вам о том, что случилось как-то раз с одним начинающим живописцем. Был он молод годами и еще моложе как художник; звали его, скажем, Джек Смит — многие годы прошли с тех пор, и никаких свидетельств об этом не сохранилось. Как-то раз Джек Смит поехал на этюды и чуть было не заплутался в горах. Несмотря на то, что день был бесподобный, а молодой художник — отличный ходок, он вспотел и сильно запыхался, потому что горы спереди и горы сзади, горы сверху и горы сбоку, пусть даже и самые прекрасные, все же не что иное, как громадящиеся глыбы неприветливой, дикой природы, со скалами и болотами в их обширном лоне и железом в глубине их педр, и если смотришь на них слишком долго, всегда кажется, что видишь декорации, которые они несут на своих плечах. Но когда юношу обступило все это великолепие, он пришел в восторг и постарался собрать как можно больше зарисовок в своем альбоме — кое-что здесь, кое-что там; набрасывал он и пирамидальные горные пики, покоящиеся на гигантском алтаре земли и освященные небесами, а спустившись вниз, до самого основания гор, — старинные стены, сложенные из обломков скал и тянущиеся на многие мили вдоль выгонов и пастбищ. Не мог он равнодушно пройти мимо рябины, чьи плоды были похожи на вишни, такой одинокой и такой грациозной, в то время как заброшенный мостик для вьючных лошадей, повисший над высохшим руслом реки в безымянной долине, можно было и не переходить, но миновать безучастно никак невозможно. Джек Смит долго бродил по этим местам и за все время не встретил ни живой души; он брел в полудремоте под аккомпанемент заунывно журчащей воды; одинокий ручеек выливался из-под маленькой каменной арки, под которой пролезла бы и коза.

День клонился к вечеру, и Джек Смит почувствовал усталость, преодолевая бесчисленные витки узкой

тропинки, петлявшей вдоль пологого склона горы, которая, казалось, не знала пощады; внезапно до него донеслась песенка — она лилась откуда-то сверху и замирала вдали, веселая песенка, и пел ее, без сомнения, женский голос. Вскоре он увидал и певицу — молодую особу весьма необычного вида: на ней были ярко-синие джинсы, розовая кофточка и шляпа вроде тех, что носят китайские кули. На плече она несла мотыгу с очень длинным черенком, и характер у молодой особы, надо полагать, был не лишен игривости, потому что, заметив путника, она не сочла нужным прервать пение или хотя бы понизить голос, когда подошла совсем близко. Джек Смит решил притвориться, будто заблудился: это был неплохой предлог, чтобы окликнуть ее и спросить дорогу; но поскольку, даже поравнявшись с ним, она продолжала бесстрашно петь во весь голос, он не рискнул побеспокоить ее и пошел дальше, ограничившись дружелюбно-шутливым взглядом. Быть может, ее эксцентричный наряд заставил его замедлить шаг, а потом обернуться и посмотреть ей вслед? Или тому виной было ее милое пение? Да нет, она была молода, привлекательна, казалась беззаботной и радостной, а Джек Смит был не из тех, кто сторонится хорошеньких девушек. Она и сама, надо думать, была не прочь завязать знакомство, потому что, сделав несколько шагов, вдруг перестала петь и, повернувшись, бросила на него взгляд.

— Вам чего-нибудь надо? — весело прокричала девушка. Голосок ее был не лишен лукавства, но речь казалась чуточку простонародной.

Он подошел к ней и сказал, что, кажется, заблудился. Положим, это было не совсем так, и заговорил он с ней по другой причине, но объяснение вполне устраивало обоих. Из-под огромной шляпы выглядывало такое милое личико с живыми и ясными глазами...

Когда много лет спустя Джек Смит рассказывал о том, как он встретился с этой хорошенькой девушкой, он не мог, а быть может, и не хотел восстановить в памяти, как все произошло, как незаметно, но цепко и властно она завладела им; ему было все равно, кто она — ангел или сам сатана в женском образе, но Джек Смит был околдован сразу же и всецело, околдован и взят в плен,

В течение нескольких минут он весьма невразумительно пытался объяснить, как попал в эти места, куда, по правде говоря, он забрел совершенно случайно, хотя ему представлялось, что именно они-то и были целью его прогулки в горах.

— Хо-хо! — язвительно засмеялась она. — На вас поглядишь, так поневоле скажешь, что вы бог знает сколько миль прошли по плохой дороге.

— О да, — он тяжело вздохнул, — так оно и есть!

— Как же, как же. Да только добраться до наших мест не велика заслуга. Вы что же, стало быть, шли вон по той горушке? — спросила она, кивнув в сторону вершины, представившейся ему по меньшей мере твердыней Альп.

— Хороша горушка! — возразил он. — Да ведь это та самая гора, к которой не захотел идти Магомет.

— Какой такой Гомет? — переспросила она не без смущения.

— Ну, не к этой, так к ее родной сестре... Эта горушка совсем меня доконала.

— Для покойника-то у вас вид совсем неплохой, — последовал лукавый ответ.

«Не так уж она проста, — подумал Джек Смит, — хотя и из простых — грубовата».

Между тем она спустила с плеча мотыгу и, сцепив пальцы на ее черенке, опершись на них подбородком, принялась ему объяснять, что коли уж он отправился в горы, то на вон ту горушку подниматься не следовало, а куда лучше было держать путь до другого пригорка, вон там, где восходить куда легче. Он слушал ее с невозмутимым видом, она казалась вполне безразличной, но, по правде сказать, один стоил другого.

— Что вы делали этой штуковиной?

— Землю мотыжила, — сказала она.

— Ха! — он пренебрежительно фыркнул. — Дайте мне только время, и я в два счета освою эту премудрость. Куда же вы теперь направляетесь?

— Домой, — ответила она.

— А где вы мотыжили?

Она кивнула в том направлении, откуда шла:

— Вон там, внизу.

— Разве вы не в долине живете?

Она покачала головой и указала в другую сторону:

— Мы вон там живем, выше этого места.

Каждый раз, когда она делала резкий поворот, чтобы показать направление, незастегнутый ворот ее ровной кофточки, быстро распахиваясь, открывал сверкающую частичку ее загорелой наготы, и потому казалось, что под кофточкой не было ничего — ни рубашки, ни блузки.

— Что-то я никакого дома отсюда не вижу; далеко вам до него?

— Нет, нет, вот он — сразу же за тем холмом.

Взглянув туда, куда она показала, он увидел тропинку, стелющуюся по кривизне холма.

— А... скажите, вы бы... — начал он, вглядываясь в очертания горы, чья вершина еще была залита солнцем, в то время как часть склонов уже погружалась во мглу.

— Я бы что? — спросила она.

— Вы не напоили бы меня чаем?

— Это можно.

— Значит, я могу к вам зайти как-нибудь?

— Почему же нет!

— В таком случае пошли!

И вот они вместе отправились к ней домой за этим самым чаем. Разумеется, он тут же предложил ей пощипать мотыгу — не потому, что ему так уж хотелось помочь ей, ведь галантность — всегда сплошное прикрытие. Она сказала: «Нет, нет», и это тоже было прикрытие, потому что мотыга — нелегкая поща, и мало радости, или добродетели, или даже разума в том, чтобы тащить ее на своем плече. Всю дорогу она говорила о себе. Звали ее Люси Коул.

— А вас как звать?

— Всего-навсего Джек Смит.

— А что в этом плохого?

— Да ничего, просто нас так много — самое распространенное имя.

— Вон оно что! Чудак вы, однако, — сказала Люси.

Надо признаться, Джек Смит был человек любопытный.

— У вас своя ферма? — спросил он.

— Да нет, какая там ферма! Всего только клочок пахотной земли, пол-акра, по ту сторону ручья, где мы с вами встретились. Картошка, лук, огурцы...

Свернув вслед за ней на другую тропинку, он увидел невдалеке прилепившийся к склону горы белый домик. В этой гигантской безмерности он был так же мало заметен, как пуговка, оторвавшаяся с рубища бродяги и упавшая там.

— Это и есть ваш дом?

— Стало быть, это он и есть, — промолвила девушка.

— Вы там и живете?

— Ну да, я и мой папа.

Как он узнал, ее отец, каменщик, стал инвалидом, покалечив ноги однажды, когда взрывал скалу; теперь он едва передвигается при помощи палки, а уж работать и вовсе не может.

— Бедный старый чертяка! — вздохнула она и, содрогнувшись, прошептала: — Этот проклятый динамит!

Они жили вдвоем, отец и дочь, в совершенном уединении, но она сказала, что от одиночества они почти не страдают, нет, во всяком случае не так уж сильно; иногда, правда, кажется, будто они оторваны от всего мира, хотя это бывает не часто.

— Пожалуй, летом вы и в самом деле не чувствуете одиночества, — признал он, — но как же зимой, в метель и вьюгу?

— Ну, я не боюсь непогоды, — возразила она, — и потом у нас отличные перины. Это уж и вовсе нежепкой надо быть, чтобы в наших местах не прижиться. Да и что тут особенного? Жить можно.

— Смотря кому.

— Хотя бы мне, — отрезала девушка.

Когда они приблизились к дому, три белых гуся подошли вперевалку, вопросительно глядя на них; они напряженно тянули вверх свои длинные шеи, совсем как плохие певцы, старающиеся вытянуть самую верхнюю ноту, но из клювов не вырывалось ничего, кроме шипения; томящаяся на привязи черная коза тоже уставилась на пришельца, пережевывая жвачку. Не обратив на животных никакого внимания, девушка сбросила с плеча мотыгу и, нагнув голову, вошла в открытую дверь дома.

— Голову берегите! — предупредила она.

Убранство комнаты поразило его; на гладком кирпичном полу стояла старинная мебель красного дерева.

На степе красовался рождественский календарь, и рядом с ним, над кампном, висело охотничье ружье. Колченогий Дигби Коул предавался размышлениям над шахматной доской, на которой были расставлены фигуры.

— Садитесь! — приказала Люси своему гостю и повернулась к отцу: — Этот парень пришел к нам на чашку чая. Поставь-ка на огонь чайник, а я схожу по дою козу.

Она сбросила свою широкополую шляпу и, швырнув ее на кушетку, тряхнула короткими темными локонами. Черт возьми, как она хороша! Теперь Джек Смит увидел это с еще большей ясностью, чем прежде. Ворча, старый Дигби с усилием снял с очага чайник и заковылял вон, чтобы наполнить его водой из горного ручья позади дома.

— Могу я чем-нибудь помочь вам? — спросил Джек девушку.

— Вот еще! — последовал краткий властный ответ.

Сняв с полки кувшин, она отправилась доить. Художник поднялся с места и стал в дверях, чтобы не терять ее из виду, но, прежде чем она принялась за дело, старик вернулся с полным чайником, и молодому человеку пришлось посторониться, чтобы дать ему пройти. Пока Дигби хлопотал у очага, вешая чайник на крюк, Джек Смит спросил и его, не может ли он быть чем-нибудь полезен. Разогнувшись с усилием, Дигби удивленно посмотрел на него. Он вовсе не был большим и сильным, каким обычно представляют себе камешника: напротив, это был старик, маленький и тощий, и, похоже, не дурак выжить. Джек Смит снял с плеч этюдник и рапек и, несмотря на то что хозяин дома все еще упорно молчал, отважился завязать разговор.

— Денек выдался утомительный, — сказал он.

— Угу. Откуда вы?

— Из Эннердейла, прошел по тамошним болотам. Дигби пристально, с хитрецей смотрел на него.

— Но сами-то вы не из Эннердейла родом.

— О нет, просто я брожу по горам. Собираюсь в Лэнгдейл податься к Альджуотер.

— Переход изрядный, — сказал Дигби.

— Мне это нипочем, — сообщил Джек Смит, — времени хоть отбавляй.

— Вольному воля, — проворчал Дигби, — принимая во внимание... — И, показав на шахматную доску, лежащую на столе, спросил: — Играете?

— Самую малость, — ответил Джек Смит, бессознательно копируя манеру речи своего собеседника.

— Сыграем?

Усевшись за стол, они принялись расставлять фигуры; в это время Люси, вихрем ворвавшись в дверь, пронеслась по комнате, поставила на стол кувшины с козьим молоком — все это словно мимоходом.

— Следи за чайником! — крикнула она отцу. — Мне надо привести себя в порядок.

Дигби повернулся к дочери. Джек Смит последовал его примеру, однако на сей раз розовая кофточка была застегнута наглухо. Люси отворила дверь на лестницу, неровные ступени которой вели в верхнее помещение, и исчезла.

— Ходите, — сказал старик.

Джек Смит сделал ход, его партнер пробормотал: «Ах, так», и оба принялись обдумывать партию; однако Люси не заставила себя ждать. Сбежав с лестницы босиком, с полотенцем через плечо, она крикнула:

— Не упустите чайник! — и выскочила во двор.

Джек Смит взглянул на огонь в камине.

— Я присмотрю, — пробормотал он. Все складывалось как нельзя лучше. — Куда она побежала, — спросил он ее отца, — да еще босиком?

Дигби кивнул куда-то в сторону.

— К ручью, — отозвался он. — Ваш ход.

Джек Смит передвинул пешку, и, пока старик обдумывал ход, мысли юноши были заняты Люси. Без сомнения, она побежала мыться в ручье, пробивающемся среди камней. Она запела снова, и им овладело страстное желание выбежать из дома и поглядеть, не сняла ли она свою розовую кофточку, но он никак не мог придумать, под каким предлогом бросить шахматы. В рассеянности он перепутал ходы и быстро проиграл партию; но тут запыхтел и забулькал чайник. Джек Смит снял его с крюка и поставил сбоку на очаг. Девушка перестала петь, и Джек был готов сорваться с места и бежать к ней, но Дигби, окрыленный своей победой, задержал его, любезно заметив:

— Вы неплохо сыграли, принимая во внимание...

— Ну пет, — горячо возразил Джек Смит, — для меня вы чересчур сильный противник.

— Надо держаться стойко, знаете ли, в шахматах всегда так; а уж шахматы эти — игра старинная, слышал я — в них еще римляне играли, а то и древние иудеи, а может, и американцы. Принимая во внимание...

— И часто вы играете?

— Не так чтоб уж очень. Как придется. Последний раз партнером моим был сам лорд Олвероуд. Заглянул как-то сюда с месяц назад; бродил тут поблизости, да и заглянул нежданно-негаданно провести денек. Мы с ним две партии сыграли.

— И, конечно, вы обставили его?

— Ну, само собой, — отвечивал Джек так скромно, как только мог. — А уж по шахматам больше, чем по яному чему, видать, что Олвероуд — самый настоящий джентльмен. Здесь все как есть принадлежит ему, все как есть. Да и происходит он из самого, почитай, старинного рода. Приходская церковь там наверху, в Данпердейле, битком набита надгробными плитами да могилами его праотцев. Один так даже мраморной статуи удостоился: здоровенный мужчина в доспехах, и собака у его ног. Только вот одного я в толк не возьму — какой породы был тот пес. Славная там церквушка, да и кладбище неплохое. Немало достойных людей нашли на нем свой последний приют. А если кто и был плох, из мужчии либо женциии, так ведь на то и кладбища — всех они принимают, охо-хо!

— Ну, а как человек он каков?

— Лорд Олвероуд?.. О... Ну что ж, он постарше меня будет, и, по всему видать, человек сердечный... Про меня того не скажешь, вот уж чего нет, того пет. Доминшко этот он мне предоставил по своей доброй воле, и проживать я могу здесь сколько захочу.

— Неплохо; а потом здесь будет жить Люси?

— Вот уж не знаю, ничего он насчет этого не говорил.

— Ну, надеюсь, так оно и будет. — И здесь Джек Смит рискнул подпустить малую толику яда: — Ведь не захочет же он сам здесь поселиться?

— Да вы что! Лорд Олвероуд — хозяин всех здешних мест; в горах все как есть принадлежит ему, все

вокруг: и трава в лугах, и болота, и овцы на пастбищах — всем он самодично владеет, даже снегом, что выпадает в его поместьях, да и дождем тоже; здесь все принадлежит ему одному.

— Но вас, надеюсь, он не считает своей собственностью? — в том же тоне спросил Джек Смит.

— Меня? Нет, о нет! Я всего только верный его слуга, да хранит его бог.

Люси торопливо проныгнула мимо них и, бесшумно ступая босыми ногами, взлетела вверх по лестнице; ее темные волосы были растрепаны, розовая кофточка опять расстегнулась.

— Я буду готова в два счета! — крикнула она сверху.

Но старик вовсе не обратил внимания на ее слова и продолжал мрачно, с дрожью в голосе:

— Вот я и весь тут. Уж так повелось на свете, что беда кого хочет скрутит в свой час, и тут уж пути не пути — такова твоя доля. Так и живу.

Джек Смит не нашелся, что сказать ему в утешение. Разговор несколько раз прерывался, а потом и вовсе замер. Оба замолчали, созерцая горные отроги, видневшиеся из растворенных дверей; горы казались такими одинокими и прекрасными, позолоченные солнцем вершины величественно вздымались над подножием холмов; высоко над ними небо, спокойное и голубое, как горное озеро, омывало снеговые шапки.

Вскоре Люси спустилась, легко сбежав по лестнице. Розовая кофточка и синие джинсы получили отставку, и теперь, в корсаже из красивой красной материи и ярко-синей юбке, она совершенно преобразилась; она надела башмаки и даже чулки и была весьма прихотливо причесана. Не проронив ни слова, девушка принялась накрывать па стол. Дигби смотрел на нее с явной насмешкой и даже подмигивал в сторону гостя, который прямо-таки излучал восхищение. Да и, можно сказать, какой мужчина отказался бы от подобной девушки!

Она была резка и неотесана, а порою даже производила смешное впечатление, и все же Джек Смит живо ощущал ее прелесть и чувствовал, что она добра; внезапно у него мелькнула мысль, что нарядилась-то она сейчас для него, для него одного! А ведь она сама

заронила эту мысль в голову Джека. Зачем, действительно, ей было переодеваться, менять свой обычный костюм, если только она не собиралась на вечеринку; но куда? Люси делала вид, будто не замечает его восхищенных взоров, и, переходя от стола к поставцу с посудой и обратно — от поставца к столу, с неподражаемым старанием приносила то коричневый чайник, то чашки, то тарелки и все прочие принадлежности чаепития. Наконец Джек Смит отважился задать вопрос:

— Уже не собираетесь ли вы на вечеринку?

— На вечеринку! — повторила она с притворным смущением, не без самодовольства оглядывая свой великолепный наряд. — Какие тут вечеринки, в нашем-то захолустье! Ни прохожих у нас, ни проезжих — вот разве что вы подвернулись, — добавила она задорно.

— Ну, понесла! — раздраженно проскрипел старик. — Разве не сам лорд Олвероуд был в этой комнате день-два назад? Прямо из замка поднялся и просидел здесь долго, много часов подряд, — нарочно пришел, чтобы про историю Англии со мной потолковать; ведь немало всяких событий произошло поблизости от наших мест.

— Да ладно тебе, мы-то тут при чем? — возразила Люси. — Мы люди маленькие.

— Все равно приятно, — сказал Дигби, — а уж он-то знаток во многих этих делах — по самые уши в них уяз.

— Он-то? Старый выпивоха! — Она пренебрежительно усмехнулась и, прежде чем старик успел возразить, закричала: — Пошел вол, Чарли, пошел, пошел! — и угрожающе замахала руками на гуся, который незаметно пробрался в комнату. Все гусиное сообщество сгрудилось в дверях, в то время как предводитель, с флегматичным видом разинув клюв, двигался к обожаемой хозяйке. Отломив корку хлеба, Люси бросила ее прямо в клюв; огромная птица показала тыл и с высокомерным видом присоединилась к своим соплеменникам, которые в полном согласии последовали за нею, чванливо выставив снежно-белую пзаннку крыльев.

Джек Смит разделил с семейством Коул вечернюю трапезу, состоявшую из черствого хлеба с сыром, домашних лепешек да миски с вишнями; и в заключение,

чтобы было чем запить ужина, Люси подала по большой кружке дымящегося чая. Чувствуя себя теперь вполне непринужденно, Джек Смит стал изыскивать средства, чтобы достичь того, чего в глубине души он желал, или домогался, или, можно даже сказать, страстно жаждал; зачем-то порывшись в своем ранце, как будто надеясь извлечь из него желаемое, он весьма кстати обнаружил там две выпавшие из обертки маленькие дольки шоколада, о которых он совсем забыл. Он молча отломил дольку и передал ее Люси, которая, наклонившись, губами взяла ее из его руки. Он нежно провел кончиками пальцев по ее щеке и подбородку; это не было ни излишне смело, ни нескромно — это было неизбежно. Улыбнувшись, как-то даже вся просняв, Люси, по-медллив, поцеловала его руку. И тут он решил высказать то, вокруг чего роились все его помыслы: не смогут ли Коулы приютить его на ночь?

— Ну конечно, — без запинки ответила Люси.

Но папаша Дигби был иного мнения:

— Нет, нет, как это так? Ни компаты, ни кровати... Нет, ни к чему это.

— Да ему и всего-то нужно, чтоб было где голову приклонить, — возразила Люси.

— Конечно, — сказал Джек Смит, — где угодно, как угодно и всего только на одну ночь. Из-за меня вам не будет никаких хлопот: поднимусь с жаворонками и двинусь в путь.

— Вот уж нет! — запротестовала Люси. — Я не позволю вам вставать ни свет ни заря и беспокоить отца. Он спит внизу, воп в той каморке, — и она показала на дверь, ведущую в крошечный чуланчик. — Лестницу, стало быть, ему уже не одолеть.

Но Дигби продолжал упорствовать:

— Где он будет спать?

— На кушетке, где ж еще! — воскликнула Люси, оглядываясь вокруг.

— Кушетка не место для джентльмена.

— Ну, довольно тебе! — приказала она. — Как-нибудь устроимся.

Джек Смит почувствовал себя обязанным вмешаться:

— Нет, я понимаю, это вас стеснит. Пойду-ка я в Эпплдейл — говорят, там есть трактир.

— Этот гнусный вертеп! — воскликнула Люси с явным отвращением. — Нет, нет, до Эпплдейла десять миль, вы устали как собака, и все такое... Разве не так?

Он сказал, что, как он думает, мог бы уснуть, даже сидя на заборе.

— Какне там десять миль до Эпплдейла! — заспорил старик. — И половины не будет.

— Хорошо, пусть даже пять миль, — снизошла она, — так что с того? Коли человек слаб на ноги, ему все едино — пять миль либо хоть и все двадцать.

Но старика было не так легко убедить, и Джек Смит то и дело вставал с места, делая вид, что вот сейчас, сию минуту распрощается и уйдет, но в глубине души он был уверен, что все обернется в его пользу, и предоставил действовать Люси.

— Ладно уж, — вздохнул Дигби, — по что до постели... И если он воображает... Принимая во внимание...

— Принимая во внимание что? — резко спросила дочь.

— А, так... Да ничего, — сказал он и добавил, как последнее предостережение молодому художнику: — Мы тут ложимся спозаранку.

— И встаете с жаворонками? Что может быть лучше!

— По утрам мы встречаем солнце; так поступает всё в природе — и звери и птицы.

— Ах, да хватит тебе пустословить! Сам ты старый попугай! — фыркнула Люси, убирая со стола и вытряхивая за дверь крошки.

— Но я вполне с вами согласен: «Кто рано встает, тому бог подает», — благоразумно ввернул Джек Смит. — Это старое доброе правило, которое вполне уместно, когда время года позволяет ему следовать.

— Любое время года позволяет, — заметил старый Дигби.

— А как же зимой?

— Ну да, конечно... А только и зимой все едино, — гнул свою линию Дигби, — все едино... Принимая во внимание...

«Принимая во внимание» было излюбленным выражением старика, хотя он и не вкладывал в него должного смысла; скорее это была риторическая фигура или

словесная опора, к которой он прибегал, когда намеревался высказать какую-либо здравую мысль; однако чаще всего он спотыкался на этом выражении, да так и застывал, не будучи в силах выпутаться из фразы.

Джек Смит уселся внизу, и, пока Люси бегала взад-вперед по разным своим делам: прибирала комнату, мыла тарелки и чашки, занималась козой, гусями и кропками, — он завел разговор со старым калекой. Уже покрылись мглой вересковые пустоши под восточными отрогами гор, но короткие лучи закатного солнца все еще хорошо освещали пространства между вершинами. Слушая пескончаемые разглагольствования старика и следя за тем, как девушка сует туда-сюда по тесной комнате, Джек Смит был весь ожидание: когда наконец она перестанет суетиться, подойдет и встанет рядом, близко, совсем близко, и заговорит с ним о чем угодно, пусть даже не о любви, и в ее голосе зазвучат свойственные ей решительные нотки. И он тоже поговорит с ней — конечно, не об искусстве и прочих высоких матерях, хотя вряд ли справедливо было бы полагать, что она уж совсем неотесана, — все дело в этой ее простоватой манере себя вести. Кричит, бранится, ругается — никакого воспитания, отца своего называет просто папкой, и все-таки она мила, добра и достойна любви, а на ее преданности старому калеке лежит печать настоящего героизма.

Как бы то ни было, но она все суетилась, и он не знал, как остановить ее; сама она так и не подошла к нему, а принудить ее он не мог — это не полагалось, и поэтому, когда солнце скрылось за отрогами гор, Джек оставил Дигби в темной комнате и вышел посидеть на травке возле дома. Еще не совсем стемнело, не видно было мерцающих звезд, и тишина казалась более полной из-за того, что усыпляющее журчание ручья по временам словно успливалось. Внизу Джек Смит еще мог различить бездну среди темных склонов гор, полную черных стволов деревьев и шума падающей воды. Над ним, освещенные отблеском последних лучей солнца, поднимались спокойные контуры горных вершин.

В надежде застать в одиночестве ясноглазую Люси, он встал с травы и пошел по тропинке, пролежавшей по краю вересковой пустоши, и, должно быть, мысли его

были сосредоточены только на Люси, потому что вдруг он принялся считать шаги и на каждом десятом озирался по сторонам, думая — а вдруг она идет вслед за ним. Но Люси так и не появилась, а он все ходил и ходил, пока не увидел свет, падающий из открытой двери, и этот свет возвестил ему, что вечерняя лампа уже зажжена. Он еще помедлил, но девушка так и не вышла к нему, и мало-помалу неумолимо надвигающаяся тьма стала внушать ему страх; ужасающий Эреб во всей своей мощи подчас вызывает представление о потустороннем мире, хотя наше сознание и не в силах найти масштабы для подобных понятий. Поэтому, когда человек окунается во тьму, отделяющую его от всего живого, он начинает ощущать некую мистическую связь с самой Землей — исполинским шаром, который незаметно вращается в пустоте вселенной, в то время как собственные его порождения кишмя кишат и пресмыкаются на нем, царапая ему кожу. Теперь Джек Смит уже почти жалел о своем решении остаться на ночь у Коулов, в этом равнодушном и, пожалуй, даже недружелюбном доме. Разве по собственной охоте пришел он сюда?

Ясноглазая беспшашная девушка завлекла его, а потом предьявила ему свои права и завладела им — разве не так?

Подойди
пробивай
Дигби о
— Я
сказала

заметил еще один луч света, его окошко: это означало, что Люси сидела одна. И вас искать, Джек Смит, — ему навстречу.

п.

адали?

ы) — запротестовал он.

и случаются, Джек Смит.

— Только не смей мпвой, Люси Коул.

— Вот как?.. Ну ладно, ладно... Мы тут взяли ваш рисовальный ящик и маленький ранец да снесли вон в тот угол. В ящик я заглянула — хотела посмотреть, что за картинки вы нарисовали.

— Они все в ранце, — сказал он.

Она принесла его и молча стояла, разглядывая с полдюжины набросков, которые он сделал в горах; по правде сказать, то была изрядная мазня. Он тоже мол-

чал, думая о том, в какой безмерной обособленности протекает ее жизнь, совершенно поглощенный ею, девушкой-горячкой, такой юной и красивой и такой одинокой — а теперь она была по-настоящему прекрасна, спрятанная в своем уединении, как редкостная лилия, выросшая на утесе.

Складывая наброски, девушка удивленно спросила:

— Зачем же вы занимаетесь таким делом?

— О... На это есть много причин, выберите любую... Во-первых, я умею писать картины... Во-вторых, мне нравится это занятие.

— Почему?

— То, что делаешь с охотой, обычно оказывается делом стоящим. Это вам никогда не приходило в голову?

— Стоящим чего?

— Всего, чего хотите, Люси.

— Вы, стало быть, получаете за это деньги?

— Ну нет, пока что... Возможно, когда-нибудь потом, позже. Сейчас я еще только учусь, пробую свои силы.

Она сказала «О!» с выраженным сомнением в голосе и уложила наброски в ранец.

Джек Смит повернулся к двери.

— Э-э... Не скажете ли вы, где мне умыться утром?

Она подошла к нему и, взяв за руку, сказала: «Пшли!»; они сделали несколько шагов по направлению к ручью. Джек Смит еще мог различить струю воды, текущую со скалы в запруду и спадающую оттуда вниз, в другой такой же пруд.

— Утром я дам вам чистое полотенце, — пообещала Люси.

Он спросил:

— Здесь вы и купаетесь?

— Иногда; но чаще всего — вон там, выше. — Она протянула руку, показывая на горный склон, возвышавшийся прямо над ними. — Там под рябиной громадная впадина, наполненная водой; это место куда уединеннее.

— Уединеннее! — как эхо отозвался он. Да и в самом деле, можно ли было отыскать еще что-нибудь более уединенное в этом убежище отшельничества?

— Вода там студеная! Особенно как солнышко зайдет, — добавила она.

— О!.. — Джек Смит пожегился и поспешил перейти к другой теме: — А вам никогда не приходило в голову, что неплохо бы сбежать отсюда?

— Для чего? — спросила она.

Прямой ее вопрос поставил его в тупик.

— Ну... не знаю... — пробормотал он. — Я как-то не подумал об этом...

Но тут у нее вырвалось с силой:

— Конечно, сбежала бы, пулей вылетела бы отсюда, если б могла! Неужели

— Что бы вы стали

— Избави бог! Только

— В море! Но что б

— Пошла бы на лайн

ла она. — На больших с

девушек. И мне бы дело

гу. Всякий раз, когда

я так говорю. О!

вечно ко мне цел

красный день.

или бы ферму?

шла бы в море.

лать в море?

, — отчекани-

і работы для

шбудь я сбе-

чтоседом.

ш, в

. пре-

— Н-да, конечно, если море там по душе. — Сам Джек Смит никакой склонности к морю никогда не испытывал.

— Еще как по душе! — воскликнула Люси: — Да и что мне остается: старик до того вредный, другой раз я прямо взбеситься готова. Удери отсюда в море, вот чем хотите клянусь. — Она помолчала немного. — Да, сказать-то легко, а вот смогу ли когда это сделать? Бросить его здесь совсем одного? Ни за что! Как он будет тут жить, бедняга! Он же помрет. Нет. Всё его поги — проклятый динамит! Кабы я могла, отдала бы ему одну ногу, только от этого ни ему, ни мне никакого толку. — Она хихикнула. — Ни мне, ни ему. Искалечили безо всякой пощады. А где вы живете?

Он ответил где — далеко-далеко, в южной части страны.

— У вас там, наверно, много красивых мест, — промолвила Люси, — только я-то их никогда не увижу — знать, не судьба.

Чтобы развеселить ее, вывести из нахлынувшего уныния, он взял ее за плечи и, легонько сжав, спросил:

— Почему же?

— Так ведь не иначе как чудо должно случиться, чтобы оно вызволило меня отсюда.

— Ну что ж, вот вы и должны молиться о чуде — разве вы не верите в чудеса?

— Кто их когда сотворял? — пробормотала она. — Что ж, наверно, и вправду приятно дожидаться чуда, только если оно так никогда и не придет, человек может от веры отпасть. — Вздохнув, она повернула обратно. Они не спеша двигались к дому. Внезапно Люси, которую он вел под руку, остановила его, шепнув: — Слышите? — Издалека доносился шум: сначала едва уловимый, как ропот морской раковины, он постепенно нарастал, словно где-то в горах заработала водяная мельница; потом, таинственным гулом отдавшись в трясинах, он устрашающе завыл в ущельях и пропастях; было так, как если бы в хор вступило само безмолвие. О да, Джек Смит слушал этот таинственный хор, но куда более властны над ним были другие порывы, влекущие его прочь из этой тьмы и тревоги ночи и поглощавшие не только его, но и девушку; он поцеловал ее в щечку, подбородок и волосы, а потом в покорные несопротивляющиеся губы, жадно прильнувшие к его губам.

Они вошли в дом. Люси заперла на ночь входную дверь. Она говорила шепотом, чтобы не разбудить отца, спавшего в соседней камерке. Захватив лампу, она отворила дверь на лестницу.

— Сюда, — шепнула она.

Джек Смит вновь оглядел комнату.

— Я вполне могу устроиться на кушетке, — заметил он.

— Нет, нет, для вас есть кровать, и я постлала чистые простыни — специально для вас. Идемте же!

Он последовал за девушкой в опрятную комнатку наверху. Поставив лампу на стол у окна и отвернув уголок покрывала, она шепнула:

— Вот...

— Послушайте, Люси, — замолился Джек Смит, — я и в мыслях не имел причинить вам столько хлопот; уверяю вас, мне и внизу было бы совсем неплохо.

Она взглянула на него пристально и лукаво:

— Вы что же, хотели бы провести ночь с ним рядом?

— Нет, конечно, — он пеловко усмехнулся, — но вы-то сами, где же вы ляжете?

Присев на краешек кровати, она легонько похлопала по пей.

— Стало быть, здесь, — сказала она, — с вами.

Вот так это все и случилось. Потому что, и в самом деле, любовь никогда не бывает вполне невинной, когда заставляет вас делать то, чего хочется ей самой.

Пробудившись наутро после недолгого сна, он обнаружил, что Люси нет: встав спозаранку, она бесшумно ушла, оставив его спящим; внизу слышалось легкое движение, и, напрягая слух, он мог различить приглушенные голоса старого Дигби и его дочери. Денек опять выдался па славу — казалось, весь мир был расцвечен ярким золотом, широко заливавшим долины, и Джек Смит уже готов был вскочить с постели и бежать туда, чтобы внести свою долю в это пиршество красок; однако нужно было спуститься вниз и встретиться с папашей Дигби, который, что было вполне возможно, кипел от злости или по меньшей мере мог проявить недовольство. Для этого у него было достаточно оснований. Эта мысль удерживала Джека на месте. С него вполне хватило бы воспоминаний о радостях прошедшей ночи. Но тут послышался стук в дверь, и вошла Люси, одетая в свою розовую кофточку и синие джинсы. В руках у нее была кружка чая, через плечо свисало полотенце. Она выглядела свежей и благоуханной, словно прекрасная роза, держалась спокойно и уверенно — совсем как жена. Она поставила возле него чай. Джек Смит притянул ее к себе. От студенной воды горного ручья грудь ее казалась совсем ледяной.

— Зачем ты ушла? Когда же ты встала? — шепнул он. — Я ничего не слышал.

— Давным-давно, миленький мой. Разве ты не слышал жаворонков? Голосили, прямо сердчишки из них вон. Да и гуси тоже гоготали — покоя нет от этих крикунов.

— Ходила наверх купаться?

— Ходила. И выгнала гусей, и накормила кроликов, и подоила козу; чайник уже вскипел, и я морю себя голодом ради Джека Смита — все жду, когда он спустится вниз. Вставай же!

Джек поднялся с постели,

— Накинь на себя что-нибудь. Вот полотенце, а вот и кусок душистого мыла, это мой собственный. Отправляйся живой к ручью.

— А что отец, он где-нибудь поблизости? — осторожно спросил он.

— Да.

— Он знает?..

— Конечно.

— Что он тебе сказал?

— А ничего.

— Но еще скажет?

— Скажет... Ну и пусть!

— Конечно... Только если он на меня кинется — что тогда?

— Он, наверно, размозжит тебе голову, и мне придется скормить твои останки козе... О Джек Смит! — Она засмеялась, обнимая его. — Я люблю тебя и уж как-нибудь сумею за тебя постоять. А теперь выпей чай да идем вниз. Вот полотенце.

После того как она оставила его одного, он помедлил, еще более настороженный, чем прежде; наконец, натянув только брюки и фуфайку, он вприпрыжку сбежал с лестницы, намереваясь войти в комнату с сердечным, непринужденным приветствием — дьявол его возьми совсем! Но хватило его лишь на то, чтобы скрыть свой виноватый вид; торопливо проскочив мимо Дигби, в зловещем молчании восседавшего на своем обычном месте, Джек Смит со всех ног помчался к ручью.

Он вскарабкался вверх по горному склону, направляясь к рябине, росшей неподалеку, и вскоре очутился возле гремящего горного потока, падающего в скалистый бассейн, явно рассчитанный на великанов и наполненный переливающейся через край водой. Брр, ну и холодина! О да, Люси говорила об этом, но вода поистине леденила кровь — пожалуй, только белые медведи испытали бы блаженство, резвясь и плавая в ней; но если могла Люси... Он окунулся и тут же выскочил из воды. Верпувшись в дом, он, не проронив ни звука, проскользнул по комнате и поднялся наверх, чтобы завершить свой туалет. И снова он долго не решался спуститься туда, где его наверняка ждал неприятный разговор; но опасность следовало встретить лицом к лицу, и в конце концов так он и поступил.

ИММ Завтрака Дигби сидел мрачнее тучи; зато дочь его казалась тихой и умиротворенной. Джек Смит попытался разрядить атмосферу шутками, но все его попытки пропадали даром — ему просто не за что было ухватиться. Тогда он замолчал и принялся за хлеб с маслом и чай, обдумывая приличное отступление. Вдруг Дигби, который сердито сопел и что-то бормотал невнятно, проворчал, обращаясь к дочери:

— Что скажет Джордж?

Она огрызнулась:

— Ему-то что за дело!

— Интересно знать, что он скажет?

Люси ответила:

— А мне это совсем неинтересно.

— Что он с тобой сделает, а?

— Что он может мне сделать! — пожалала она плечами.

— Уж он-то тебе покажет! — заорал Дигби. — Все кишки из тебя выпустит — вот что он сделает.

От испуга Джек весь покрылся испариной.

— Кто это Джордж? — с беспокойством спросил он.

— Муж ее законный, вот кто, молодой человек, и уж он вам спасибо не скажет за то, что вы тут напрокудили.

— Неправда! — гневно закричала молодая женщина. — Он мне давно не муж!

— Законный муж, говорю вам, — орал Дигби, — ты с ним закон приняла, а это раз и навсегда.

Пристыженный и сбитый с толку, Джек Смит спросил:

— Так вы замужем, Люси? Ведь я ничего не знал.

Но старик не дал ей и рта раскрыть, воскликнув язвительно:

— Ну да, замужем, как следует быть, по закону.

Стараясь подавить вспыхнувший гнев, Люси раздраженно ответила:

— Да нет же, не замужем я, коли он от меня сбежал.

— Нет, замужем, — стоял на своем Дигби, — ты с ним закон приняла, и ты знаешь, что так оно и есть.

По некоторым причинам Джек Смит мог лишь, закипаясь, твердить, что он ничего не знал, да и то без особой уверенности в голосе.

— Замужем, вот уж три года с лишком, — горячился Дигби. — Он матрос, и она его жена — миссис Барлоу, пускай с ним и живет.

Джек Смит повернулся к девушке.

— Выходит, это правда, Люси? — печально спросил он.

И она сердито ответила:

— И замужем, и не замужем, черт побери его совсем, я уж и забыла, когда видела его в этом доме; он не был здесь вот уже года два с половиной, верно ведь?

— В Китай отправился, либо на Мальту, либо еще куда, — подтвердил старик.

— Что ж, он не может к вам вернуться?

— Ну конечно, может, ясное дело, — ответила Люси недовольным тоном, — взять отпуск да приехать домой, он и отпуском пользуется; да только он никогда не приезжает сюда: слишком далеко, говорит, пусто и скучно здесь ему, да и я не по вкусу ему пришлась.

Встав из-за стола, Люси направилась к двери и кивком головы позвала Джека Смита; он вышел за ней, и они медленно двинулись по тропинке.

— Противная старая жаба! — в бешенстве обругала она отца. — Никак не оставит меня в покое, очень нужно было все выболтать. Теперь для меня все испорчено, да и для вас тоже, верно? Надо же было взять и изболтать все! Только вы не должны плохо обо мне думать; да, я замужем, и тут уж ничего не попишешь. Джордж пообещал забрать нас из этой дыры, меня и Лизку, значит...

— А я-то сперва думал, вам и верно здесь правится.

— Попробовали бы сами пожить тут, Джек Смит пообещал, и я поверила как дурочка, думала, он съез, да ничуть не бывало.

— Потому-то вы и пошли за него?

— Ну да... Ведь он обещал! Могла бы сообразить, он врет напрадалую. Да и где ему — ведь простой осел; и все-таки он обещал... Никогда-то ему здесь нравилось, не выносил он эти паши места и хотел уехать, чтоб я удрала отсюда с ним вместе — куда угодно, только вдвоем, — и папку, значит, оставила. Несчастный старый осел! Могла ли я бросить его на погребель? Теперь все мне здесь опостылело

еще почище, чем Джорджу. Скоро три года, как он был здесь последний раз, да и всего-то три ночи перночевал, а потом бросил меня опять. «Я, говорит, ненадолго, ты смотри жди». — «А я не могу так больше», — говорю ему. «Ты только жди, а уж я возвращусь в скором времени». Как же, возвратился он... Нет, будь он проклят! Теперь уж не вернется... Уж я писала ему, писала — ни ответа, ни привета, а мне что теперь делать? Приходит и уходит; приходит, да не ко мне, а уходит навсегда. Ни стыда у него, ни совести. Вы не должны обо мне худо думать. Что же мне... то есть... Какой толк... Все без толку!

Что мог Джек Смит тут сказать или сделать? Чем мог помочь? Надо думать, в мире найдется по меньшей мере десять тысяч Джеков Смитов, по паш герой был отнюдь не царь Соломон и не архангел Гавриил; и вот все, что он мог ей сказать в утешение:

— Будем надеяться, что Джордж Барлоу в скором времени объявится.

— О господи, да не нужен он мне вовсе. Лучше бы я никогда его и не знала, теперь я все равно что в капкане, да еще и брошен тот капкан навсегда... Сердце у меня как камень. Я готова убить его, пусть только придет... А теперь и вы уходите — потому что думаете обо мне худо, только зря: ведь любовь моя во мне, Джек Смит, глубоко запрятана, и вовсе не к нему и не к кому другому, кто на него хоть чем-то похож.

Вернувшись в дом, они увидели Чарли, пагло пристроившегося в комнате возле старого Дигби. Гусь выгнул шею и зашипел на незваного гостя. Джек Смит взвалил на себя ранец, перекинул этюдник через плечо, положил на стол пять шиллингов и протянул руку Дигби.

— Прощайте, — проскрипел старик.

— Спасибо, — сказала Люси, — стало быть, прощайте.

Утро было холодное и ясное. Вскоре Джек Смит уже шагал своей дорогой, тихонько насвистывая что-то невнятное, задумчивое, жалобное.

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Урицкая. Альфред Эдгар Коппард	5
ДНТЯ ПОМОНЫ. Перевод Э. Урицкой	19
ГОРЧИЧНОЕ ПОЛЕ. Перевод Г. Островской	38
ПЯТЬДЕСЯТ ФУНТОВ. Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой	47
УВЫ, БЕДНЯГА БОЛЛИНГТОН! Перевод Э. Урицкой	65
ДАТЬ И ВОЗДАНИЕ. Перевод В. Кривцова	75
ЧЕРТ НА КЛАДБИЩЕ. Перевод В. Кривцова	80
БЕДНЯК. Перевод О. Семеново-Тянь-Шанской	86
СКУПЩИК. Перевод М. Шершневской	113
„ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ТОЛСТОЙ“, Перевод Ю. Мирской	143
СТАРИК. Перевод Ю. Мирской	173
ТРЕТИЙ ПРИЗ. Перевод И. Абрамович	182
КОРИДОРЫ. Перевод Е. Корнеевой	192
ДВЕ НЯНИ. Перевод Е. Корнеевой	205
СТАРЫЙ МОШЕННИК. Перевод Л. Поляковой	217
КАМНИ ГРОГГО. Перевод Л. Поляковой	223
ТАКОВА ЖИЗНЬ. Перевод Э. Урицкой	230
ЛОЖЬ, ВСЮДУ ЛОЖЬ. Перевод В. Кривцова	239
КОММЕНТАРИИ ДИКСЕНА, Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой	254
ПЕСНЬ В МИРЕ ТИШИНЫ. Перевод Л. Поляковой	270
ЛЮСИ В РОЗОВОЙ КОФТОЧКЕ. Перевод Э. Урицкой	281

Альфред Эдгар Конпард

ПЕСНЬ В МИРЕ ТИШИНЫ

Рассказы

Редактор Б. Томашевский

Художественный редактор А. Гасников

Технический редактор В. Алексеева

Корректор Л. Никульшина

Сдано в набор 19/XII 1967 г.

Подписано к печати 27/V 1968 г.

Тип. бум. № 2. Формат 84×108^{1/32}.

9,5 печ. л. 15,96 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 15,628

Тираж 50 000 экз. Заказ № 997. Цена 81 к.

Издательство «Художественная литература»

Ленинградское отделение

Невский пр., 28

Ленинградская типография № 2 имени

Евгении Соколовой Главполиграфпрома

Комитета по печати при Совете

Министров СССР

Измайловский пр., 29

БИБЛИОТЕКА КЭПИ

№ 126062